
ЭДГАР
ПО
Рассказы

ЭДГАР ПО

Рассказы

Перевод
с английского

Свердловск
Средне-Уральское книжное
издательство
1987

83.37 США
П 41

Текст печатается по изданию:
По Э. Рассказы. М.: Худож. лит., 1980.

Вступительная статья
Н. Анастасьева

По Эдгар

П 41 Рассказы. Пер. с англ. / Вступ. ст. Анастасьева Н.— Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1987.— 288 с.

1 р. 70 к. 250 000 экз.

В однотомник произведений выдающегося американского писателя XIX века вошли наиболее популярные его новеллы. Среди них — «Низвержение в Мальстрем», «Убийство на улице Морг», «Золотой жук» и другие.

$П\frac{4703000000-060}{М158(03)-87}$ 52-87

ББК 83.37. США

ЭДГАР ПО И ЕГО РАССКАЗЫ

Классическая формула Гете — для того чтобы понять поэта, надо побывать у него на родине,— не слишком подходит к художественному наследию Эдгара Аллана По. Его туманности, фантасмагории, ужасы не имеют, кажется, никаких точек пересечения с деловитой и прозаической Америкой.

В книгах Готорна, современника и соотечественника По, слышался, по словам Мелвилла, рев Ниагары и ощущался запах берез, растущих в лесах Новой Англии.

Сам автор «Моби Дика», при всей склонности к космическим аллегориям, не утрачивал вкуса к предметам обыденным и земным.

О Купере и говорить не приходится — Америка!

А По? Средневековые, в духе английского готического романа, замки, где разыгрываются леденящие кровь трагедии, мрачные подземелья, слепящая белизна полярных льдов, буйство морских течений, интеллектуальные ребусы, рассуждения о душе, месмеризм и т. д.

Столь же разительный контраст являют собою и персонажи. Кожаный Чулок, Гестер Принн, Старбек — все они в большей или меньшей степени американцы, во всяком случае, сначала американцы, потом уже — символы. О каждом из них можно сказать словом Гегеля — «этот». Герои же По, за редкими исключениями (Симпсон из рассказа «Очки», до некоторой степени голландские бюргеры из «Черта на колокольне» и «Ганса Пфааля»), человеческой живости лишены. Лигейя, Береника, Морелла, Родерик Ашер — все они, до атома, растворены в атмосфере чистого духа и чистой идеи. Даже Артур Гордон Пим, герой-повествователь одноименной повести — человек от мира сего, наделенный острым глазом на приметы действительности,— даже и он, приближаясь к неизведанным просторам Южного полюса, словно спешит освободиться от земной оболочки, превращаясь в неразличимую частицу бесконечной вселенной, которая внезапно принимает зримые очертания «высокой, гораздо выше любого обитателя нашей планеты, человеческой фигуры в саване».

«Об отечестве моем и семействе сказать мне почти нечего» — так начинается одна из ранних новелл По «Рукопись, найденная в бутылке». Мало кто из американских романтиков отважился бы столь же вызывающе, первой же фразой обрубить корневые связи повествования с родной почвой, с родным преданием. Это было просто немыслимо: романтикам выпала историческая миссия создания национальной литературы — и откуда еще могла она вырасти, как не

из изображения национальных типов, нравов, природы и т. д.? Осознавалось это вполне четко — как программа. Но По и здесь был белой вороной: в его глазах «единственной законной сценой для литературного лицея является весь мир».

Странные взгляды, странная, пугающая литература. Не потому ли американские современники, не развившие еще достаточного художественного вкуса и привыкшие видеть в беллетристике прямое отражение текущей жизни, отвергли автора «Лигейи» и «Ворона»? Непонимание порождалось и иными причинами. В ту пору за океаном господствовали настроения наивного самодовольства, все еще считалось, что Америка — новый Дом человечества, путеводный маяк для народов мира. А тут — всепоглощающая мрачность, смертельный пессимизм. Быть может, поэтому еще при жизни имя и поведение По стали обрастать легендами — безумный маньяк, алкоголик, наркоман. Таинственный конец — его подобрали на улице в бессознательном состоянии, после чего писатель вскоре скончался в одной из клиник Балтиморы,— только придал этим легендам видимость истины.

Судьба По действительно сложилась несчастливо. Лишившись в двухлетнем возрасте родителей, бродячих актеров, он был взят на воспитание богатым коммерсантом из Ричмонда Джоном Алланом; последний, однако, лишил его впоследствии, ссылаясь на «неблагодарность мальчишки», всякой материальной поддержки, и большая часть недолгой (он умер сорока лет от роду) жизни По прошла в мытарствах, в поисках случайного заработка. К тому же его постоянно преследовали удары, самым страшным из которых была ранняя смерть жены, Виргинии (трагедия эта отозвалась великолепным стихотворением, одним из шедевров мировой лирики,— «Аннабел Ли»). Все это, конечно, наложило тяжелую мету на душевную жизнь и без того исключительно ранимого человека, совершенно не приспособленного к четкому, деловому ритму американской жизни. Он на самом деле впадал в черную меланхолию, перемежавшуюся периодами опасного буйства, на самом деле пил. Но какая же близорукость, а порой расчетливый цинизм (было и такое) нужны для того, чтобы увидеть только это — неуживчивость, раздражительность, дьявольскую гордыню.

Конечно, время, и довольно быстро, «стерло случайные черты» — талант По открылся во всем своем эпохальном значении (честь открытия принадлежит не соотечественникам поэта, а французам — Бодлеру, Валери, Рембо). Но долго еще жила легенда в своем литературном обличье: По — большой, но не американский писатель. Брет Гарт, полагая По «до сих пор непревзойденным мастером новеллы», говорил в то же время, что это «не... американский короткий рассказ». Хемингуэй писал: «Эдгар По — блестящий мастер. Его рассказы блестящи, великолепно построены — и мертвы». Наконец, Фолкнер утверждал, что По «принадлежал к группе американских писателей, которые по преимуществу оставались европейцами».

Положим, тут сказывались новые — реалистические — времена в литературе, сказывалась разница творческих пристрастий (хотя несколько удивительно все же то, что именно Фолкнер, в чьем творчестве традиция новеллистики По прощупывается довольно четко, отказал своему предшественнику в праве на «американскую прописку»). Однако не только писатели, но и ученые-литературоведы, причем перворазрядные, склонялись к мнению, будто творчество По лежит вне основных течений американской мысли.

Так ли это?

Нетрудно сослаться на такие произведения, как «Разговор с мумией» — чистейшей воды сатиру, насмешку и над американскими

представлениями о собственном интеллектуальном превосходстве, и над американской демократией, якобы высшем достижении цивилизации. Гальванически оживленная египетская мумия вспоминает о том, как «тринадцать египетских провинций вдруг решили, что им надо освободиться и положить великий почин для всего человечества (намек вполне прозрачен: именно то же количество американских штатов в 1776 году провозгласило свою независимость от Англии.— *Н. А.*)... Сначала все шло хорошо, только необычайно развилось хвастовство. Кончилось, однако, дело тем, что эти тринадцать провинций объединились с остальными не то пятнадцатью, не то двадцатью в одну деспотию, такую гнусную и невыносимую, какой свет еще не видывал.

Я спросил, каково было имя деспота-узурпатора.

Он ответил, что, насколько помнит, имя ему было — «Толпа».

Аристократические предрассудки автора, коренящиеся в идеологии американского Юга, где прошла большая часть его жизни, тут слишком очевидны, об этом даже и говорить не приходится. При этом замечательна та проницательность, с какой писатель предугадал вырождение американской демократии в демагогию, в набор бессодержательных фраз. Что же до «основных течений американской мысли», то в литературе США уже был опыт социально-критической аллегории — я имею в виду роман Купера «Моникины», вытесненный, правда, в читательском сознании его выдающейся пенталогией.

Можно вспомнить и другую новеллу Эдгара По — «Литературная жизнь Какваса Тама, эсквайра» — совершенно уже пародийное сочинение, связанное с литературно-журнальными нравами Америки. И снова возникает аналогия — правда, с тем, чему еще только предстояло появиться,— с юморесками Марка Твена, например «Как я редактировал сельскохозяйственную газету» или «Журналистика в Теннесси».

Все же это только примеры, которые нетрудно опровергнуть другими примерами — «Лигейя», «Береника», «Падение дома Ашеров», «Низвержение в Мальстрем», «Метценгерштейн» и т. д.— новеллами, которыми сам автор дорожил более всего и которые подчеркнуто вынесены за пределы реальных измерений.

Следовательно, на новеллистику По нужно взглянуть в ее целостности, в системе, имеющей стабильный эстетический и нравственный центр, вокруг которого организуются «гротески и арабески», «черные» новеллы и новеллы «логические», вроде «Золотого жука», «Убийства на улице Морг», «Тайны Мари Роже».

Если говорить об этической проблематике творчества По, то в основе ее лежит острая, на грани безумия порой, критика торгашеской, обманной, безнравственной жизни, которая его окружала, которая его душила. Критика чаще всего не прямая, каковой можно, с известными допущениями, считать «Какваса Тама», «Дельца» и другие сочинения этого плана, но выражающаяся в сложной системе поэтических иносказаний.

В статье «Философия обстановки» По пишет о «выставленном напоказ богатстве», об «аристократии доллара», о «пышности», к которой Америка свела понятие вкуса. Всему этому показному, безвкусному, вульгарному и сугубо материальному и должен противостоять созидаемый По фантастический мир. Воображение становится для него высшей реальностью; в ней содержится вызов реальности повседневной. Примет последней в большинстве его новелл и вправду не найдешь, и все же она тут существует — в качестве незримого фона, в качестве точки отталкивания, в качестве гротескного

отражения, которое придают ей смещенные пропорции поэтического вымысла.

Быть может, этим и объясняется поразительная напряженность новеллистики По. Та напряженность, которой, например, отличается рассказ «Колодец и маятник». Откуда бы ей, кажется, взяться? Ведь описывает автор седое средневековье, подвалы инквизиции, причем описывает с некоторым даже аналитическим холодком, со скрупулезностью исследователя (эстетический смысл такой повествовательной манеры нам еще откроется). И все же — мощный напор чувства, постоянная готовность к эмоциональному взрыву.

Плоские уподобления тут, конечно, неуместны: мол, современная Америка — это и есть колоссальное, непрекращающееся аутодафе. Но ассоциации возможны и неизбежны. Точно так же мелкой и натянутой показалась бы параллель между пиром во время чумы («Маска Красной смерти») и тем беззастенчивым разгулом материального преуспеяния, что так больно ранил душу поэта; но и здесь за фантастическим антуражем ощущается личная боль человека, переживающего трагедию духа в стране, где дух этот оттеснен на периферию жизненных ценностей.

Известно, что Эдгар По увлекался науками — и точными, вроде астрономии, и оккультными. Говорят даже, что, при всем своем философском идеализме, он сумел предугадать некоторые открытия в области психологии, принадлежащие уже XX веку. Впрочем, вряд ли американский писатель так уж помог будущей науке, но вот область художественного исследования он расширил безусловно. По-видимому, первым в мировой литературе По обнаружил столь пристальный интерес к жизни духа, к странным и загадочным движениям человеческой души. Быть может, среди писателей прошлого столетия один лишь Достоевский (конечно, на принципиально ином — романном — уровне мышления) продемонстрировал ту же способность проникновения в глубины личностного сознания. Недаром, должно быть, с таким интересом читал он книги Эдгара По.

И все-таки не одной лишь тягой к исследованию непредсказуемых или критических состояний души порождены такие новеллы, как «Бес противоречия», «Метценгерштейн» — миниатюра на тему переселения душ, «Вильям Вильсон» — рассказ о раздвоении физического и нравственного бытия человека, «Лигейя» с ее страшным финалом воскресения из мертвых и т. д.

Тут снова ощутима общая идея. В «Лигейе» приводятся слова Бэкона: «Всякая истинная красота всегда имеет в своих пропорциях какую-то странность». В рассказе эта мысль преломляется конкретно, но вообще-то она имеет для автора широкое, фундаментальное, можно сказать, значение. Творимый им мир еще и потому воспринимается как критическая антитеза реальной жизни Америки, что он многозначен, «странен», непредсказуем, в то время как американская повседневность признает лишь прямые линии и педантический расчет, только плоскость; объем же вызывает смущение, досаду, а то и поношение. В упомянутой статье «Философия обстановки» (по форме — трактате о внутреннем убранстве жилища, по существу — сатирическом обличении господствующих вульгарных вкусов) эта мысль высказывается непосредственно: «Слишком много прямых линий — они слишком долго ничем не прерываются или же неуклюже прерываются под прямым углом. Если встречаются изогнутые линии, то они монотонно повторяются». Элементарному, мертвому порядку обездушенной действительности писатель противопоставляет высший гармонический порядок поэзии.

Гармония? Но само это понятие предполагает как будто некото-

рый покой и умиротворенность. А идея противопоставления предполагает некое положительное начало: фальшь — истина, аморализм — нравственное достоинство, зло — добро и т. д.

А какой покой, какое добро в новеллах По? Напротив, злодейство, предательство, распад, смерть. Причем смерть, неуклонно принимающая черты гротеска: труп, внезапно вывалившийся из ящика, где должны были содержаться всего лишь винные бутылки («Ты еси, муж, сотворивый сие»); расчлененное тело, спрятанное по частям под половицей («Сердце-обличитель»); еще один труп, замурованный в нише стены («Черный кот»); осквернение могилы («Береника»).

Холодно и жутко в этом мире ночи, куда не пробиваются лучи солнца. Мир этот не согревается ни юмором, ощутимым в некоторых, даже самых страшных, новеллах, ни изяществом логических умозаключений Огюста Дюпена: ему доступно обнаружение механизмов зла, но не искоренение его причин, ему важно найти убийцу Мари Роже — судьба же несчастной девушки его ничуть не волнует. Его ум блестящ, но бесстрастен — литературные наследники, патер Браун, Шерлок Холмс, были куда человечнее.

Что же породило подобную стихию?

Недруги и простаки ссылались на природную мизантропию писателя — эта версия оказалась довольно живучей, ей даже придали форму научности: свой построенный на фрейдистских символах анализ творчества американского писателя Д.-Х. Лоренс, знаменитый романист и автор известной книги о романтиках Нового Света, начинает со следующего утверждения: «По совершенно поглощен процессом распада собственной души».

Действительно, этот художник с особенной остротой реагировал на бездушный практицизм окружающей его жизни. Отсюда и трагизм мироощущения, с большой силой выразившийся в творчестве, отсюда те картины ада, что возникают в его новеллах.

Но ведь, изображая атмосферу распада, По вовсе не упивался ею, не испытывал извращенное наслаждение мазохиста (что всерьез утверждают некоторые его критики), анализирующего болезнь собственной души.

Он страдал, изливал страдание в словах и тут же — стремился преодолеть его, найти выход, выразить идеал.

Да, идеал у Эдгара По был, хотя романтических героев — наподобие куперовского Натти Бампо или старых голландцев Ирвинга, который искал отдохновения в преданиях ранней американской истории,— у него не найдешь. Не тот характер, да и времена не те.

Как-то По заметил применительно к собственным новеллам: «В основе их лежит метод, а также видимость метода». Речь идет о технологии писательства, но в этой автохарактеристике скрыт, быть может, и этический смысл.

Гротески у По — это преображенный облик реального зла, в котором просто пугающее становится, по его собственным словам, ужасным. В то же время они — попытка преодоления зла, попытка сотворения жизни, пусть из материалов смерти. Недаром столь неукротимым духом жизни наделена угасающая Лигейя. Тем же необузданным стремлением был одержим и сам писатель. Выражалось оно и в мрачном юморе: двое забулдыг-матросов торжествуют победу над смертью («Король-чума»), и в необыкновенной духовной утонченности женских образов, но главным образом в самой красоте и соразмерности художественных пропорций поэтической вселенной Эдгара По.

Эта вселенная лишь на первый взгляд кажется хаотичной

(может быть, потому, что понятие «ужас» неизбежно порождает ожидание хаоса); на самом же деле она подчинена строго продуманному плану, напоминает своей рациональной точностью безукоризненную логику рассуждений Дюпена.

Вслед за этим своим героем По мог бы повторить, что люди *с настоящим* воображением не могут не быть аналитиками.

Как известно, Эдгар По был не только писателем, но и блестящим литературным критиком, много думавшим о природе и принципах художественного творчества.

В искусстве, будь то поэзия или проза, По прежде всего ценил сознательное стремление к определенному эффекту воздействия стихотворения или рассказа на читателя. Насмешливо отзывался он о поэтах, которые «предпочитают, чтобы о них думали, будто они сочиняют в порыве высокого безумия». Сам он предпочитал спокойствие и бесстрастие, «состояния, как можно более противоположные поэтическому».

Буквально все это, конечно, понимать не надо (не исключено, кстати, что до известной степени аналитический ригоризм По был защитной реакцией художника, в котором привыкли видеть безумца и визионера). С какой бы холодной отстраненностью ни анатомировал По (в статье «Философия творчества») своего «Ворона», как бы ни объяснял, почему именно этот, а не другой размер или рифма ему понадобились и откуда явился этот жуткий рефрен — «nevermore»,— строгий этот анализ, ясно, не заменит нам того непосредственного ощущения сопричастности, какое мы испытываем при чтении поэмы и какое возникает лишь при встрече с настоящим искусством. Стихи и новеллы Эдгара По в высшей степени органичны, рождены в сердце художника, а не путем следования теоретическим постулатам.

Скорее наоборот, критические выкладки вырастали из живого, пульсирующего творческого организма, из непосредственной поэтической речи. Иное дело, что речь эта, не переводимая до конца на язык логических понятий, поистине отличается, как сказано, продуманной строгостью и законченностью.

В новеллах «логического» цикла эта особенность проявляется со всей непосредственностью, однако присуща она и тем произведениям, что построены, наоборот, на самом фантастическом сцеплении обстоятельств, на образах и ситуациях, разуму решительно не подвластных.

Да, По умел строить свои сочинения, безотказно добивался желаемого эффекта. Но формальная стройность его новелл далеко не самоцельна — безупречная красота линий была для него способом воплощения идеала.

Идеал — да, но отнюдь не бегство от действительности. Потому что потусторонний, населенный духами и призраками мир По расположен в координатах определенного времени и определенного пространства.

Говоря, что гротески и тени были для По реальнее любой реальности, мы не допустили никакого метафорического преувеличения. Уж слишком пластичны, ощутимы, зримы, материальны эти тени. Туманности складываются в четкие формы, а ночной мрак не скрывает контуров предметов. Герой новеллы «Рукопись, найденная в бутылке» оказывается на борту таинственного корабля, но у этого корабля есть тимберсы, рангоуты, лиселя и вообще все, что положено. Фантомы населяют старинный дом Ашеров, и сам этот дом производит, безусловно, гнетущее впечатление, однако же лишайники, покрывающие его стены, можно пощупать. Невероятна история, поведан-

ная человеком, побывавшим в пучине Мальстрема, однако как реальны все эти обломки судов, громадные бревна и мелкая утварь — остатки кораблекрушения, затянутые в адскую воронку.

Эту особенность творческого воображения По хорошо почувствовал Достоевский. Он писал: «Его произведения нельзя прямо причислить к фантастическим: если они и фантастичны, то, так сказать, внешним образом... Он почти всегда берет самую исключительную действительность, ставит своего героя в самое исключительное внешнее или психологическое положение, и с какою поражающею верностию рассказывает он о состоянии души этого человека!»

Уолт Уитмен как-то писал:

Я буду слагать поэмы о моем теле и смертности,
Ибо считаю, что только так можно создать стихи
о моей душе и бессмертии.

В этих словах точно отразился смысл и облик целой литературной эпохи, которую завершал, открывая в то же время новые пути, автор «Листьев травы». Американские романтики, устремляясь к звездам, всегда твердо стояли на родной почве, их творчеству была свойственна актуальность. Это резко сказывалось и в стиле их книг — он чаще всего отличался «неромантической» точностью, «поражающей верностию» деталей, предметностью. Вспомнить хоть первого национального писателя Америки — Ирвинга: разного рода чертовщина всегда облекалась у него в самые реальные одеяния.

В этом принципиальном смысле традиция была продолжена и обогащена Эдгаром По.

Много говорится о влиянии, оказанном им на литературу, близкую и отдаленную от него во времени. Символы белизны, возникающие в финале «Гордона Пима», вскоре отозвались в мелвилловском «Моби Дике», он положил в американской литературе начало жанру, который принес ей столько славы в последующем развитии,— жанру новеллы; о детективе вообще говорить не приходится — тут он стоит у истоков мировой традиции.

Все это бесспорно. Но остается еще один урок творчества Эдгара По, выходящий за пределы прямых или косвенных влияний.

Он ничуть не лукавил, говоря, что ему тесно и на родном Юге, и во всей Америке,— тесно не только как человеку, задыхающемуся в буржуазном быте, но и как художнику, стремящемуся объять весь мир. Стремление это осуществилось. Но мир не вытеснил Америку, он вырос из нее. И именно потому сумел стать Эдгар По художником мировым, что писал он о своем времени и о своей стране.

Н. Анастасьев

НИЗВЕРЖЕНИЕ В МАЛЬСТРЕМ

Пути Господни в Природе и в Промысле его не наши пути, и уподобления, к которым мы прибегаем, никоим образом несоизмеримы с необъятностью, неисчерпаемостью и непостижимостью его деяний, глубина коих превосходит глубину Демокритова колодца.

Джозеф Гленвилл



Ы НАКОНЕЦ ВЗОБРАЛИСЬ НА ВЕРШИну самого высокого отрога. Несколько минут старик, по-видимому, был не в силах говорить от изнеможения.

— Еще не так давно,— наконец промолвил он,— я мог бы провести вас по этой тропе с такой же легкостью, как мой младший сын; но без малого три года тому назад со мной случилось происшествие, какого еще никогда не выпадало на долю смертного, и уж, во всяком случае, я думаю, нет на земле человека, который, пройдя через такое испытание, остался бы жив и мог рассказать о нем. Шесть часов пережитого мною смертельного ужаса сломили мой дух и мои силы. Вы думаете, я глубокий старик, но вы ошибаетесь. Меньше чем за один день мои волосы, черные как смоль, стали совсем седыми, тело мое ослабло и нервы до того расшатались, что я дрожу от малейшего усилия и пугаюсь тени. Вы знаете, стоит мне только поглядеть вниз с этого маленького утеса, и у меня сейчас же начинает кружиться голова.

«Маленький утес», на краю которого он так непринужденно разлегся, что большая часть его тела оказалась на весу и удерживалась только тем, что он опирался локтем на крутой и скользкий выступ,— этот маленький утес поднимался над пропастью прямой, отвесной глянцевито-черной каменной глыбой футов на полтораста выше гряды скал, теснившихся под нами. Ни за что на свете не осмелился бы я подойти хотя бы на пять-шесть шагов к его краю. Признаюсь, что рискованная поза моего спутника повергла меня в такое смятение, что я бросился ничком на землю и, уцепившись за торчавший около меня кустарник, не решался даже поднять глаза. Я не мог отделаться от мысли, что вся эта скалистая глыба может вот-вот обрушиться от бешеного натиска ветра. Прошло довольно много времени, прежде чем мне удалось несколько овладеть собой и я обрел в себе мужество приподняться, сесть и оглядеться кругом.

— Будет вам чудить,— сказал мой проводник,— ведь я вас только затем и привел сюда, чтобы показать место того происшествия, о котором я говорил, потому что, если вы хотите послушать эту историю, надо, чтобы вся картина была у вас перед глазами.

— Мы сейчас находимся,— продолжал он с той же неизменной обстоятельностью, коей отличался во всем,— над самым побережьем Норвегии, на шестьдесят восьмом градусе широты, в обширной области Нордланд, в суровом краю Лофодена. Гора, на вершине которой мы с вами сидим, называется Хмурый Хельсегген. Теперь поднимитесь-ка немножко повыше — держитесь за траву, если у вас кружится голова, вот так,— и посмотрите вниз, вон туда, за полосу туманов под нами, в море.

Я посмотрел, и у меня потемнело в глазах: я увидел широкую гладь океана такого густого черного цвета, что мне невольно припомнилось Mare Tenebrarum [1] в описании нубийского географа. Нельзя даже и вообразить себе более безотрадное, более мрачное зрелище. Направо и налево, далеко, насколько мог охватить глаз, тянулись гряды отвесных чудовищно-черных нависших скал, словно заслоны мира. Их зловещая чернота казалась еще чернее из-за бурунов, которые, высоко вздыбливая свои белые страшные гребни, обрушивались на них с неумолчным ревом и воем. Прямо против мыса, на вершине которого мы находились, в пяти-шести милях от берега, виднелся маленький плоский островок; вернее было бы сказать, что вы угадывали этот островок по яростному клокотанию волн, вздымавшихся вокруг него. Мили на две поближе к берегу виднелся другой островок, поменьше, чудовищно изрезанный, голый и окруженный со всех сторон выступающими там и сям темными зубцами скал.

Поверхность океана на всем пространстве между дальним островком и берегом имела какой-то необычайный вид. Несмотря на то что ветер дул с моря с такой силой, что небольшое судно, двигавшееся вдалеке под глухо зарифленным триселем, то и дело пропадало из глаз, зарываясь всем корпусом в волны, все же это была не настоящая морская зыбь, а какие-то короткие, быстрые, гневные всплески во все стороны — и по ветру, и против ветра. Пены почти не было, она бурлила только у самых скал.

— Вот тот дальний островок,— продолжал старик,— зовется у норвежцев Вург. Этот, поближе,— Моске. Там, на милю к северу,— Амбаарен. Это Ифлезен, Гойхольм, Килдхольм, Суарвен и Букхольм. Туда подальше, между Моске и Вургом,— Оттерхольм, Флимен, Сандфлезен и Скархольм. Вот вам точные названия этих местечек, но зачем их, в сущности, понадобилось как-то называть, этого ни вам, ни мне уразуметь не дано. Вы слышите что-нибудь? Не замечаете вы никакой перемены в воде?

---

[1] Море мрака *(лат.)*.

Мы уже минут десять находились на вершине Хельсеггена, куда поднялись из внутренней части Лофодена, так что мы только тогда увидели море, когда оно внезапно открылось перед нами с утеса. Старик еще не успел договорить, как я услышал громкий, все нарастающий гул, похожий на рев огромного стада буйволов в американской прерии; в ту же минуту я заметил, что эти всплески на море, или, как говорят моряки, «сечка», стремительно перешли в быстрое течение, которое неслось на восток. У меня на глазах (в то время как я следил за ним) это течение приобретало чудовищную скорость. С каждым мгновением его стремительность, его напор возрастали. В какие-нибудь пять минут все море до самого Вурга заклокотало в неукротимом бешенстве, но сильнее всего оно бушевало между Моске и берегом. Здесь водная ширь, изрезанная, изрубцованная тысячью встречных потоков, вдруг вздыбившись в неистовых судорогах, шипела, бурлила, свистела, закручивалась спиралью в бесчисленные гигантские воронки и вихрем неслась на восток с такой невообразимой быстротой, с какой может низвергаться только водопад с горной кручи.

Еще через пять минут вся картина снова изменилась до неузнаваемости. Поверхность моря стала более гладкой, воронки одна за другой исчезли, но откуда-то появились громадные полосы пены, которых раньше совсем не было. Эти полосы разрастались, охватывая огромное пространство, и, сливаясь одна с другой, вбирали в себя вращательное движение осевших водоворотов, словно готовясь стать очагом нового, более обширного. Неожиданно — совсем неожиданно — он вдруг выступил совершенно отчетливым и явственным кругом, диаметр которого, пожалуй, превышал полмили. Водоворот этот был опоясан широкой полосой сверкающей пены; но ни один клочок этой пены не залетал в пасть чудовищной воронки: внутренность ее, насколько в нее мог проникнуть взгляд, представляла собой гладкую, блестящую, черную, как агат, водяную стену с наклоном к горизонту под углом примерно в сорок пять градусов, которая бешено вращалась стремительными, судорожными рывками и оглашала воздух таким душераздирающим воем — не то воплем, не то ревом,— какого даже могучий водопад Ниагары никогда не воссылает к небесам.

Гора содрогалась до самого основания, и утес колебался. Я приник лицом к земле и в невыразимом смятении вцепился в чахлую траву.

— Это, конечно, и есть,— прошептал я, обращаясь к старику,— великий водоворот Мальстрем?

— Так его иногда называют,— отозвался старик.— Мы, норвежцы, называем его Москестрем — по имени острова Моске, вон там, посредине.

Обычные описания этого водоворота отнюдь не подготовили меня к тому, что я теперь видел. Описание Ионаса Рамуса, пожалуй, самое подробное из всех, не дает ни малейшего

представления ни о величии, ни о грозной красоте этого зрелища, ни о том непостижимо захватывающем ощущении необычности, которое потрясает зрителя. Мне не совсем ясно, откуда наблюдал автор это явление и в какое время,— во всяком случае, не с вершины Хельсеггена и не во время шторма. Некоторые места из его описания стоит привести ради кое-каких подробностей, но язык его так беден, что совершенно не передает впечатления от этого страшного котла.

«Между Лофоденом и Моске,— говорит он,— глубина океана доходит до тридцати шести — сорока морских саженей; но по другую сторону, к Вургу, она настолько уменьшается, что здесь нет сколько-нибудь безопасного прохода для судов и они всегда рискуют разбиться о камни даже при самой тихой погоде. Во время прилива течение между Лофоденом и Моске бурно устремляется к берегу, но оглушительный гул, с которым оно во время отлива несется обратно в море, едва ли может сравниться даже с шумом самых мощных водопадов. Гул этот слышен за несколько десятков километров, а глубина и размеры образующихся здесь ям или воронок таковы, что судно, попадающее в сферу их притяжения, неминуемо захватывается водоворотом, идет ко дну и там разбивается о камни; когда море утихает, обломки выносит на поверхность. Но это затишье наступает только в промежутке между приливом и отливом в спокойную погоду и продолжается всего четверть часа, после чего волнение снова постепенно нарастает. Когда течение бушует и ярость его еще усиливается штормом, опасно приближаться к этому месту на расстояние норвежской мили. Шхуны, яхты, корабли, вовремя не заметившие опасности, погибают в пучине. Часто случается, что киты, очутившиеся слишком близко к этому котлу, становятся жертвой яростного водоворота; и невозможно описать их неистовое мычание и рев, когда они тщетно пытаются выплыть. Однажды медведя, который плыл от Лофодена к Моске, затянуло в воронку, и он так ревел, что рев его был слышен на берегу. Громадные стволы сосен и елей, поглощенные течением, выносит обратно в таком растерзанном виде, что щепа на них торчит как щетина. Это, несомненно, указывает на то, что дно здесь покрыто острыми рифами, о которые и разбивается все, что попадает в крутящийся поток. Водоворот этот возникает в связи с приливом и отливом, которые чередуются каждые шесть часов. В 1645 году, рано утром в вербное воскресенье, он бушевал с такой силой, что от домов, стоящих на берегу, не осталось камня на камне».

Что касается глубины, я не представляю себе, каким образом можно было определить ее в непосредственной близости к воронке. «Сорок саженей» указывают, по-видимому, на глубину прохода возле берегов Моске или Лофодена. Глубина в середине течения Москестрема, конечно, неизмеримо больше. И для этого не требуется никаких доказательств: достаточно бросить хотя бы один беглый взгляд в пучину водоворота с вершины Хельсеггена. Глядя с этого утеса на ревущий внизу

Флегетон, я не мог не улыбнуться тому простодушию, с каким почтенный Ионас Рамус рассказывает как о чем-то малоправдоподобном о случаях с китами и медведями, ибо мне, признаться, казалось совершенно очевидным, что самый крупный линейный корабль, очутившись в пределах смертоносного притяжения, мог бы противиться ему не больше, чем перышко урагану, и был бы мгновенно поглощен водоворотом.

Попытки объяснить это явление казались мне, насколько я их помню, довольно убедительными. Но теперь я воспринял их совсем по-другому, и они отнюдь не удовлетворяли меня. По общему признанию, этот водоворот, так же как и три других небольших водоворота между островами Ферё, обязан своим происхождением не чему иному, как столкновению волн, которые во время прилива и отлива, сдавленные между грядами скал и рифов, яростно взметаются вверх и обрушиваются с неистовой силой; таким образом, чем выше водяной столб, тем больше глубина его падения, и естественным результатом этого является воронка, или водоворот, удивительная способность всасывания коего достаточно изучена на менее грандиозных примерах. Вот что говорится по этому поводу в Британской энциклопедии. Кирхер и другие считают, что в середине Мальстрема имеется бездонная пропасть, которая выходит по ту сторону земного шара, в каком-нибудь очень отдаленном месте, например в Ботническом заливе, как утверждают. Это само по себе нелепое утверждение сейчас, когда вся картина была у меня перед глазами, казалось мне вполне правдоподобным, но когда я обмолвился об этом моему проводнику, я с удивлением услышал от него, что, хотя почти все норвежцы и придерживаются этого мнения, он сам не разделяет его. Что же касается приведенного выше объяснения, он просто сознался, что не в состоянии этого понять; и я согласился с ним, потому что, как оно ни убедительно на бумаге, здесь, перед этой ревущей пучиной, оно кажется невразумительным и даже нелепым.

— Ну, вы достаточно нагляделись на водоворот,— сказал старик,— так вот теперь, если вы осторожно обогнете утес и сядете здесь, с подветренной стороны, где не так слышен этот рев, я расскажу вам одну историю, которая убедит вас, что я-то кое-что знаю о Москестреме...

Я примостился там, где он мне посоветовал, и он приступил к рассказу:

— Я и двое моих братьев владели когда-то сообща хорошо оснащенным парусным судном, тонн этак на семьсот, и на этом паруснике мы обычно отправлялись ловить рыбу к островам за Моске, ближе к Вургу. Во время бурных приливов в море всегда бывает хороший улов, надо только выбрать подходящую минуту и иметь достаточно мужества, чтобы не упустить ее; однако изо всех лофоденских рыбаков только мы трое ходили промышлять к островам. Обычно лов рыбы производится значительно ниже, к югу, где можно безо всякого риска рыбачить в любое время, поэтому все и предпочитают

охотиться там. Но здесь, среди скал, были кое-какие местечки, где мало того что водилась разная редкая рыба, но и улов был много богаче, так что нам иногда удавалось за один день наловить столько, сколько люди более робкого десятка не добывали и за неделю. Словом, это было своего рода отчаянное предприятие: вместо того чтобы вкладывать в него труд, мы рисковали головой, отвага заменяла нам капитал.

Мы держали наш парусник в небольшой бухте, примерно миль на пять выше отсюда по побережью, и обычно в хорошую погоду, пользуясь затишьем, которое длилось четверть часа, мы пересекали главное течение Мальстрема, намного выше водоворота, и бросали якорь где-нибудь около Оттерхольма или Сандфлезена, где не так бушует прибой. Мы оставались здесь, пока снова не наступало затишье, и тогда, снявшись с якоря, возвращались домой. Мы никогда не пускались в это путешествие, если не было надежного бейдевинда (такого, за который можно было поручиться, что он не стихнет до нашего возвращения), и редко ошибались в наших расчетах. За шесть лет мы только два раза вынуждены были простоять ночь на якоре из-за мертвого штиля — явление, поистине редкое в здешних местах; а однажды нам пришлось целую неделю задержаться на промысле, и мы чуть не подохли с голоду, потому что едва только мы прибыли на лов, как поднялся шторм и нечего было даже и думать о том, чтобы пересечь разбушевавшееся течение. Нас бы, конечно, все равно унесло в море, потому что шхуну так швыряло и крутило, что якорь запутался и волочился по дну; но, к счастью, мы попали в одно из перекрестных течений — их много здесь, нынче оно тут, а завтра нет,— и оно прибило нас к острову Флимен, где нам удалось стать на якорь.

Я не могу описать и двадцатую долю тех затруднений, с которыми нам приходилось сталкиваться на промысле (скверное это место, даже и в тихую погоду). Однако мы ухитрялись всегда благополучно миновать страшную пропасть Москестрема, хотя, признаюсь, у меня иной раз душа уходила в пятки, когда нам случалось очутиться в его водах на какую-нибудь минуту раньше или позже затишья. Бывало, что ветер оказывался слабее, чем нам казалось, когда мы выходили на лов, и наш парусник двигался не так быстро, как нам хотелось, а управлять им мешало течение. У моего старшего брата был сын восемнадцати лет, и у меня тоже было двое здоровых молодцов. Они, разумеется, были бы нам большой подмогой в таких случаях — и на веслах, да и во время лова,— но, хотя сами мы всякий раз шли на риск, у нас не хватало духу подвергать опасности жизнь наших детей, потому что, сказать правду, это была смертельная опасность.

Через несколько дней исполнится три года с тех пор, как произошло то, о чем я вам хочу рассказать. Это случилось десятого июля тысяча восемьсот... года. Жители здешних мест никогда не забудут этого дня, ибо такого страшного урагана, какой свирепствовал в тот день, еще никогда не посылали не-

беса. Однако все утро и после полудня дул мягкий, устойчивый юго-западный ветер и солнце светило ярко, так что самый что ни на есть старожил из рыбаков не мог предугадать того, что случилось.

Около двух часов пополудни мы втроем — два моих брата и я — пристали к островам и очень скоро нагрузили нашу шхуну превосходной рыбой, которая в этот день, как мы все заметили, шла в таком изобилии, как никогда. Было ровно семь по моим часам, когда мы снялись с якоря и пустились в обратный путь, чтобы пересечь опасное течение Стрема в самое затишье, а оно, как мы хорошо знали, должно было наступить в восемь часов.

Мы вышли под свежим ветром, который нас подгонял с штирборта, и некоторое время быстро двигались вперед, не думая ни о какой опасности, потому что и в самом деле не видели никаких причин для опасений. Вдруг ни с того ни с сего навстречу нам подул ветер с Хельсеггена. Это было что-то совсем необычное, никогда такого не бывало, и мне, сам не знаю почему, стало как-то не по себе. Мы поставили паруса под ветер, но все равно не двигались с места из-за встречного течения, и я уже собирался было предложить братьям повернуть обратно и стать на якорь, но в эту минуту, оглянувшись, мы увидели, что над горизонтом нависла какая-то необыкновенная, совершенно медная туча, которая росла с невероятной быстротой. Между тем налетевший на нас спереди ветер утих, наступил мертвый штиль, и нас только мотало во все стороны течением. Но это продолжалось так недолго, что мы даже не успели подумать, что бы это значило. Не прошло и минуты, как на нас налетел шторм, еще минута — небо заволокло, море вспенилось, и внезапно наступил такой мрак, что мы перестали видеть друг друга. Бессмысленно и пытаться описать этот ураган. Ни один из самых старых норвежских моряков не видал ничего подобного. Мы успели убрать паруса, прежде чем на нас налетел шквал, но при первом же порыве ветра обе наши мачты рухнули за борт, будто их спилили, и грот-мачта увлекла за собой моего младшего брата, который привязал себя к ней из предосторожности.

Наше судно отличалось необыкновенной легкостью, оно скользило по волнам, как перышко. Палуба у него была сплошного настила, с одним только небольшим люком в носовой части; этот люк мы обычно задраивали, перед тем как переправляться через Стрем, чтобы нас не захлестнуло «сечкой». И если бы не эта предосторожность, то мы сразу пошли бы ко дну, потому что на несколько секунд совершенно зарылись в воду.

Каким образом мой старший брат избежал гибели, я не могу сказать, мне не пришлось его об этом спросить. А я, как только у меня вырвало из рук фок, бросился ничком на палубу и, упершись ногами в планшир, уцепился что было сил за рымболт у основания фок-мачты. Конечно, я это сделал

совершенно инстинктивно, и это лучшее, что я мог сделать, потому что в ту минуту я не был способен думать.

На несколько секунд, как я уже вам говорил, нас совершенно затопило, и я лежал не дыша, цепляясь обеими руками за рым. Когда я почувствовал, что силы изменяют мне, я приподнялся на колени, не выпуская кольца из рук, и голова моя оказалась над водой. В это время наше суденышко встряхнулось точь-в-точь как пес, выскочивший из воды, и, извернувшись, вынырнуло из волн. Я был точно в столбняке, но изо всех сил старался овладеть собой и сообразить, что мне делать, как вдруг кто-то схватил меня за руку. Оказалось, это мой старший брат, и я страшно обрадовался, потому что я ведь уже был уверен, что его смыло за борт. Но радость моя мгновенно сменилась ужасом, когда он, приблизив губы к моему уху, выкрикнул одно слово: «Москестрем!»

Нельзя передать, что почувствовал я в эту минуту. Я затрясся с головы до ног, точно в каком-то страшном лихорадочном ознобе. Я хорошо понял, что означало в его устах это одно-единственное слово. Ветер гнал нас вперед, прямо к водовороту Стрема, и ничто не могло нас спасти.

Вы понимаете, что обычно, пересекая течение Стрема, мы всегда старались держаться как можно выше, подальше от водоворота, даже в самую тихую погоду, и при этом зорко следили за началом затишья, а теперь нас несло в самый котел, да еще при таком урагане. «Но ведь мы, наверно, попадем туда в самое затишье,— подумал я.— Есть еще маленькая надежда». И тут же обругал себя: только сумасшедший мог на что-то надеяться.

К этому времени первый бешеный натиск шторма утих, или, может быть, мы не так ощущали его, потому что ветер дул нам в корму, но зато волны, которые сперва ложились низко, прибитые ветром, и только пенились, теперь вздыбились и превратились в целые горы... В небе также произошла какая-то странная перемена. Кругом со всех сторон оно было черное, как деготь, и вдруг прямо у нас над головой прорвалось круглое оконце, и в этом внезапном просвете чистой, ясной, глубокой синевы засияла полная луна таким ярким светом, какого я никогда в жизни не видывал. Она озарила все кругом, и все выступило с необыкновенной отчетливостью,— но боже, какое зрелище осветила она своим сиянием!

Я несколько раз пытался заговорить с братом, но, непонятно почему, шум до такой степени усилился, что, как я ни старался, он не мог расслышать ни одного слова, несмотря на то, что я изо всех сил кричал ему прямо в ухо. Вдруг он покачал головой и, бледный как смерть, поднял палец, словно желая сказать: «Слушай!»

Сперва я не мог понять, на что он хочет обратить мое внимание, но тотчас же у меня мелькнула страшная мысль. Я вытащил из кармана часы, поднял их на свет и поглядел на циферблат. Они остановились в семь часов! Мы пропустили время затишья, и водоворот Стрема сейчас бушевал вовсю.

Если судно сбито прочно, хорошо оснащено и не слишком нагружено, при сильном шторме в открытом море волны всегда словно выскальзывают из-под него; людям, непривычным к морю, это кажется странным, а у нас на морском языке это называется «оседлать волны».

Так вот, до сих пор мы очень благополучно «держались в седле», как вдруг огромная волна подхватила нас прямо под корму и, взметнувшись, потащила вверх, выше, выше, словно в самое небо. Я бы никогда не поверил, что волна может так высоко подняться. А потом, крутясь и скользя, мы стремглав полетели вниз, так что у меня захватило дух и потемнело в глазах, будто я падал во сне с высокой-высокой горы. Но, пока мы еще были наверху, я успел бросить взгляд по сторонам, и одного этого взгляда было достаточно. Я тотчас же понял, где мы находимся. Водоворот Москестрема лежал прямо перед нами, на расстоянии всего четверти мили, но он был так непохож на обычный Москестрем, как вот этот водоворот, который вы видите, на мельничный ручей. Если бы я еще раньше не догадался, где мы и к чему должны быть готовы, я бы не узнал этого места. И я невольно закрыл глаза от ужаса. Веки мои судорожно сомкнулись сами собой.

Прошло не больше двух-трех минут, как вдруг мы почувствовали, что волны отхлынули и нас обдает пеной. Судно круто повернуло на левый борт и стремительно рванулось вперед. В тот же миг оглушительный грохот волн совершенно потонул в каком-то пронзительном вое,— представьте себе несколько тысяч пароходов, которые все сразу вместе гудят, выпуская пары. Мы очутились теперь в полосе пены, всегда окружающей водоворот, и я подумал, что нас, конечно, сейчас швырнет в бездну, которую мы только смутно различали, потому что кружили над ней с невероятной быстротой. Шхуна наша как будто совсем не погружалась в воду, а скользила, как пузырь, по поверхности зыби. Правый борт был обращен к водовороту, а слева громоздился необъятный, покинутый нами океан. Он высился подобно огромной стене, которая судорожно вздыбливалась между нами и горизонтом.

Это может показаться странным, но теперь, когда мы уже очутились в самой пасти водяной бездны, я был спокойнее, чем тогда, когда мы еще только приближались к ней. Сказав себе, что надеяться не на что, я почти избавился от того страха, который так парализовал меня вначале. Должно быть, отчаяние взвинтило мои нервы.

Можно подумать, что я хвастаюсь, но я вам говорю правду: мне представлялось, как это должно быть величественно — погибнуть такой смертью и как безрассудно перед столь чудесным проявлением всемогущества божьего думать о таком пустяке, как моя собственная жизнь. Мне кажется, я даже вспыхнул от стыда, когда эта мысль мелькнула у меня в голове. Спустя некоторое время мысли мои обратились к водовороту, и мной овладело чувство жгучего любопытства. Меня положительно тянуло проникнуть в его глубину, и мне казалось, что

для этого стоит пожертвовать жизнью. Я только очень сожалел о том, что никогда уже не смогу рассказать старым товарищам, оставшимся на суше, о тех чудесах, которые увижу. Конечно, это странно, что у человека перед лицом смерти возникают такие нелепые фантазии; я потом часто думал, что, может быть, это бесконечное кружение над бездной несколько помутило мой разум.

Было, между прочим, еще одно обстоятельство, которое помогло мне овладеть собой: это отсутствие ветра, теперь не достигавшего нас. Как вы сами видели, полоса пены находится значительно ниже уровня океана — он громоздился над нами высокой, черной, необозримой стеной. Если вам никогда не случалось быть на море во время сильного шторма, вы не в состоянии даже представить себе, до какого исступления может довести ветер и хлестанье волн. Они слепят, оглушают, не дают вздохнуть, лишают вас всякой способности действовать и соображать. Но теперь мы были почти избавлены от этих неприятностей,— так осужденный на смерть преступник пользуется в тюрьме некоторыми маленькими льготами, которых он был лишен, когда участь его еще не была решена.

Сколько раз совершили мы круг по краю водоворота, сказать невозможно. Нас кружило, может быть, около часа; мы не плыли, а словно летели, подвигаясь все больше к середине пояса, потом все ближе и ближе к его зловещему внутреннему краю. Все это время я не выпускал из рук рыма. Мой старший брат лежал на корме, ухватившись за большой пустой бочонок, принайтованный к корме; это была единственная вещь на палубе, которую не снесло за борт налетевшим ураганом. Но вот, когда мы уже совсем приблизились к краю воронки, брат вдруг выпустил из рук бочонок и, бросившись к рыму, вне себя от ужаса, пытался оторвать от него мои руки, так как вдвоем за него уцепиться было нельзя. Никогда в жизни не испытывал я такого огорчения, как от этого его поступка, хотя я и понимал, что у него, должно быть, отшибло разум, что он совсем помешался от страха. У меня и в мыслях не было вступать с ним в борьбу. Я знал, что никому из нас не поможет, будем мы за что-нибудь держаться или нет. Я уступил ему кольцо и перебрался на корму к бочонку. Сделать это не представляло большого труда, потому что шхуна наша в своем вращении держалась довольно устойчиво, не кренилась на борт и только покачивалась взад и вперед от гигантских рывков и содроганий водоворота. Едва я успел примоститься на новом месте, как вдруг мы резко откинулись на правый борт и стремглав понеслись в бездну. Я поспешно прошептал молитву и решил, что все кончено.

Во время этого головокружительного падения я инстинктивно вцепился изо всех сил в бочонок и закрыл глаза. В течение нескольких секунд я не решался их открыть; я ждал, что вот-вот мы погибнем, и не понимал, почему я еще не вступил в смертельную схватку с потоком. Но секунды проходили одна за другой — я был жив. Я перестал чувствовать,

что мы летим вниз; шхуна, казалось, двигалась совершенно так же, как и раньше, когда она была в полосе пены, с той только разницей, что теперь она как будто глубже сидела в воде. Я собрался с духом, открыл глаза и бросил взгляд сначала в одну, потом в другую сторону.

Никогда не забуду я ощущения благоговейного трепета, ужаса и восторга, охвативших меня. Шхуна, казалось, повисла, задержанная какой-то волшебной силой, на половине своего пути в бездну, на внутренней поверхности огромной круглой воронки невероятной глубины; ее совершенно гладкие стены можно было бы принять за черное дерево, если бы они не вращались с головокружительной быстротой и не отбрасывали от себя мерцающее, призрачное сияние лунных лучей, которые золотым потоком струились вдоль черных склонов, проникая далеко вглубь, в самые недра пропасти.

Сначала я был так ошеломлен, что не мог ничего разглядеть. Внезапно открывшееся мне грозное величие — вот все, что я видел. Когда я немножко пришел в себя, взгляд мой невольно устремился вниз. В этом направлении для глаза не было никаких преград, ибо шхуна висела на наклонной поверхности воронки. Она держалась совершенно ровно, иначе говоря — палуба ее представляла собой плоскость, параллельную плоскости воды, но эта последняя круто опускалась, образуя угол больше сорока пяти градусов, так что мы как бы лежали на боку. Однако я не мог не заметить, что и при таком положении я почти без труда сохранял равновесие; должно быть, это объяснялось скоростью нашего вращения.

Лунные лучи, казалось, ощупывали самое дно пучины; но я по-прежнему не мог ничего различить, так как все было окутано густым туманом, а над ним висела сверкающая радуга, подобная тому узкому колеблющемуся мосту, который, по словам мусульман, является единственным переходом из Времени в Вечность. Этот туман, или водяная пыль, возникал, вероятно, от столкновения гигантских стен воронки, когда они все сразу сшибались на дне; но вопль, который поднимался из этого тумана и летел к небесам, я не берусь описать.

Когда мы оторвались от верхнего пояса пены и очутились в бездне, нас сразу увлекло на очень большую глубину, но после этого мы спускались отнюдь не равномерно. Мы носились кругами, но не ровным, плавным движением, а стремительными рывками и толчками, которые то швыряли нас всего на какую-нибудь сотню футов, то заставляли лететь так, что мы сразу описывали чуть не полный круг. И с каждым оборотом мы опускались ниже, медленно, но очень заметно.

Озираясь кругом и вглядываясь в огромную черную пропасть, по стенам которой мы кружились, я заметил, что наше судно было не единственной добычей, захваченной пастью водоворота.

Над нами и ниже нас виднелись обломки судов, громадные бревна, стволы деревьев и масса мелких предметов — разная

домашняя утварь, разломанные ящики, доски, бочонки. Я уже говорил о том неестественном любопытстве, которое овладело мною, вытеснив первоначальное чувство безумного страха. Оно как будто все сильней разгоралось во мне, по мере того как я все ближе и ближе подвигался к страшному концу. Я с необычайным интересом разглядывал теперь все эти предметы, кружившиеся вместе с нами. Быть может, я был в бреду, потому что мне даже доставляло удовольствие загадывать, какой из этих предметов скорее умчится в клокочущую пучину. Вот эта сосна, говорил я себе, сейчас непременно сделает роковой прыжок, нырнет и исчезнет,— и я был очень разочарован, когда остов голландского торгового судна опередил ее и нырнул первым. Наконец, после того как я несколько раз загадывал и всякий раз ошибался, самый этот факт — неизменной ошибочности моих догадок — натолкнул меня на мысль, от которой я снова весь задрожал с головы до ног, а сердце мое снова неистово заколотилось.

Но причиной этому был не страх, а смутное предчувствие надежды. Надежда эта была вызвана к жизни некоторыми воспоминаниями и в то же время моими теперешними наблюдениями. Я припомнил весь тот разнообразный хлам, которым усеян берег Лофодена, все, что когда-то было поглощено Москестремом и потом выброшено им обратно. Большей частью это были совершенно изуродованные обломки, истерзанные и искромсанные до такой степени, что щепа на них стояла торчком, но среди этого хлама иногда попадались предметы, которые совсем не были изуродованы. Я не мог найти этому никакого объяснения, кроме того, что из всех этих предметов только те, что превратились в обломки, были увлечены на дно, другие же — потому ли, что они много позже попали в водоворот, или по какой-то иной причине — опускались очень медленно и не успевали достичь дна, так как наступал прилив или отлив. Я готов был допустить, что и в том и в другом случаях они могли быть вынесены на поверхность океана, не подвергшись участи тех предметов, которые были втянуты раньше или почему-то затонули скорее. При этом я сделал еще три важных наблюдения. Первое: как общее правило, чем больше были предметы, тем скорее они опускались; второе: если из двух тел одинакового объема одно было сферическим, а другое какой-нибудь иной формы, сферическое опускалось быстрее; третье: если из двух тел одинаковой величины одно было цилиндрическим, а другое любой иной формы, цилиндрическое погружалось медленнее. После того как я спасся, я несколько раз беседовал на эту тему с нашим старым школьным учителем. От него я и научился употреблению этих слов — «цилиндр» и «сфера». Он объяснил мне, хоть я и забыл это объяснение, каким образом то, что мне пришлось наблюдать, являлось, в сущности, естественным следствием той формы, какую имели плывущие предметы, и почему так получалось, что цилиндр, попавший в водоворот, оказывал большее сопротивление его всасывающей силе и втягивался труд-

нее, чем какое-нибудь другое, равное ему по объему тело, обладающее любой иной формой[1].

Еще одно удивительное обстоятельство в большей мере подкрепляло мои наблюдения, оно-то главным образом и побудило меня воспользоваться ими для своего спасения: каждый раз, описывая круг, мы обгоняли то бочонок, то рею или обломок мачты, и многие из этих предметов, которые были на одном уровне с нами в ту минуту, когда я только что открыл глаза и увидел эти чудеса водоворота, теперь кружили высоко над нами и как будто почти не сдвинулись со своего первоначального уровня.

Я больше не колебался. Я решил привязать себя как можно крепче к бочонку для воды, за который я держался, отрезать найтов, прикреплявший его к корме, и броситься в воду. Я попытался знаками привлечь внимание брата, я показывал ему на проплывавшие мимо нас бочки и всеми силами старался объяснить ему, что именно я собираюсь сделать. Мне кажется, он в конце концов понял мое намерение, но — так это было или нет — он только безнадежно покачал головой и не захотел двинуться с места. Дотянуться до него было невозможно; каждая секунда промедления грозила гибелью. Итак, я скрепя сердце предоставил брата его собственной участи, привязал себя к бочонку той самой веревкой, которой бочонок был принайтован к корме, и не задумываясь бросился в пучину.

Результат оказался в точности таким, как я и надеялся. Так как я сам рассказываю вам эту историю и вы видите, что я спасся, и знаете из моих слов, каким образом мне удалось спастись, а следовательно, можете уже сейчас предугадать все, чего я еще не досказал, я постараюсь в немногих словах закончить мой рассказ. Прошел, быть может, час или немногим больше, после того как я покинул шхуну, которая уже успела спуститься значительно ниже меня, как вдруг она стремительно перевернулась три-четыре раза и, унося с собой моего милого брата, нырнула в пучину и навсегда исчезла из глаз в бушующей пене. Бочонок, к которому я был привязан, прошел чуть больше половины расстояния до дна воронки от того места, где я прыгнул, когда в самых недрах водоворота произошла решительная перемена. Покатые стены гигантской воронки стали внезапно и стремительно терять свою крутизну, их бурное вращение постепенно замедлялось. Туман и радуга мало-помалу исчезли, и дно пучины как будто начало медленно подниматься. Небо было ясное, ветер затих, и полная луна, сияя, катилась к западу, когда я очутился на поверхности океана против берегов Лофодена, над тем самым местом, где только что зияла пропасть Москестрема. Это было время затишья, но море после урагана все еще дыбилось громадными волнами. Течение Стрема подхватило меня и через несколько минут вынесло к рыбацким промыслам. Я был еле жив и теперь, когда опасность миновала, не в силах

[1] См.: А р х и м е д. О плавающих предметах, т. 2. (*Примеч. автора.*)

был вымолвить ни слова и не мог опомниться от пережитого ужаса. Меня подобрали мои старые приятели и товарищи, но они не узнали меня, как нельзя узнать выходца с того света. Волосы мои, еще накануне черные как смоль, стали, как вы сами видите, совершенно седыми. Говорят, будто и лицо у меня стало совсем другое. Я потом рассказал им всю эту историю, но они не поверили мне. Теперь я рассказал ее вам, но я сильно сомневаюсь, что вы поверите мне больше, чем беспечные лофоденские рыбаки.

РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ В БУТЫЛКЕ

Тому, кому осталось жить не более мгновенья,
Уж больше нечего терять.

Филипп Кино. Атис



Б ОТЕЧЕСТВЕ МОЕМ И СЕМЕЙСТВЕ сказать мне почти нечего. Несправедливость изгнала меня на чужбину, а долгие годы разлуки отдалили от родных. Богатое наследство позволило мне получить изрядное для тогдашнего времени образование, а врожденная пытливость ума дала возможность привести в систему сведения, накопленные упорным трудом в ранней юности. Превыше всего любил я читать сочинения немецких философов-моралистов — не потому, что красноречивое безумие последних внушало мне неразумный восторг, а лишь за ту легкость, с какою привычка к логическому мышлению помогала обнаруживать ложность их построений. Меня часто упрекали в сухой рассудочности, недостаток фантазии вменялся мне в вину как некое преступление, и я всегда слыл последователем Пиррона. Боюсь, что чрезмерная приверженность к натурфилософии и вправду сделала меня жертвою весьма распространенного заблуждения нашего века — я имею в виду привычку объяснять все явления, даже те, которые меньше всего поддаются подобному объяснению, принципами этой науки. Вообще говоря, казалось почти невероятным, чтобы ignes fatui [1] суеверия могли увлечь за суровые пределы истины человека моего склада. Я счел уместным предварить свой рассказ этим небольшим вступлением, дабы необыкновенные происшествия, которые я намереваюсь изложить, не были сочтены скорее плодом безумного воображения, нежели действительным опытом человеческого разума, совершенно исключившего игру фантазии как пустой звук и мертвую букву.

Проведши много лет в заграничных путешествиях, я не имел причин ехать куда бы то ни было, однако же, снедаемый каким-то нервным беспокойством,— словно сам дьявол в меня вселился,— я в 18... году выехал из порта Батавия, что на богатом и густо населенном острове Ява, в качестве пассажира ко-

[1] Блуждающие огни *(лат.)*.

рабля, совершавшего плаванье вдоль островов Зондского архипелага. Корабль наш, великолепный парусник водоизмещением около четырехсот тонн, построенный в Бомбее из малабарского тикового дерева и обшитый медью, имел на борту хлопок и хлопковое масло с Лаккадивских островов, а также копру, пальмовый сахар, топленое масло из молока буйволиц, кокосовые орехи и несколько ящиков опиума. Погрузка была сделана кое-как, что сильно уменьшало устойчивость судна.

Мы покинули порт при еле заметном ветерке и в течение долгих дней шли вдоль восточного берега Явы. Однообразие нашего плавания лишь изредка нарушалось встречей с небольшими каботажными судами с тех островов, куда мы держали свой путь.

Однажды вечером я стоял, прислонившись к поручням на юте, и вдруг заметил на северо-западе какое-то странное одинокое облако. Оно поразило меня как своим цветом, так и тем, что было первым, какое мы увидели со дня отплытия из Батавии. Я пристально наблюдал за ним до самого заката, когда оно внезапно распространилось на восток и на запад, опоясав весь горизонт узкою лентой тумана, напоминавшей длинную полосу низкого морского берега. Вскоре после этого мое внимание привлек темно-красный цвет луны и необычайный вид моря. Последнее менялось прямо на глазах, причем вода казалась гораздо прозрачнее обыкновенного. Хотя можно было совершенно ясно различить дно, я бросил лот и убедился, что под килем ровно пятнадцать фатомов. Воздух стал невыносимо горячим и был насыщен испарениями, которые клубились, словно жар, поднимающийся от раскаленного железа. С приближением ночи замерло последнее дыхание ветерка и воцарился совершенно невообразимый штиль. Ничто не колебало пламени свечи, горевшей на юте, а длинный волос, который я держал указательным и большим пальцем, не обнаруживал ни малейшей вибрации. Однако капитан объявил, что не видит никаких признаков опасности, а так как наш корабль сносило лагом к берегу, он приказал убрать паруса и отдать якорь. На вахту никого не поставили, и матросы, большей частию малайцы, лениво растянулись на палубе. Я спустился вниз — признаться, не без дурных предчувствий. И в самом деле, все свидетельствовало о приближении тайфуна. Я поделился своими опасениями с капитаном, но он не обратил никакого внимания на мои слова и ушел, не удостоив меня ответом. Тревога, однако, не давала мне спать, и ближе к полуночи я снова поднялся на палубу. Поставив ногу на верхнюю ступеньку трапа, я вздрогнул от громкого гула, напоминавшего звук, производимый быстрым вращением мельничного колеса, но прежде чем смог определить, откуда он исходит, почувствовал, что судно задрожало всем своим корпусом. Секунду спустя огромная масса вспененной воды положила нас на бок и, прокатившись по всей палубе от носа до кормы, унесла в море все, что там находилось.

Между тем этот неистовый порыв урагана оказался спасительным для нашего корабля. Ветер сломал и сбросил за борт мачты, вследствие чего судно медленно выпрямилось, некоторое

время продолжало шататься под страшным натиском шквала, но в конце концов стало на ровный киль.

Каким чудом избежал я гибели — объяснить невозможно. Оглушенный ударом волны, я постепенно пришел в себя и обнаружил, что меня зажало между румпелем и фальшбортом. С большим трудом поднявшись на ноги и растерянно оглядевшись, я сначала решил, что нас бросило на рифы, ибо даже самая буйная фантазия не могла бы представить себе эти огромные вспененные буруны, словно стены, вздымавшиеся ввысь. Вдруг до меня донесся голос старого шведа, который сел на корабль перед самым отплытием из порта. Я что было силы закричал ему в ответ, и он, шатаясь, пробрался ко мне на корму. Вскоре оказалось, что в живых остались только мы двое. Всех, кто находился на палубе, кроме нас со шведом, смыло за борт, что же касается капитана и его помощников, то они, по-видимому, погибли во сне, ибо их каюты были доверху залиты водой. Лишенные всякой помощи, мы вдвоем едва ли могли предпринять что-либо для безопасности судна, тем более что вначале, пораженные ужасом, с минуты на минуту ожидали конца. При первом же порыве урагана наш якорный канат, разумеется, лопнул, как тонкая бечевка, и лишь благодаря этому нас тут же не перевернуло вверх дном. Мы с невероятной скоростью неслись вперед, и палубу то и дело захлестывало водой. Кормовые шпангоуты были основательно расшатаны, и все судно было сильно повреждено, однако, к великой нашей радости, мы убедились, что помпы работают исправно и что балласт почти не сместился. Буря уже начала стихать, и мы не усматривали большой опасности в силе ветра, а напротив, со страхом ожидали той минуты, когда он прекратится совсем, в полной уверенности, что мертвая зыбь, которая за ним последует, непременно погубит наш потрепанный корабль. Но это вполне обоснованное опасение как будто ничем не подтверждалось. Пять суток подряд,— в течение коих единственное наше пропитание составляло небольшое количество пальмового сахара, который мы с великим трудом добывали на баке,— наше разбитое судно, подгоняемое шквальным ветром, который хотя и уступал по силе первым порывам тайфуна, был тем не менее гораздо страшнее любой пережитой мною прежде бури, мчалось вперед со скоростью, не поддающейся измерению. Первые четыре дня нас несло с незначительными отклонениями на юго-юго-восток, и мы, по-видимому, находились уже недалеко от берегов Новой Голландии. На пятый день холод стал невыносимым, хотя ветер изменил направление на один румб к северу. Взошло тусклое желтое солнце; поднявшись всего лишь на несколько градусов над горизонтом, оно почти не излучало света. Небо было безоблачно, но ветер свежел и налетал яростными порывами. Приблизительно в полдень — насколько мы могли судить — наше внимание опять привлек странный вид солнца. От него исходил не свет, а какое-то мутное, мрачное свечение, которое совершенно не отражалось в воде, как будто все его лучи были поляризованы. Перед тем

как погрузиться в бушующее море, свет в середине диска внезапно погас, словно стертый какой-то неведомою силой, и в бездонный океан канул один лишь тусклый серебристый ободок.

Напрасно ожидали мы наступления шестого дня — для меня он и по сей час еще не наступил, а для старого шведа не наступит никогда. С этой поры мы были объяты такой непроглядною тьмой, что в двадцати шагах от корабля невозможно было ничего разобрать. Все плотнее окутывала нас вечная ночь, не нарушаемая даже фосфорическим свечением моря, к которому мы привыкли в тропиках. Мы также заметили, что, хотя буря продолжала свирепствовать с неудержимою силой, вокруг больше не было обычных вспененных бурунов, которые сопровождали нас прежде. Везде царил только ужас, непроницаемый мрак и вихрящаяся черная пустота. Суеверный страх постепенно овладел душою старого шведа, да и мой дух тоже был объят немым смятеньем. Мы перестали следить за кораблем, считая это занятие более чем бесполезным, и, как можно крепче привязав друг друга к основанию сломанной бизань-мачты, с тоскою взирали на бесконечный океан. У нас не было никаких средств для отсчета времени и никакой возможности определить свое местоположение. Правда, мы явно видели, что продвинулись на юг дальше, чем кто-либо из прежних мореплавателей, и были чрезвычайно удивлены тем, что до сих пор не натолкнулись на обычные для этих широт льды. Между тем каждая минута могла стать для нас последней, ибо каждый огромный вал грозил опрокинуть наше судно. Высота их превосходила всякое воображение, и я считал за чудо, что мы до сих пор еще не покоимся на дне пучины. Мой спутник упомянул о легкости нашего груза и обратил мое внимание на превосходные качества нашего корабля, но я невольно ощущал всю безнадежность надежды и мрачно приготовился к смерти, которую, как я полагал, ничто на свете не могло оттянуть более чем на час, ибо с каждою милей мертвая зыбь усиливалась и гигантские черные валы становились все страшнее и страшнее. Порой у нас захватывало дух при подъеме на высоту, недоступную даже альбатросу, порою темнело в глазах при спуске в настоящую водяную преисподнюю, где воздух был зловонен и сперт и ни единый звук не нарушал дремоту морских чудовищ.

Мы как раз погрузились в одну из таких пропастей, когда в ночи раздался пронзительный вопль моего товарища. «Смотрите, смотрите! — кричал он мне прямо в ухо,— о, всемогущий боже! Смотрите!» При этих словах я заметил, что стены водяного ущелья, на дне которого мы находились, озарило тусклое багровое сияние; его мерцающий отблеск ложился на палубу нашего судна. Подняв свой взор кверху, я увидел зрелище, от которого кровь заледенела у меня в жилах. На огромной высоте прямо над нами, на самом краю крутого водяного обрыва, вздыбился гигантский корабль водоизмещением не меньше четырех тысяч тонн. Хотя он висел на гребне волны, во сто раз превышавшей его собственную высоту, истинные размеры его все равно превосходили размеры любого существующего на свете

линейного корабля или судна Ост-Индской компании. Его колоссальный тускло-черный корпус не оживляли обычные для всех кораблей резные украшения. Из открытых портов торчали в один ряд медные пушки, полированные поверхности которых отражали огни бесчисленных боевых фонарей, качавшихся на снастях. Но особый ужас и изумление внушило нам то, что, презрев бушевавшее с неукротимой яростию море, корабль этот несся на всех парусах навстречу совершенно сверхъестественному ураганному ветру. Сначала мы увидели только нос корабля, медленно поднимавшегося из жуткого темного провала позади него. На одно полное невыразимого ужаса мгновенье он застыл на головокружительной высоте, как бы упиваясь своим величием, затем вздрогнул, затрепетал и — обрушился вниз.

В этот миг в душу мою снизошел непонятный покой. С трудом пробравшись как можно ближе к корме, я без всякого страха ожидал неминуемой смерти. Наш корабль не мог уже больше противостоять стихии и зарылся носом в надвигавшийся вал. Поэтому удар падавшей вниз массы пришелся как раз в ту часть его корпуса, которая была уже почти под водой, и как неизбежное следствие этого меня со страшною силой швырнуло на ванты незнакомого судна.

Когда я упал, это судно сделало поворот оверштаг, и, очевидно, благодаря последовавшей затем суматохе никто из команды не обратил на меня внимания. Никем не замеченный, я без труда отыскал грот-люк, который был слегка приоткрыт, и вскоре получил возможность спрятаться в трюме. Почему я так поступил, я, право, не могу сказать. Быть может, причиной моего стремления укрыться был беспредельный трепет, охвативший меня при виде матросов этого корабля. Я не желал вверять свою судьбу существам, которые при первом же взгляде поразили меня своим зловещим и странным обличьем. Поэтому я счел за лучшее соорудить себе тайник в трюме и отодвинул часть временной переборки, чтобы в случае необходимости спрятаться между огромными шпангоутами.

Едва успел я подготовить свое убежище, как звук шагов в трюме заставил меня им воспользоваться. Мимо моего укрытия тихой, нетвердой поступью прошел какой-то человек. Лица его я разглядеть не мог, но имел возможность составить себе общее представление об его внешности, которая свидетельствовала о весьма преклонном возрасте и крайней немощи. Колени его сгибались под тяжестью лет, и все его тело дрожало под этим непосильным бременем. Слабым, прерывистым голосом бормоча что-то на неизвестном мне языке, он шарил в углу, где были свалены в кучу какие-то диковинные инструменты и полуистлевшие морские карты. Вся его манера являла собою смесь капризной суетливости впавшего в детство старика и величавого достоинства бога. В конце концов он возвратился на палубу, и больше я его не видел.

. . . .

Душой моей владеет новое чувство, имени которого я не знаю, ощущение, не поддающееся анализу, ибо для него нет

объяснений в уроках былого, и даже само грядущее, боюсь, не подберет мне к нему ключа. Для человека моего склада последнее соображение убийственно. Никогда — я это знаю твердо,— никогда не смогу я точно истолковать происшедшее. Однако нет ничего удивительного в том, что мое истолкование будет неопределенным — ведь оно обращено на предметы, столь абсолютно неизведанные. Дух мой обогатился каким-то новым знанием, проник в некую новую субстанцию.

. . . .

Прошло уже немало времени с тех пор, как я вступил на палубу этого ужасного корабля, и мне кажется, что лучи моей судьбы уже начинают собираться в фокус. Непостижимые люди! Погруженные в размышления, смысл которых я не могу разгадать, они, не замечая меня, проходят мимо. Прятаться от них в высшей степени бессмысленно, ибо они упорно не желают видеть. Не далее как сию минуту я прошел прямо перед глазами у первого помощника; незадолго перед тем я осмелился проникнуть в каюту самого капитана и вынес оттуда письменные принадлежности, которыми пишу и писал до сих пор. Время от времени я буду продолжать эти записки. Правда, мне может и не представиться оказия передать их людям, но я все же попытаюсь это сделать. В последнюю минуту я вложу рукопись в бутылку и брошу ее в море.

. . . .

Произошло нечто, давшее мне новую пищу для размышлений. Не следует ли считать подобные явления нечаянной игрою случая? Я вышел на палубу и, не замечаемый никем, улегся на куче старых парусов и канатов, сваленных на дне шлюпки. Раздумывая о превратностях своей судьбы, я машинально водил кистью для дегтя по краю аккуратно сложенного лиселя, лежавшего возле меня на бочонке. Сейчас этот лисель поднят, и мои бездумные мазки сложились в слово ОТКРЫТИЕ.

В последнее время я сделал много наблюдений по части устройства этого судна. Несмотря на изрядное вооружение, оно, по-моему, никак не может быть военным кораблем. Его архитектура, оснастка и вообще все оборудование опровергают предположение подобного рода. Чем оно не может быть, я хорошо понимаю, а вот чем оно может быть, боюсь, сказать невозможно. Сам не знаю почему, но, когда я внимательно изучаю его необычные обводы и своеобразный рангоут, его огромные размеры и избыток парусов, строгую простоту его носа и старинную форму кормы, в уме моем то и дело проносятся какие-то знакомые образы и вместе с этой смутной тенью воспоминаний в памяти безотчетно всплывают древние иноземные хроники и века, давно минувшие.

. . . .

Я досконально изучил тимберсы корабля. Он построен из неизвестного мне материала. Это дерево обладает особым свойством, которое, как мне кажется, делает его совершенно непригодным для той цели, которой оно должно служить. Я имею в виду его необыкновенную пористость, даже независимо от того,

что он весь источен червями (естественное следствие плавания в этих морях), не говоря уже о трухлявости, неизменно сопровождающей старость. Пожалуй, мое замечание может показаться слишком курьезным, но это дерево имело бы все свойства испанского дуба, если бы испанский дуб можно было каким-либо сверхъестественным способом растянуть.

При чтении последней фразы мне приходит на память афоризм одного старого, видавшего виды голландского морехода. Когда кто-нибудь высказывал сомнение в правдивости его слов, он, бывало, говаривал: «Это так же верно, как то, что есть на свете море, где даже судно растет подобно живому телу моряка».

. . . .

Час назад, набравшись храбрости, я решился подойти к группе матросов. Они не обращали на меня ни малейшего внимания и, хотя я затесался в самую их гущу, казалось, совершенно не замечали моего присутствия. Подобно тому, кого я в первый раз увидел в трюме, все они были отмечены печатью глубокой старости. Колени их дрожали от немощи, дряхлые спины сгорбились, высохшая кожа шуршала на ветру, надтреснутые голоса звучали глухо и прерывисто, глаза были затянуты мутной старческой пеленою, а седые волосы бешено трепала буря. Вся палуба вокруг них была завалена математическими инструментами необычайно замысловатой, устаревшей конструкции.

. . . .

Недавно я упомянул о том, что подняли лисель. С этого времени корабль шел в полный бакштаг, продолжая свой зловещий путь прямо на юг под всеми парусами и поминутно окуная ноки своих брамрей в непостижимую для человеческого ума чудовищную бездну вод. Я только что ушел с палубы, где совершенно не мог устоять на ногах, между тем как команда, казалось, не испытывала никаких неудобств. Чудом из чудес представляется мне то обстоятельство, что огромный корпус нашего судна раз и навсегда не поглотила пучина. Очевидно, мы обречены постоянно пребывать на краю вечности, но так никогда и не рухнуть в бездну. С гребня валов, фантастические размеры которых в тысячу раз превосходят все, что мне когда-либо доводилось видеть, мы с легкой стремительностью чайки соскальзываем вниз, и колоссальные волны возносят над нами свои головы, словно демоны адских глубин, однако демоны, коим дозволены одни лишь угрозы, но не дано уничтожать. То, что мы все время чудом уходим от гибели, я склонен приписать единственной натуральной причине, которая может вызвать подобное следствие. Очевидно, корабль находится под воздействием какого-то сильного течения или бурного глубинного потока.

. . . .

Я столкнулся лицом к лицу с капитаном, и притом в его же собственной каюте, но, как я и ожидал, он не обратил на меня ни малейшего внимания. Пожалуй, ни одна черта его

наружности не могла бы навести случайного наблюдателя на мысль, что он не принадлежит к числу смертных, и все же я взирал на него с чувством благоговейного трепета, смешанного с изумлением. Он приблизительно одного со мною роста, то есть пяти футов восьми дюймов, и крепко, но пропорционально сложен. Однако необыкновенное выражение, застывшее на его лице,— напряженное, невиданное, вызывающее нервную дрожь свидетельство старости столь бесконечной, столь несказанно глубокой,— вселяет мне в душу ощущение неизъяснимое. Чело его, на котором почти не видно морщин, отмечено, однако, печатью неисчислимого множества лет. Его седые бесцветные волосы — свидетели прошлого, а выцветшие серые глаза — пророчицы грядущего. На полу каюты валялось множество диковинных фолиантов с медными застежками, позеленевших научных инструментов и древних, давно забытых морских карт. Склонившись головою на руки, он вперил свой горячий, беспокойный взор в какую-то бумагу, которую я принял за капитанский патент и которая, во всяком случае, была скреплена подписью монарха. Он сердито бормотал про себя — в точности как первый моряк, которого я увидел в трюме,— слова какого-то чужеземного наречия, и, хотя я стоял почти рядом, его глухой голос, казалось, доносился до меня с расстояния в добрую милю.

. . . .

Корабль и все, находящееся на нем, проникнуто духом Старины. Моряки скользят взад-вперед, словно призраки погребенных столетий, глаза их сверкают каким-то лихорадочным, тревожным огнем, и, когда в грозном мерцании боевых фонарей руки их нечаянно преграждают мне путь, я испытываю чувства, доселе не испытанные, хотя всю свою жизнь занимался торговлею древностями и так долго дышал тенями рухнувших колоннад Баальбека, Тадмора и Персеполя, что душа моя и сама превратилась в руину.

. . . .

Оглядываясь вокруг, я стыжусь своих прежних опасений. Если я дрожал от шквала, сопровождавшего нас до сих пор, то разве не должна поразить меня ужасом схватка океана и ветра, для описания коей слова «смерч» и «тайфун», пожалуй, слишком мелки и ничтожны? В непосредственной близости от корабля царит непроглядный мрак вечной ночи и хаос беспенных волн, но примерно в одной лиге по обе стороны от нас виднеются там и сям смутные силуэты огромных ледяных глыб, которые словно бастионы мирозданья, возносят в пустое, безотрадное небо свои необозримые вершины.

. . . .

Как я и думал, корабль попал в течение, если это наименование может дать хоть какое-то понятие о бешеном, грозном потоке, который, с неистовым ревом прорываясь сквозь белое ледяное ущелье, стремительно катится к югу.

. . . .

Постигнуть весь ужас моих ощущений, пожалуй, совершенно невозможно; однако страстное желание проникнуть в

тайны этого чудовищного края превосходит даже мое отчаяние и способно примирить меня с самым ужасным концом. Мы, без сомнения, быстро приближаемся к какому-то ошеломляющему открытию, к разгадке некоей тайны, которой ни с кем не сможем поделиться, ибо заплатим за нее своею жизнью. Быть может, это течение ведет нас прямо к Южному полюсу. Следует признать, что многое свидетельствует в пользу этого предположения, на первый взгляд, по-видимому, столь невероятного.

. . . .

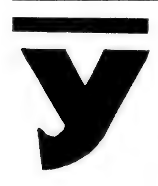
Матросы беспокойным, неверным шагом с тревогою бродят по палубе, но на лицах их написана скорее трепетная надежда, нежели безразличие отчаяния.

Между тем ветер все еще дует нам в корму, а так как мы несем слишком много парусов, корабль по временам прямо-таки взмывает в воздух! Внезапно — о беспредельный чудовищный ужас! — справа и слева от нас льды расступаются, и мы с головокружительной скоростью начинаем описывать концентрические круги вдоль краев колоссального амфитеатра, гребни стен которого теряются в непроглядной дали. Однако для размышлений об ожидающей меня участи остается теперь слишком мало времени! Круги быстро сокращаются — мы стремглав ныряем в самую пасть водоворота, и среди неистового рева, грохота и воя океана и бури наш корабль вздрагивает и — о боже! — низвергается в бездну!

Примечание. «Рукопись, найденная в бутылке» была впервые опубликована в 1831 году, и лишь много лет спустя я познакомился с картами Меркатора, на которых океан представлен в виде четырех потоков, устремляющихся в (северный) Полярный залив, где его должны поглотить недра земли, тогда как самый полюс представлен в виде черной скалы, вздымающейся на огромную высоту.

МЕТЦЕНГЕРШТЕЙН

Pestis eram vivus — moriens tia mors ero.
Martin Luther [1]



ЖАС И РОК ШЕСТВОВАЛИ ПО СВЕТУ ВО все века. Стоит ли тогда говорить, к какому времени относится повесть, которую вы сейчас услышите? Довольно сказать, что в ту пору во внутренних областях Венгрии тайно, но упорно верили в переселение душ. О самом этом учении — то есть о ложности его или, напротив, вероятности — я говорить не стану. Однако же я утверждаю, что недоверчивость наша по большей части (а несчастливость, по словам Лабрюйера, всегда) «vient de ne pouvoir être seul» [2].

Но суеверье венгров кое в чем граничило с нелепостью. Они — венгры — весьма существенно отличались от своих восточных учителей. Например, душа, говорили первые (я привожу слова одного проницательного и умного парижанина), «ne demeure qu'une seule fois dans un corps sensible: au reste — un cheval, un chien, un homme mêne, n'est que la ressemblance peu tangible de ces animaux» [3].

Веками враждовали между собою род Берлифитцингов и род Метценгерштейнов. Никогда еще жизнь двух столь славных семейств не была отягощена враждою столь ужасной. Источник этой розни кроется, пожалуй, в словах древнего пророчества: «Высоко рожденный падет низко, когда, точно всадник над конем, тленность Метценгерштейнов восторжествует над нетленностью Берлифитцингов».

Разумеется, слова эти сами по себе мало что значили. Но причины более обыденные в самом недавнем времени привели к событиям столь же непоправимым. Кроме того, земли этих

---

[1] При жизни я был тебе чумой — умирая, я буду твоей смертью.
Мартин Лютер (лат.).

[2] Происходит оттого, что человек не может быть наедине с собой *(фр.).*

[3] Лишь однажды вселяется в разумную оболочку; во всех остальных воплощениях — в лошади, в собаке, даже в человеке — она остается почти совершенно им чужда *(фр.).*

2 Заказ 59

семейств соприкасались, что уже само по себе с давних пор рождало соперничество. К тому же близкие соседи редко состоят в дружбе, а обитатели замка Берлифитцинг со своих высоких стен могли заглядывать в самые окна дворца Метценгерштейн. И едва ли не королевское великолепие, которое таким образом открывалось их взорам, менее всего способно было успокоить ревнивые чувства семейства не столь древнего и не столь богатого. Можно ли тогда удивляться, что, каким бы нелепым ни было то прорицание, оно вызвало и поддерживало распрю двух родов, которые, подстрекаемые соперничеством, переходящим из поколения в поколение, и без того непременно должны были бы враждовать. Пророчество, казалось, лишь предрекло,— если оно вообще предрекало что бы то ни было — окончательное торжество дома, и без того более могущественного, а домом слабейшим и менее влиятельным вспоминалось, конечно же, с горькою злобой.

Высокородный Вильгельм, граф Берлифитцинг, в ту пору, о которой идет рассказ, был дряхлым, впавшим в детство стариком и отличался единственно неумеренной и закоренелой неприязнью к семье своего соперника и столь страстной любовью к лошадям и охоте, что ни дряхлость тела, ни преклонный возраст, ни ослабевший ум не мешали ему всякий божий день подвергать себя опасностям полеванья.

Фредерик, барон Метценгерштейн, напротив того, еще не достиг совершеннолетия. Отец его, министр Г., умер молодым. Мать, баронесса Мария, ненадолго пережила своего супруга. Фредерику в ту пору шел девятнадцатый год. В городе восемнадцать лет — срок не долгий, на приволье же, да еще столь великолепном, каким было старое поместье, течение времени исполнено более глубокого смысла.

Благодаря некоторым особым обстоятельствам юный барон стал полновластным хозяином громадных богатств сразу же после смерти своего отца. Мало у кого из венгерских вельмож были такие имения. Замкам его не было числа. Но самым большим и самым великолепным был дворец Метценгерштейн. Пределы его владений никогда не были в точности обозначены, но граница главного парка протянулась на пятьдесят миль.

В том, как поведет себя новый владелец, такой юный, с характером, так хорошо известным, получив столь беспримерное богатство, мало у кого были сомнения. И разумеется, в первые же три дня наследник дал себе полную волю и превзошел самые смелые ожидания самых горячих своих поклонников. Бесстыдный разгул, вопиющее вероломство, неслыханные жестокости быстро показали его трепещущим вассалам, что ни рабская их покорность, ни голос совести не послужат им отныне защитой от безжалостных когтей маленького Калигулы. В ночь на четвертый день загорелись конюшни замка Берлифитцинг; и вся округа единодушно присовокупила этот поджог к и без того чудовищному списку беззаконий и злодеяний барона.

Но во время суматохи, вызванной этим происшествием,

сам юный вельможа сидел погруженный в глубокое раздумье в огромной и мрачной зале в верхнем этаже родового дворца Метценгерштейнов. На пышных, хотя и выцветших, гобеленах, что висели по стенам, смутно проступали величественные фигуры множества прославленных предков. Здесь облаченные в горностай епископы и кардиналы, как равные сидя рядом с властителем монархов, накладывают вето на желания какого-нибудь земного владыки либо именем верховной власти самого папы обуздывают дерзновенного врага рода человеческого. Там статные сумрачные князья Метценгерштейны — их могучие боевые кони топчут поверженных врагов, а решительное выражение их лиц способно испугать человека даже с весьма крепкими нервами; а вот исполненные неги и гибкие, как лебеди, дамы давних времен уплывают в призрачном танце под звуки воображаемой музыки.

Но пока барон прислушивался или делал вид, что прислушивается к нараставшему в конюшнях Берлифитцинга шуму, а быть может, замышлял новое, еще более дерзкое злодейство, взгляд его, скользивший по гобеленам, упал на огромного, необычайной масти коня, который принадлежал какому-то сарацину, одному из предков его соперника. Конь изображен был на переднем плане, и был он недвижим, точно статуя, а в глубине умирал поверженный всадник, пронзенный кинжалом Метценгерштейна.

Когда Фредерик понял, на чем случайно задержался его взгляд, губы его искривила дьявольская усмешка. Однако же он не отвел глаз. Напротив, он никак не мог понять, что за неодолимая тревога сковала все его существо. Не сразу, с трудом осознал он, что, несмотря на смутные, бессвязные свои ощущения, он не спит, а бодрствует. Чем дольше смотрел он, тем больше поддавался чарам, и, казалось, никогда уже ему не оторвать завороженного взгляда от гобелена. Но шум и крики за окном вдруг сделались громче, и он с усилием заставил себя взглянуть на алые отблески, что отбрасывало на окна пламя, охватившее конюшни.

Однако уже в следующий миг взгляд его вновь невольно обратился на тот же гобелен. К величайшему его ужасу и удивлению, голова гигантского коня тем временем изменила положение. Шея его, прежде склоненная словно бы сочувственно над распростертым телом господина, теперь вытянулась в сторону барона. Глаза, прежде невидные, сейчас смотрели осмысленно, совсем по-человечески, и в них странно мерцал яростный багровый огонь; а губы рассвирепевшего коня растянулись, обнажая отвратительный мертвый оскал.

Пораженный ужасом, молодой барон, шатаясь, устремился к двери. Распахнул ее, и тотчас в комнату ворвался красный свет и отбросил тень барона на затрепетавший гобелен; на мгновенье замешкавшись на пороге, он со страхом увидел, что она в точности совпала с очертаниями безжалостного и торжествующего убийцы, вонзившего кинжал в сарацина Берлифитцинга.

Чтобы рассеять странный испуг, барон поспешно вышел на воздух. У главных ворот дворца он столкнулся с тремя конюшими. С великим трудом и с опасностью для жизни они сдерживали судорожно рвущегося из рук гигантского огненно-рыжего коня.

— Чей конь? Откуда он у вас?— хрипло, запальчиво спросил юноша, ибо он вдруг увидел, что это взбешенное животное двойник загадочного коня на гобелене.

— Конь ваш, ваша светлость,— отвечал один из конюших,— по крайней мере, никто не признал его своим. Мы поймали его, когда он вынесся из горящих конюшен Берлифитцинга, бока у него курились, на губах пена. Мы подумали, он графский, из конюшни чужеземных коней, и отвели его назад. Но там конюхи его не признали. Странно это, ведь сразу видно, что он вырвался прямо из огня.

— И на лбу у него клеймо, очень четкое, УФБ,— вмешался второй конюший.— Вероятно, Уильям фон Берлифитцинг, но в замке все, как один, уверяют, будто никогда этого коня и в глаза не видали.

— Очень странно!— в недоумении сказал молодой барон, явно не задумываясь над смыслом своих слов.— Ведь и вправду удивительный, редкостный конь! Хотя, как вы весьма справедливо заметили, нрав у него подозрительный и непослушный. Что ж, пускай будет мой,— прибавил он, помолчав.— Быть может, Фредерик Метценгерштейн сумеет обуздать самого дьявола из конюшен Берлифитцинга.

— Вы ошиблись, ваша светлость. Мы уже говорили: лошадь эта не из конюшен графа. Будь она оттуда, мы бы не посмели привести ее пред глаза вашей светлости.

— В самом деле,— сухо заметил барон, и в этот миг из замка выбежал паж.

Он шепнул на ухо господину, что в верхней зале внезапно исчезла часть гобелена; сообщил также и подробности, но поведал он их едва слышным шепотом, так, что ни одна не достигла ушей конюших, чье любопытство было сильно возбуждено.

Фредерик слушал, и его, казалось, обуревали самые разные чувства. Однако же скоро к нему вновь вернулось самообладание, и, когда он властно приказал немедля запереть залу, о которой шла речь, и ключ отдать ему в собственные руки, лицо его выражало злую решимость.

— Вы слышали о неожиданной смерти старого Берлифитцинга?— спросил барона один из его вассалов, когда, после ухода пажа, могучий конь, которого этот вельможа согласился счесть своею собственностью, стал с удвоенной яростью кидаться из стороны в сторону на аллее, ведущей от дворца к конюшням Метценгерштейна.

— Нет!— отвечал барон, резко оборотясь к говорящему.— Умер, вы говорите?

— Да, ваша светлость. И для вельможи из рода Метценгерштейнов, я полагаю, это не столь уж неприятное известие.

На губах барона промелькнула улыбка.

— Какою смертью он умер?

— Он отчаянно пытался спасти хотя бы лучшую часть своего конского завода и сам погиб в пламени.

— Вот как!— промолвил барон, словно бы не вдруг освоясь с мыслью, сильно его взволновавшей.

— Вот как,— подтвердил вассал.

— Ужасно!— хладнокровно сказал юноша и спокойно вошел в свой дворец.

С этих пор в поведении беспутного молодого барона Фредерика фон Метценгерштейна произошла разительная перемена. Он, право же, обманул ожидания всех и вся и, на взгляд бесчисленных маменек, повел себя престранно; привычками своими и манерами он еще меньше, нежели прежде, походил теперь на своих аристократических соседей. Никто отныне никогда не встречал его за пределами его владений, и, несмотря на широкое знакомство, он все свое время проводил в полном одиночестве, разве только странный, неподатливый огненно-рыжий конь, с которого он теперь почти не слезал, по какому-то загадочному праву мог называться его другом.

Однако же он еще долгое время получал множество приглашений от соседей: «Не почтит ли барон наш праздник своим присутствием?», «Не соблаговолит ли барон принять участие в охоте на вепря?».

«Метценгерштейн не охотится», «Метценгерштейн не приедет»,— надменно и коротко отвечал он.

Гордая знать не желала мириться со столь оскорбительной заносчивостью. Приглашения становились все менее радушными, приходили все реже, а со временем и вовсе прекратились. Говорят, вдова несчастного графа Берлифитцинга даже выразила надежду, что барону придется сидеть дома и тогда, когда ему совсем этого не захочется, ибо он презрел общество ровни, и придется скакать верхом, когда у него не будет к тому охоты, ибо он предпочел общество коня. Это, разумеется, была лишь весьма неумная вспышка наследственной розни; и она лишь доказывает, сколь бессмысленны бывают наши речи, когда мы желаем придать им особую силу.

Люди добросердечные объясняли, однако, перемену в поведении молодого вельможи вполне естественным горем сына, потрясенного безвременной смертью родителей,— они забывали при этом, как бессердечно и безрассудно вел он себя первое время после тяжкой этой утраты. Кое-кто полагал даже, что барон чересчур возомнил о своей особе и положении. Другие же (среди них можно назвать домашнего врача) уверенно говорили о склонности барона к болезненной меланхолии и о наследственной слабости здоровья; но большинство обменивалось зловещими намеками.

Упрямую привязанность барона к недавно приобретенному скакуну, привязанность, которая, кажется, становилась сильней с каждым новым проявлением свирепой демониче-

ской натуры этого животного, люди здравомыслящие в конце концов, конечно же, сочли чудовищной и зловещей страстью. Среди бела дня или в глухой час ночи, здоров ли он был или болен, в ясную погоду или в бурю молодой Метценгерштейн, казалось, был прикован к седлу гигантского коня, чья неукротимая дерзость так отвечала его собственному нраву.

Существовали еще к тому же обстоятельства, которые вместе с недавними событиями придавали сверхъестественный и опасный смысл одержимости наездника и свойствам коня. Было тщательно измерено расстояние, которое конь преодолевал одним прыжком, и оказалось, что оно ошеломляюще превысило все самые смелые ожидания людей, одаренных самым богатым воображением. Кроме того, барон не назвал этого скакуна никаким именем, хотя у всех прочих коней были свои особые клички. И конюшня его также находилась в отдалении от остальных; а кормить, чистить и даже просто войти в отведенное ему стойло не отваживался никто, кроме самого владельца.

Надо еще заметить, что хотя трое конюших, которые поймали жеребца, когда он спасался из объятых пламенем конюшен Берлифитцинга, сумели остановить его с помощью уздечки и аркана, однако же ни один не мог с уверенностью сказать, что во время этой опасной схватки или когда-либо после он коснулся самого коня. Проявления редкостного ума в повадках благородного и резвого животного не должны были бы возбудить особых толков, но некоторые обстоятельства взбудоражили даже самых недоверчивых и равнодушных, и, говорят, иной раз целая толпа, собравшаяся поглазеть на диковинного коня, шарахалась в ужасе, словно чувствовала, что неспроста он так свирепо бьет копытом, и даже молодой Метценгерштейн, случалось, бледнел и съеживался под его пронзительным, испытующим, совсем человеческим взглядом.

Среди многочисленной свиты барона никто, однако, не сомневался в пылкости той необыкновенной любви, которую молодой вельможа питал к буйному, норовистому коню; никто, кроме ничтожного и уродливого маленького пажа, чье уродство всем бросалось в глаза и чьи слова никто ни во что не ставил. У него хватало дерзости утверждать (если мнение его вообще заслуживает быть упомянутым), что всякий раз, как господин его вспрыгивал в седло, по его телу проходила непонятная, едва заметная дрожь; и всякий раз, как он возвращался с обычной своей долгой прогулки, лицо его было искажено злобным торжеством.

Однажды бурной ночью, очнувшись от тяжелой дремоты, Метценгерштейн точно безумный выбежал из своей спальни и, поспешно вскочив в седло, ускакал в лесную чащу. Так бывало не раз, и потому никто не обеспокоился, а вот возвращения его домочадцы на сей раз ожидали в большой тревоге, ибо через несколько часов после его отъезда могучие и величественные стены дворца Метценгерштейна треснули до само-

го основания и зашатались, охваченные синевато-багровым неукротимым пламенем.

Когда огонь впервые заметили, дворец уже весь полыхал, и любые усилия спасти хоть какую-то его часть были, несомненно, обречены на неудачу, так что ошеломленные соседи праздно стояли вокруг и молча, хотя и сокрушенно, дивились происходящему. Но в скором времени новое и страшное зрелище приковало внимание собравшихся и доказало, что человеческие муки потрясают чувства толпы куда глубже, нежели самая страшная гибель предметов неодушевленных.

На аллею, обсаженную могучими дубами, что вела из лесу прямо к дворцу Метценгерштейна, стремительно, точно сам мятежный дух бури, вылетел конь, неся смятенного всадника.

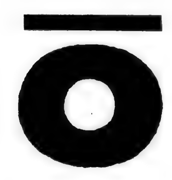
Бесспорно, не всадник направлял эту неистовую скачку. Лицо его выражало муку, тело напряглось в сверхчеловеческом усилии, в кровь искусаны были губы, но лишь однажды вырвался у него короткий, пронзительный крик ужаса. Мгновенье — и в реве огня и вое ветра отчетливо и резко простучали копыта, еще мгновенье — и, одним прыжком перенесясь через ворота и ров, конь вскочил на готовую рухнуть лестницу дворца и вместе с всадником исчез в бушующих вихрях пламени.

И сразу же буря утихла и воцарилась гнетущая тишина. Белое пламя все еще, точно саваном, окутывало дворец и, устремившись в безмятежную высь, озарило все окрест каким-то сверхъестественным светом, а над зубчатыми крепостными стенами тяжело нависло облако дыма, в очертаниях которого явственно угадывался гигантский конь.

КОРОЛЬ ЧУМА

(Рассказ, содержащий аллегорию)

> С чем боги в королях мирятся, что приемлют,
> То в низкой черни отвергают.
>
> *Баккерст. Трагедия о Форрексе и Поррексе*



ДНАЖДЫ В СЛАВНОЕ ЦАРСТВОВАНИЕ Эдуарда Третьего, в октябре месяце, два матроса с торговой шхуны «Душа нараспашку», плавающей между Слейс и Темзой, а тогда стоявшей на Темзе, около полуночи, к своему величайшему изумлению, обнаружили, что сидят в лондонском трактире «Веселый матрос» в приходе св. Андрея.

Этот убогий, закопченный зал с низким потолком ничем не отличался от заведений подобного рода, какими они были в те времена; и тем не менее посетители, расположившиеся в нем причудливыми группами, нашли бы, что он вполне отвечает своему назначению.

На мой взгляд, наши матросы в этой компании представляли собой если не самую примечательную, то уж, во всяком случае, самую интересную пару.

Один из них, тот, которого его товарищ вполне заслуженно именовал «Дылдой», был как будто старше своего спутника и чуть не вдвое выше него. Из-за своего огромного роста — в нем было футов шесть с половиной — он сильно сутулился. Впрочем, излишек длины с лихвой искупался нехваткой ширины. Он был до того худ, что, как уверяли товарищи, пьяный мог бы служить вымпелом на мачте, а трезвый — сойти за бушприт. Но ни одна из подобных шуток не вызывала даже тени улыбки на лице этого матроса. У него был крупный, ястребиный нос, высокие скулы, срезанный подбородок, запавшая нижняя губа, а глаза навыкате — большие и белесые. Казалось, ко всему на свете он относился с тупым безразличием, причем лицо его выражало такую торжественную важность, что описать или воспроизвести это выражение невозможно.

Второй матрос, тот, который был моложе, казался его полной противоположностью. Рост матроса едва достигал четырех футов. Короткое нелепое туловище держалось на коротких и толстых кривых ногах; куцые руки с массивными кулаками

висели наподобие плавников морской черепахи. Маленькие, неопределенного цвета глазки поблескивали откуда-то из глубины; нос утопал в лиловых подушках щек; толстая верхняя губа, покоясь на еще более толстой нижней, придавала его лицу вид глубочайшего самодовольства, а привычка облизываться еще подчеркивала его. Нельзя было не заметить, что Дылда вызывает в нем удивление и насмешки, он поглядывал на своего долговязого приятеля снизу вверх, точь-в-точь как багровое закатное солнце смотрит на крутые склоны Бен-Невиса.

Странствия сей достойной парочки из трактира в трактир сопровождались в тот вечер самыми невообразимыми происшествиями. В трактир «Веселый матрос» друзья явились без гроша в кармане — запасы денег, даже очень солидные, когда-нибудь да иссякают.

В ту минуту, с которой, собственно, и начинается наш рассказ, Дылда и его дружок — Хью Смоленый — сидели посреди комнаты, положив локти на большой дубовый стол и подпирая ладонями щеки. Скрытые огромной бутылью от неоплаченного эля, приятели взирали на зловещие слова: «Мела нет» (что означало «В кредит не даем»), выведенные, к их величайшему изумлению и негодованию, над входной дверью тем самым мелом, наличие коего отрицалось. Не думайте, что хотя бы один из этих детей моря умел читать — способность, считавшаяся в те времена простым народом не менее магической, чем дар сочинительства,— но буквы, как хмельные, делали резкий крен в подветренную сторону, а это, по мнению обоих матросов, предвещало долгое ненастье; волей-неволей пришлось тут же, как аллегорически выразился Дылда, «откачивать воду из трюма, брать паруса на гитовы и ложиться по ветру».

И матросы, расправившись с остатками эля и затянув шнурки коротких курток, устремились на улицу. Несмотря на то что Хью Смоленый дважды сунул голову в камин, приняв его за дверь, наши герои благополучно выбрались из трактира и в половине первого ночи уже во всю прыть неслись по темному переулку к лестнице св. Андрея навстречу новым бедам, упорно преследуемые разъяренной хозяйкой «Веселого матроса».

В эпоху, к которой относится этот богатый происшествиями рассказ, по всей Англии, и особенно по ее столице, долгие годы разносился ужасный крик: «Чума!» Лондон совсем обезлюдел: по темным, узким, грязным улицам и переулкам близ Темзы, где, как полагали, и явился на свет Демон черного мора, свободно разгуливали только Страх, Ужас и Суеверие.

Указом короля на эти кварталы был наложен запрет, и под страхом смертной казни никто не смел нарушить их мрачное безлюдье. Но ни указ монарха, ни заставы перед зачумленными улицами, ни смертельная угроза погибнуть от гнусной болезни, подстерегавшей несчастного, который, презрев опас-

ность, рисковал всем,— ничто не могло спасти от ночных грабителей покинутые жителями дома; хотя оттуда и был вывезен весь скарб, воры уносили железо, медь, свинец — словом, все, что имело какую-нибудь ценность.

Каждый год, когда снимали заставы, оказывалось, что владельцы многочисленных в тех местах лавок, стремившиеся избежать риска и хлопот, связанных с перевозкой, напрасно доверили замкам, засовам и потайным погребам свои обширные запасы вин и других спиртных напитков.

Впрочем, лишь немногие приписывали эти деяния рукам человеческим. Люди обезумели от страха и считали, что во всем повинны духи чумы, бесы моровой язвы или демоны горячки. Ежечасно возникали леденящие кровь легенды, и неодолимый страх словно саваном окутал эти здания, находившиеся под запретом,— не раз случалось, что грабитель в трепете бежал от ужасов, рожденных его же собственными опустошительными набегами, и оставлял обезлюдевшие улицы во власти заразы, безмолвия и смерти.

Одна из тех зловещих застав, которые ограждали зачумленные кварталы, внезапно выросла на пути Дылды и почтенного Хью Смоленого. О возвращении не могло быть и речи; нельзя было терять ни минуты, так как преследователи гнались за ними по пятам. Настоящим морякам ничего не стоило вскарабкаться на сколоченную наспех ограду, а затем, разгоряченные быстрым бегом и вином, приятели без колебаний спрыгнули на запретную землю, с громкими криками и пьяным гиканьем понеслись дальше и вскоре затерялись в лабиринте зловонных извилистых улиц.

Конечно, если бы они не были пьяны до бесчувствия, окружавшие ужасы вскоре парализовали бы их заплетающиеся ноги. Воздух был холодным и сырым. Камни, вывороченные из мостовой, валялись в беспорядке среди высокого, цеплявшегося за ноги, буйно разросшегося бурьяна. Улицы были завалены обломками обрушившихся домов. Повсюду стоял удушливый, ядовитый смрад, и при мертвенно-бледном свете, излучаемом мглистым тлетворным воздухом даже в самую ночь, можно было увидеть то там, то здесь, в переулках и в жилищах с выбитыми окнами, разлагающийся труп ночного грабителя, настигнутого рукою чумы в ту самую минуту, когда он протягивал руку за добычей.

Но даже эти препятствия и картины ужасов не могли остановить людей, от природы храбрых, отвага которых была к тому же подогрета элем,— и наши матросы настолько прямо, насколько позволяли непослушные ноги, спешили в пасть Смерти. Вперед, все вперед бежал угрюмый Дылда, пробуждая многоголосое тоскливое эхо диким гиканьем, напоминавшим военный клич индейцев; вперед, все вперед спешил за ним вразвалку коротышка Хью Смоленый, вцепившись в куртку своего более энергичного товарища, и из глубины его могучих легких вырывался могучий бычий рев, еще более оглушительный, чем музыкальные упражнения Дылды.

Теперь приятели, видимо, достигли главного оплота чумы. Воздух с каждым их шагом становился все зловоннее и удушливее, а переулки все более узкими и извилистыми. С прогнивших крыш поминутно срывались громадные камни и балки, а грохот, с каким они падали, свидетельствовал о высоте окружающих зданий; с трудом пробираясь среди развалин, матросы нередко опирались на скелет или разлагающийся труп.

Внезапно, когда они оказались у входа в какой-то высокий мрачный дом и у разгоряченного Дылды вырвался особенно пронзительный вопль, изнутри дома ему ответил взрыв неистового сатанинского гогота и визга. Ничуть не испугавшись дьявольских звуков, от которых в такое время и в таком месте у людей не столь отчаянных кровь застыла бы в жилах, пьяницы очертя голову ринулись к двери, распахнули ее настежь и, изрыгая проклятия, ворвались внутрь.

Комната, куда они попали, оказалась лавкой гробовщика; однако сквозь открытый люк в углу у входа был виден ряд винных погребов, а доносившиеся оттуда хлопки пробок, вылетающих из бутылок, свидетельствовали, что там хранятся изрядные запасы спиртного.

Посредине лавки стоял стол, в центре которого возвышалась огромная кадка, наполненная, по-видимому, пуншем. Весь стол был заставлен бутылками со всевозможными винами; вперемежку стояли баклаги, фляги, кувшины самого разнообразного вида с другими спиртными напитками. Вокруг стола на гробовых козлах разместилась компания из шести человек. Попытаемся описать каждого из них.

Против двери, на возвышении, сидел, по-видимому, председатель пира. Он был высок и очень худ. Дылда даже растерялся, увидев человека еще более тощего, чем он сам. Председатель был желт, как шафран, но черты его лица не привлекли бы внимания и о них не стоило бы упоминать, если бы не одно обстоятельство: лоб у него был до того безобразный и неестественно высокий, что казалось, будто на голову ему надели шапку или венок из плоти. Его губы были сморщены в улыбку дьявольского добродушия, а глаза, как, впрочем, у всех сидящих за столом, остекленели от действия винных паров. Этот господин был с ног до головы закутан в гробовой покров из черного бархата, богато расшитый и ниспадавший с его плеч, как испанский плащ. Голова у него была утыкана черными перьями с катафалка, и он непринужденно, с франтоватым видом покачивал этим плюмажем из стороны в сторону; в правой руке председатель сжимал человеческую берцовую кость, которой он стучал по столу, видимо, требуя песни от кого-то из своих собутыльников.

Напротив, спиной к двери, восседала дама, столь же поразительного облика. Будучи почти одного роста с вышеупомянутым господином, она, однако, не могла пожаловаться на худобу — ее явно мучила водянка, к тому же в последней стадии; фигура этой дамы больше всего походила на огромную открытую бочку октябрьского пива, стоявшую в углу возле нее. Ее

круглое, как шар, красное и распухшее лицо отличалось той же странностью, что и лицо председателя,— вернее сказать, в нем тоже не было ничего примечательного, кроме одной черты, которая настолько бросалась в глаза, что не упомянуть о ней невозможно. Наблюдательный Хью Смоленый тут же заметил, что каждый из присутствующих отмечен какой-нибудь чудовищной особенностью, словно он взял себе монополию на одну часть физиономии. У дамы, о которой мы ведем речь, выделялся рот. Он протянулся зияющей щелью от правого до левого уха, и подвески ее серег то и дело проваливались в эту щель. Однако дама изо всех сил старалась держать рот закрытым, чтобы не нарушать величественности, которую придавал ей накрахмаленный, тщательно отутюженный саван, стянутый у шеи батистовым гофрированным рюшем.

По правую руку от нее сидела миниатюрная молодая особа, которой она, видимо, покровительствовала. Дрожь исхудалых пальцев, синева губ, легкий лихорадочный румянец, пятнами окрасивший свинцово-серое лицо этого нежного создания,— все говорило о том, что у нее скоротечная чахотка. В манерах молодой дамы чувствовался подлинный haut ton[1]; очень элегантная погребальная пелена из тончайшего батиста окутывала ее с неподражаемым изяществом; волосы локонами ниспадали на шею; на губах играла томная улыбка; но ее нос, необычайно длинный и тонкий, подвижный, похожий на хобот, весь в угрях, закрывал нижнюю губу и, несмотря на грацию, с какой она перекидывала его кончиком языка то туда, то сюда, придавал ее лицу несколько двусмысленное выражение.

По другую сторону стола, налево от распухшей дамы, расположился отекший, страдающий астмой и подагрой старичок; его щеки лежали на плечах, как два бурдюка, полных красного портвейна. Руки он скрестил на груди, забинтованную ногу положил на стол и, по всей видимости, чувствовал себя очень важной персоной. Старичок явно гордился каждым дюймом своей наружности, но особенно — пестрым кафтаном. Кафтан этот, несомненно, стоил ему больших денег и сидел на нем превосходно; скроен он был из одного из тех причудливо расшитых покровов, которые в Англии набрасывают на щиты с прославленными гербами, вывешенные на доме усопшего вельможи.

Рядом с ним, по правую руку от председателя, сидел господин в длинных белых чулках и бязевых кальсонах. Он уморительно дергался всем телом в приступе «трясучки», как определил про себя Хью Смоленый. Его свежевыбритые щеки и подбородок стягивала муслиновая повязка, запястья ему также связали, и таким образом он был лишен возможности злоупотреблять горячительными напитками, в изобилии стоявшими на столе,— предосторожность, как подумал Дылда, необходимая, принимая во внимание бессмысленное выражение лица этого закоренелого пьянчуги. Но его гигантские уши уж никак не уда-

[1] Светский тон *(фр.)*.

лось бы связать, и они тянулись вверх, судорожно настораживаясь всякий раз, когда хлопала пробка.

Напротив его расположился шестой, и последний, собутыльник — совершенно окостеневший господин, который, будучи разбит параличом, бесспорно, должен был прескверно себя чувствовать в своем неудобном, хоть и весьма оригинальном одеянии. Он был облачен в новешенький нарядный гроб красного дерева. Поперечная стенка опиралась на его затылок, нависая, подобно капюшону, что придавало его лицу чрезвычайно интересный вид. По бокам гроба были сделаны отверстия для рук, скорее ради удобства, чем ради красоты, тем не менее наряд этот не позволял его обладателю сидеть прямо, как остальные, и, лежа на козлах под углом в сорок пять градусов, он закатывал к потолку белки своих огромных вытаращенных глаз, словно сам бесконечно изумлялся их чудовищной величине.

Перед пирующими стояли черепные крышки, служившие чашами. Над столом покачивался скелет; он висел на веревке, обвязанной вокруг ноги и протянутой через кольцо в потолке. Другая нога торчала под прямым углом, и костяк от малейшего сквозняка дребезжал, подпрыгивал и раскачивался во все стороны. В черепе мерзостного скелета пылали угли, озарявшие всю эту сцену неверным, но ярким светом, гроб же и прочие товары гробовщика, наваленные грудами у стен и у окон, не пропускали наружу ни единого отблеска.

При виде столь необычайного общества и еще более необычайных одеяний и утвари наши матросы повели себя далеко не столь достойно, как хотелось бы. Дылда, прислонившись к стене, у которой стоял, широко разинул рот, нижняя губа у него отвисла еще больше обычного, а глаза чуть не вылезли из орбит; а Хью, присев на корточки так, что нос его оказался на одном уровне со столом, и хлопая себя по коленям, разразился неудержимым и совершенно неуместным смехом.

Однако, ничуть не обидевшись на эту вопиющую неучтивость, высокий председатель пиршества милостиво улыбнулся незваным гостям и, величаво качнув головой, утыканной траурными перьями, взял матросов за руки и подвел к козлам, которые услужливо притащил кто-то из пирующих. Дылда без малейшего сопротивления сел, куда ему было указано, между тем как галантный Хью, которому приготовили место во главе стола, придвинул свои козлы поближе к миниатюрной чахоточной барышне в погребальной пелене, превесело уселся рядом с нею и, плеснув в череп красного вина, осушил его за более близкое знакомство. Такая развязность весьма оскорбила окостенелого господина в гробу, и это привело бы к весьма неприятным последствиям, если бы председатель, постучав по столу своим жезлом, не отвлек внимания присутствующих следующей речью:

— Мы считаем своим долгом ввиду счастливого случая...

— Эй, на шхуне! — с озабоченным видом прервал его Дылда.— Не торопись так, любезный! Скажи нам сперва, кто вы такие, дьявол вас побери, и что вы тут делаете, разрядившись,

как черти на шабаш? Почему хлебаете славное винцо и пиво, которое гробовщик Уилл Уимбл, честный мой дружок — мы немало с ним поплавали,— припас себе на зиму?

Столь непростительная невоспитанность побудила страшное общество вскочить из-за стола и испустить такие же неистовые вопли, какие незадолго перед этим привлекли внимание наших моряков. Первым овладел собой председатель и, обратившись к Дылде, заговорил с еще большим достоинством:

— Мы с большой охотой удовлетворим любопытство столь именитых, хоть и непрошеных, гостей и ответим на любой разумный вопрос. Так знайте: я государь этих владений и правлю здесь единодержавно под именем король Чума Первый. Эти покои, что вы по невежеству сочли лавкой Уилла Уимбла, гробовщика, человека нам неизвестного, чье плебейское имя до сей ночи не оскверняло наших королевских ушей, это — тронная зала нашего дворца, которая служит нам для совещаний с сановниками, а также для других священных и возвышенных целей. Благородная дама, что сидит напротив,— королева Чума, наша августейшая супруга, а прочие высокие особы, которых вы здесь видите,— все это члены королевского дома и носят соответствующие титулы: его светлость герцог Чума-Мор, его светлость герцог Чума Бубонная, его светлость герцог Чума-Смерч и ее высочество Чумная Язва. А на ваш вопрос,— продолжал председатель,— по какому поводу мы собрались здесь, мы позволим себе ответить, что это касается только нашей королевской особы и ни для кого, кроме нас, значения не имеет. Однако, принимая во внимание те права, кои принадлежат вам как нашим гостям и чужеземцам, мы добавим, что собрались мы здесь нынче ночью для того, чтобы путем глубоких изысканий и самых тщательных исследований проверить, испробовать и до конца распознать неуловимый дух, непостижимые качества, природу и бесценные вкусовые свойства вина, эля и иных крепких напитков нашей прекрасной столицы. Делаем мы это не столько ради собственного нашего преуспеяния, сколько ради подлинного благоденствия той неземной владычицы, которая царит над всеми, владения коей безграничны,— имя же ей — Смерть!

— Имя же ей Морской Черт! — крикнул Хью Смоленый, наполняя вином два черепа — для себя и для своей соседки.

— Нечестивый раб! — воскликнул председатель, обращая взгляд на достопочтенного Хью.— Нечестивый, жалкий ублюдок! Мы уже сказали, что из уважения к правам, кои мы не склонны нарушать, даже имея дело с такой гнусной тварью, как ты, мы снизошли до ответа на грубые и неуместные вопросы. Однако за то, что вы так кощунственно вторглись в наш совет, мы почитаем своим долгом наложить штраф на тебя и твоего приятеля: вы должны, стоя на коленях, осушить одним духом за процветание нашего королевства по галлону рома, смешанного с патокой, после чего можете продолжать свой путь или остаться и разделить с нами все привилегии нашего общества,— как это вам самим заблагорассудится.

— Никак невозможно,— отозвался Дылда. Достоинство, с каким держался король Чума Первый, очевидно, внушило Дылде некоторое почтение; он поднялся и, опершись о стол, продолжал: — С дозволения вашего величества, невозможное это дело — спустить в трюм хоть четверть того пойла, о котором ваше величество изволило упомянуть. Не считая жидкости, принятой на борт утром в качестве балласта, не говоря об эле и других крепких напитках, принятых нынешним вечером в разных портах, мой трюм доверху полон пивом, которым я нагрузился, расплатившись за него сполна в трактире под вывеской «Веселый матрос». Так вот, прошу ваше величество довольствоваться моими добрыми намерениями, ибо я никоим образом не могу вместить в себя еще хоть каплю чего-либо, а тем более этой мерзкой трюмной водички, которая зовется ромом с патокой.

— Заткни глотку! — прервал его Хью Смоленый, пораженный не столько длинной речью товарища, сколько его отказом.— Заткни глотку, пустомеля! Я скажу — а я зря болтать не стану: в моем трюме еще найдется место, хоть ты, Дылда, видать, и перебрал лишнее. А что до твоей доли груза, так я найду и для нее место, нечего поднимать бурю!..

— Это не отвечает условиям приговора,— остановил его председатель.— Наше решение как закон мидян: оно не может быть ни изменено, ни отменено. Условия должны быть выполнены неукоснительно и без малейшего промедления. А не выполните, прикажем привязать вам ноги к шее и, как бунтовщиков, утопить вон в том бочонке октябрьского пива!

— Таков приговор! Правильный и справедливый! Прекрасное решение! Самое достойное, самое честное и праведное! — хором завопило чумное семейство.

На лбу короля собрались бесчисленные складки; старичок с подагрой запыхтел, как кузнечные мехи; молодая особа в погребальной пелене завертела носом во все стороны; господин в бязевых кальсонах навострил уши; дама в саване разинула рот, словно рыба, издыхающая на суше; а господин в гробу лежал окостенев и закатывая глаза.

— Хо-хо-хо! — захохотал Хью Смоленый, не замечая общего волнения.— Хо-хо-хо! Хо-хо-хо! Я же говорил, когда мистер король Чума стучал своей свайкой, что такому крепкому, малонагруженному судну, как мое, ничего не стоит опрокинуть в себя лишних два галлона рома с патокой. Но пить за здоровье сатаны (да простит ему господь!), стоя на коленях перед этим мерзким величеством, когда он — всего-навсего Тим Шарманщик, комедиант, и это так же верно, как и то, что я человек грешный, нет уж, дудки! Это дело другого рода, и мне оно не подходит.

Ему не дали кончить. Едва он упомянул имя Тима Шарманщика, как все разом вскочили.

— Измена! — закричал его величество король Чума Первый.
— Измена! — проскрипел подагрический старичок.
— Измена! — взвизгнула ее высочество Чумная Язва.

— Измена! — прошамкал господин со связанной челюстью.

— Измена! — прорычал господин, облаченный в гроб.

— Измена! Измена! — завопила ее величество Рот Щелью и, ухватив злополучного Хью Смоленого сзади за штаны, высоко подняла его и без всяких церемоний бросила в огромный открытый бочонок с его излюбленным октябрьским пивом. Несколько секунд он то погружался на дно, то всплывал, словно яблоко в чаше с пуншем, пока не исчез в водовороте пенистого пива, которое забурлило еще больше от его судорожного барахтанья.

Однако долговязый матрос не стерпел такого обращения со своим товарищем. Столкнув короля Чуму в открытый люк, доблестный Дылда с проклятием захлопнул за ним крышку и прыгнул на середину комнаты. Он сорвал качавшийся над столом скелет и принялся молотить им по головам пирующих с таким усердием и рвением, что с последней вспышкой гаснущих углей вышиб дух из подагрического старикашки. Навалившись потом изо всей силы на роковой бочонок с октябрьским пивом и Хью Смоленым, он тут же его опрокинул. Пиво хлынуло из бочонка таким бурным и стремительным потоком, что сразу залило всю лавку от стены до стены. Уставленный напитками стол перевернулся, козлы для гробов поплыли ножками вверх, кадка с пуншем скатилась в камин, и обе дамы закатили истерику. Сложенные у стен гробы всплыли. Оплетенные соломой фляги наскакивали на портерные бутылки; кубки, кружки, стаканы — все смешалось в общей mêlée [1]. Трясущийся человек захлебнулся тут же, окостенелый джентльмен выплыл из своего гроба, а победоносный Дылда, обхватив за талию пухлую даму в саване, ринулся с нею на улицу, беря прямой курс на «Душа нараспашку»; следом за ним, чихнув три или четыре раза, пыхтя и задыхаясь, под легкими парусами несся грозный Хью Смоленый с ее высочеством Чумной Язвой.

---

[1] Схватка *(фр.)*.

ЧЕРТ НА КОЛОКОЛЬНЕ

Который час?

Известное выражение

Решительно всем известно, что прекраснейшим местом в мире является — или, увы, являлся — голландский городок Школькофремен. Но ввиду того что он расположен на значительном расстоянии от больших дорог, в захолустной местности, быть может, лишь весьма немногим из моих читателей довелось в нем побывать. Поэтому ради тех, кто в нем не побывал, будет вполне уместно сообщить о нем некоторые сведения. Это тем более необходимо, что, надеясь пробудить сочувствие публики к его жителям, я намереваюсь поведать здесь историю бедственных событий, недавно происшедших в его пределах. Никто из знающих меня не усомнится в том, что долг, мною на себя добровольно возложенный, будет выполнен в полную меру моих способностей, с тем строгим беспристрастием, скрупулезным изучением фактов и тщательным сличением источников, коими ни в коей мере не должен пренебрегать тот, кто претендует на звание историка.

Пользуясь помощью летописей купно с надписями и древними монетами, я могу утверждать о Школькофремене, что он со своего основания находился совершенно в таком же состоянии, в каком пребывает и ныне. Однако с сожалением замечу, что о дате его основания я могу говорить лишь с той неопределенной определенностью, с какой математики иногда принуждены мириться в некоторых алгебраических формулах. Поэтому могу сказать одно: городок стар, как все на земле, и существует с сотворения мира.

С прискорбием сознаюсь, что происхождение названия «Школькофремен» мне также неведомо. Среди множества мнений по этому щекотливому вопросу — из коих некоторые остроумны, некоторые учены, а некоторые в достаточной мере им противоположны — не могу выбрать ни одного, которое следовало бы счесть удовлетворительным. Быть может, гипотеза Шнапстринкена, почти совпадающая с гипотезой Тугодумма, при известных оговорках заслуживает предпочтения. Она

гласит: *«Школько»*— читай —*«горький»*—горячий; *«фремен»*— непр.— вм. *«кремень»;* видимо, идиом. для *«молния»*. Такое происхождение этого названия, по правде говоря, поддерживается также некоторыми следами электрического флюида, еще замечаемыми на острие шпиля ратуши. Однако я не желаю компрометировать себя, высказывая мнения о столь важной теме, и должен отослать интересующегося читателя к труду «Oratiunculae de Rebus Praeter-Veteris» [1] сочинения Блюкенгромма. Также смотри Вандерстервен, «De Derivationibus» [2] (с. 27 — 5010, фолио, готич. изд., красный и черный шрифт, колонтитул и без арабской пагинации), где можно также ознакомиться с заметками на полях Сорундвздора и комментариями Тшафкенхрюккена.

Несмотря на тьму, которой покрыты дата основания Школькофремена и происхождение его названия, не может быть сомнения, как я уже указывал выше, что он всегда выглядел совершенно так же, как и в нашу эпоху. Старейший из жителей не может вспомнить даже малейшего изменения в облике какой-либо его части; да и самое допущение подобной возможности сочли бы оскорбительным. Городок расположен в долине, имеющей форму правильного круга — около четверти мили в окружности,— и со всех сторон его обступают пологие холмы, перейти которые еще никто не отважился. При этом они ссылаются на вполне здравую причину: они не верят, что по ту сторону холмов хоть что-нибудь есть.

По краю долины (совершенно ровной и полностью вымощенной кафелем) расположены, примыкая друг к другу, шестьдесят маленьких домиков. Домики эти, поскольку задом они обращены к холмам, фасадами выходят к центру долины, находящемуся ровно в шестидесяти ярдах от входа в каждый дом. Перед каждым домиком маленький садик, а в нем — круговая дорожка, солнечные часы и двадцать четыре кочана капусты. Все здания так схожи между собой, что никак невозможно отличить одно от другого. Ввиду большой древности архитектура у них довольно странная, но тем не менее она весьма живописна. Выстроены они из огнеупорных кирпичиков — красных, с черными концами, так что стены похожи на большие шахматные доски. Коньки крыш обращены к центру площади; вторые этажи далеко выступают над первыми. Окна узкие и глубокие, с маленькими стеклами и частым переплетом. Крыши покрыты черепицей с высокими гребнями. Деревянные части — темного цвета; и хоть на них много резьбы, но разнообразия в ее рисунке мало, ибо с незапамятных времен резчики Школькофремена умели изображать только два предмета — часы и капустный кочан. Но вырезают они их отлично, и притом с поразительной изобретательностью — везде, где только хватит места для резца.

Жилища так же сходны между собой внутри, как и снару-

---

[1] «Небольшие речи о давнем прошлом» *(лат)*.
[2] «Об образованиях» *(лат)*.

жи, и мебель расставлена по одному плану. Полы покрыты квадратиками кафеля; стулья и столы с тонкими изогнутыми ножками сделаны из дерева, похожего на черное. Полки над каминами высокие и черные, и на них имеются не только изображения часов и кочанов, но и настоящие часы, которые помещаются на самой середине полок; часы необычайно громко тикают; по концам полок, в качестве пристяжных, стоят цветочные горшки; в каждом горшке по капустному кочану. Между горшками и часами стоят толстопузые фарфоровые человечки; в животе у каждого из них большое круглое отверстие, в котором виден часовой циферблат.

Камины большие и глубокие, со стоячками самого фантастического вида. Над вечно горящим огнем — громадный котел, полный кислой капусты и свинины, за которым всегда наблюдает хозяйка дома. Это маленькая толстая старушка, голубоглазая и краснолицая, в огромном, похожем на сахарную голову чепце, украшенном лиловыми и желтыми лентами. На ней оранжевое платье из полушерсти, очень широкое сзади и очень короткое в талии, да и вообще не длинное, ибо доходит только до икр. Икры у нее толстоватые, щиколотки — тоже, но обтягивают их нарядные зеленые чулки. Ее туфли — из розовой кожи, с пышными пучками желтых лент, которым придана форма капустных кочанов. В левой руке у нее тяжелые голландские часы, в правой — половник для помешивания свинины с капустой. Рядом с ней стоит жирная полосатая кошка, к хвосту которой мальчики потехи ради привязали позолоченные игрушечные часы с репетиром.

Сами мальчики — их трое — в саду присматривают за свиньей. Все они ростом в два фута. На них треуголки, доходящие до бедер лиловые жилеты, короткие панталоны из оленьей кожи, красные шерстяные чулки, тяжелые башмаки с большими серебряными пряжками и длинные сюртучки с крупными перламутровыми пуговицами. У каждого в зубах трубка, а в правой руке — маленькие пузатые часы. Затянутся они — и посмотрят на часы, посмотрят — и затянутся. Дородная ленивая свинья то подбирает опавшие капустные листья, то пытается лягнуть позолоченные часы с репетиром, которые мальчишки привязали к ее хвосту, дабы она была такой же красивой, как и кошка.

У самой парадной двери, в обитых кожей креслах с высокой спинкой и такими же изогнутыми ножками, как у столов, сидит сам хозяин дома. Это весьма пухлый старичок с большими круглыми глазами и огромным двойным подбородком. Одет он так же, как и дети,— и я могу об этом более не говорить. Вся разница в том, что трубка у него несколько больше и дым он пускает обильнее. Как и у мальчиков, у него есть часы, но он их носит в кармане. Говоря по правде, ему надо следить кое за чем поважнее часов,— а за чем, я скоро объясню. Он сидит, положив правую ногу на левое колено, облик его строг, и, по крайней мере, один его глаз всегда прикован к некоей примечательной точке в центре долины.

Точка эта находится на башне городской ратуши. Советники ратуши — все очень маленькие, кругленькие, масленые и смышленые человечки с большими, как блюдца, глазами и толстыми, двойными подбородками, а сюртуки у них гораздо длиннее и пряжки на башмаках гораздо больше, нежели у обитателей Школькофремена. За время моего пребывания в городе у них состоялось несколько особых совещаний, и они приняли следующие три важных решения:

«Что изменять добрый старый порядок жизни нехорошо»;

«Что вне Школькофремена нет ничего даже сносного» и

«Что мы будем держаться наших часов и нашей капусты».

Над залом ратуши высится башня, а на башне есть колокольня, на которой находятся и находились с времен незапамятных гордость и диво этого города — главные часы Школькофремена. Это и есть точка, к которой обращены взоры старичков, сидящих в кожаных креслах.

У часов семь циферблатов — по одному на каждую из сторон колокольни,— так что их легко увидеть отовсюду. Циферблаты большие, белые, а стрелки тяжелые, черные. Есть специальный смотритель, единственной обязанностью которого является надзор за часами; но эта обязанность — совершеннейший вид синекуры; ибо со школькофременскими часами никогда еще ничего не случалось. До недавнего времени даже предположение об этом считалось ересью. В самые древние времена, о каких только есть упоминания в архивах, большой колокол регулярно отбивал время. Да, впрочем, и все другие часы в городе тоже. Нигде так не следили за точным временем, как в этом городе. Когда большой колокол находил нужным сказать: «Двенадцать часов!»— все его верные последователи одновременно разверзали глотки и откликались, как само эхо. Короче говоря, добрые бюргеры любили кислую капусту, но своими часами они гордились.

Всех, чья должность является синекурой, в той или иной степени уважают, а так как у школькофременского смотрителя колокольни совершеннейший вид синекуры, то и уважают его больше, нежели кого-нибудь на свете. Он главный городской сановник, и даже свиньи взирают на него снизу вверх с глубоким почтением. Фалды его сюртука гораздо длиннее, трубка, пряжки на башмаках, глаза и живот гораздо больше, нежели у других городских старцев. Что до его подбородка, то он не только двойной, а даже тройной.

Вот я и описал счастливый уголок Школькофремен. Какая жалость, что столь прекрасная картина должна была перемениться на обратную!

Давно уж мудрейшие обитатели его повторяли: «Из-за холмов добра не жди»,— и в этих словах оказалось нечто пророческое. Два дня назад, когда до полудня оставалось пять минут, на вершине холмов с восточной стороны появился предмет весьма необычного вида. Такое происшествие, конечно, привлекло всеобщее внимание, и каждый старичок, сидевший в

кожаных креслах, смятенно устремил один глаз на это явление, не отрывая второго глаза от башенных часов.

Когда до полудня оставалось всего три минуты, любопытный предмет на горизонте оказался миниатюрным молодым человеком чужеземного вида. Он с необычайной быстротой спускался с холмов, так что скоро все могли подробно рассмотреть его. Воистину это был самый жеманный франт из всех, каких когда-либо видели в Школькофремене. Цвет его лица напоминал темный нюхательный табак, у него был длинный крючковатый нос, глаза — как горошины, широкий рот и прекрасные зубы, которыми он, казалось, стремился перед всеми похвастаться, улыбаясь до ушей; бакенбарды и усы скрывали остальную часть его лица. Он был без шляпы, с аккуратными папильотками в волосах. На нем был плотно облегающий фрак (из заднего кармана которого высовывался длиннейший угол белого платка), черные кашемировые панталоны до колен, черные чулки и тупоносые черные лакированные туфли с громадными пучками черных атласных лент вместо бантов. К одному боку он прижимал локтем громадную шляпу, а к другому — скрипку, почти в пять раз больше его самого. В левой руке он держал золотую табакерку, из которой, сбегая с прискоком с холма и выделывая самые фантастические па, в то же время непрерывно брал табак и нюхал его с видом величайшего самодовольства. Вот это, доложу я вам, было зрелище для честных бюргеров Школькофремена!

Проще говоря, у этого малого, несмотря на его ухмылку, лицо было дерзкое и зловещее; и когда он, выделывая курбеты, влетел в городок, странные, словно обрубленные носки его туфель вызвали немалое подозрение; и многие бюргеры, видевшие его в тот день, согласились бы даже пожертвовать малой толикой, лишь бы заглянуть под белый батистовый платок, столь досадно свисавший из кармана его фрака. Но главным образом этот наглого вида франтик возбудил праведное негодование тем, что, откалывая тут фанданго, там джигу, казалось, не имел ни малейшего понятия о необходимости соблюдать в танце правильный счет.

Добрые горожане, впрочем, и глаз-то как следует открыть не успели, когда этот негодяй — до полудня оставалось всего полминуты — очутился в самой их гуще; тут «шассе», там «балансе», а потом, сделав пируэт и па-де-зефир, вспорхнул прямо на башню, где пораженный смотритель сидел и курил, исполненный достоинства и отчаяния. А человечек тут же схватил его за нос и дернул как следует, нахлобучил ему на голову шляпу, закрыв ему глаза и рот, а потом замахнулся большой скрипкой и стал бить его так долго и старательно, что при соприкосновении столь полой скрипки со столь толстым смотрителем можно было подумать, будто целый полк барабанщиков выбивает сатанинскую дробь на башне школькофременской ратуши.

Кто знает, к какому отчаянному возмездию побудило бы жителей это бесчестное нападение, если бы не одно важное

обстоятельство: до полудня оставалось только полсекунды. Колокол должен был вот-вот ударить, а внимательное наблюдение за своими часами было абсолютной и насущной необходимостью. Однако было очевидно, что в тот самый миг пришелец проделывал с часами что-то неподобающее. Но часы забили, и ни у кого не было времени следить за его действиями, ибо всем надо было считать удары колокола.

— Раз!— сказали часы.

— Расс!— отозвался каждый маленький старичок с каждого обитого кожей кресла в Школькофремене. «Расс!»— сказали его часы; «расс!»— сказали часы его супруги, и «расс!»— сказали часы мальчиков и позолоченные часики с репетиром на хвостах у кошки и у свиньи.

— Два!— продолжал большой колокол; и

— Тфа!— повторили все за ним.

— Три! Четыре! Пять! Шесть! Семь! Восемь! Девять! Десять! — сказал колокол.

— Три! Тшетире! Пиать! Шшесть! Зем! Фосем! Тефять! Тесять!— ответили остальные.

— Одиннадцать!— сказал большой.

— Отиннатсать!— подтвердили маленькие.

— Двенадцать!— сказал колокол.

— Тфенатсать!— согласились все, удовлетворенно понизив голос.

— Унд тфенатсать тшасофф и есть!— сказали все старички, поднимая часы.

Но большой колокол еще с ними не покончил.

— Тринадцать!— сказал он.

— Дер Тейфель!— ахнули старички, бледнея, роняя трубки и снимая правые ноги с левых колен.

— Дер Тейфель!— стонали они.— Дряннатсать! Дряннатсать! Майн Готт, сейтшас, сейтшас дряннатсать тшасофф!

К чему пытаться описать последовавшую ужасную сцену? Всем Школькофременом овладело прискорбное смятение.

— Што с моим шифотом!— возопили все мальчики.— Я целый тшас колотаю!

— Што с моей капустой?— визжали все хозяйки.— Она за тшас вся расфарилась!

— Што с моей трупкой?— бранились все старички.— Кром и молния! Она целый тшас, как покасла!— И в гневе они снова набили трубки и, откинувшись на спинки кресел, запыхтели так стремительно и свирепо, что вся долина мгновенно окуталась непроницаемым дымом.

Тем временем все капустные кочаны покраснели, и казалось, сам нечистый вселился во все, имеющее вид часов. Часы, вырезанные на мебели, заплясали, точно бесноватые; часы на каминных полках едва сдерживали ярость и не переставали отбивать тринадцать часов, а маятники так дрыгались и дергались, что страшно было смотреть. Но еще хуже то, что ни кошки, ни свиньи не могли больше мириться с поведением часи-

ков, привязанных к их хвостам, и выражали свое возмущение тем, что метались, царапались, повсюду совали рыла, визжали и верещали, мяукали и хрюкали, кидались людям в лицо и забирались под юбки — словом, устроили самый омерзительный гомон и смятение, какие только может вообразить здравомыслящий человек. А в довершение всех зол негодный маленький шалопай на колокольне, по-видимому, старался вовсю. Время от времени мерзавца можно было увидеть сквозь клубы дыма. Он сидел в башне на упавшем навзничь смотрителе. В зубах злодей держал веревку колокола, которую дергал, мотая головой, и при этом поднимал такой шум, что у меня до сих пор в ушах звенит, как вспомню. На коленях у него лежала скрипка, которую он скреб обеими руками, немилосердно фальшивя, делая вид, бездельник, будто играет «Джуди О'Фланнаган и Пэдди О'Рафферти».

При столь горестном положении вещей я с отвращением покинул этот город и теперь взываю о помощи ко всем любителям точного времени и кислой капусты. Направимся туда в боевом порядке и восстановим в Школькофремене былой уклад жизни, изгнав этого малого с колокольни.

ПАДЕНИЕ ДОМА АШЕРОВ

Son cœur est un luth suspendu;
Sitôt qu'on le touche il résonne [1]

Беранже

ВЕСЬ ЭТОТ НЕСКОНЧАЕМЫЙ ПАСМУРНЫЙ день, в глухой осенней тишине, под низко нависшим хмурым небом, я одиноко ехал верхом по безотрадным, неприветливым местам — и наконец, когда уже смеркалось, передо мною предстал сумрачный дом Ашеров. Едва я его увидел, мною, не знаю почему, овладело нестерпимое уныние. Нестерпимое оттого, что его не смягчала хотя бы малая толика почти приятной поэтической грусти, какую пробуждают в душе даже самые суровые картины природы, все равно скорбной или грозной. Открывшееся мне зрелище — и самый дом, и усадьба, и однообразные окрестности — ничем не радовало глаз: угрюмые стены... безучастно и холодно глядящие окна... кое-где разросшийся камыш... белые мертвые стволы иссохших дерев... от всего этого становилось невыразимо тяжко на душе, чувство это я могу сравнить лишь с тем, что испытывает, очнувшись от своих грез, курильщик опиума,— с горечью возвращения к постылым будням, когда вновь спадает пелена, обнажая неприкрашенное уродство.

Сердце мое наполнил леденящий холод, томила тоска, мысль цепенела, и напрасно воображение пыталось ее подхлестнуть — она бессильна была настроиться на лад более возвышенный. Отчего же это, подумал я, отчего так угнетает меня один вид дома Ашеров? Я не находил разгадки и не мог совладать со смутными, непостижимыми образами, что осаждали меня, пока я смотрел и размышлял. Оставалось как-то успокоиться на мысли, что хотя, безусловно, иные сочетания самых простых предметов имеют над нами особенную власть, однако постичь природу этой власти мы еще не умеем. Возможно, раздумывал я, стоит лишь под иным углом взглянуть на те же черты окружающего ландшафта, на подробности той же картины — и гнетущее впечатление смягчится или даже

---

[1] Сердце его — как лютня,
Чуть тронешь — и отзовется *(фр.)*.

исчезнет совсем; а потому я направил коня к обрывистому берегу черного и мрачного озера, чья недвижная гладь едва поблескивала возле самого дома, и поглядел вниз,— но опрокинутые, отраженные в воде серые камыши, и ужасные остовы деревьев, и холодно, безучастно глядящие окна только заставили меня вновь содрогнуться от чувства еще более тягостного, чем прежде.

А меж тем в этой обители уныния мне предстояло провести несколько недель. Ее владелец, Родерик Ашер, в ранней юности был со мною в дружбе; однако с той поры мы долгие годы не виделись. Но недавно в моей дали я получил от него письмо — письмо бессвязное и настойчивое: он умолял меня приехать. В каждой строчке прорывалась мучительная тревога. Ашер писал о жестоком телесном недуге... о гнетущем душевном расстройстве... о том, как он жаждет повидаться со мной, лучшим и, в сущности, единственным своим другом, в надежде, что мое общество придаст ему бодрости и хоть немного облегчит его страдания. Все это и еще многое другое высказано было с таким неподдельным волнением, так горячо просил он меня приехать, что колебаться я не мог — и принял приглашение, которое, однако же, казалось мне весьма странным.

Хотя мальчиками мы были почти неразлучны, я, по правде сказать, мало знал о моем друге. Он всегда был на редкость сдержан и замкнут. Я знал, впрочем, что род его очень древний и что все Ашеры с незапамятных времен отличались необычайной утонченностью чувств, которая век за веком проявлялась во многих произведениях возвышенного искусства, а в недавнее время нашла выход в добрых делах, в щедрости не напоказ, а также в увлечении музыкой: в этом семействе музыке предавались со страстью, предпочитая не общепризнанные произведения и всем доступные красоты, но сложность и изысканность. Было мне также известно примечательное обстоятельство: как ни стар род Ашеров, древо это ни разу не дало жизнеспособной ветви; иными словами, род продолжался только по прямой линии, и, если не считать пустячных кратковременных отклонений, так было всегда... Быть может, думал я, мысленно сопоставляя облик этого дома со славой, что шла про его обитателей, и размышляя о том, как за века одно могло наложить свой отпечаток на другое,— быть может, оттого, что не было боковых линий и родовое имение всегда передавалось вместе с именем только по прямой, от отца к сыну, прежнее название поместья в конце концов забылось, его сменило новое, странное и двусмысленное. «Дом Ашеров» — так прозвали здешние крестьяне и родовой замок, и его владельцев.

Как я уже сказал, моя ребяческая попытка подбодриться, заглянув в озеро, только усилила первое тягостное впечатление. Несомненно, оттого, что я и сам сознавал, как быстро овладевает мною суеверное предчувствие (почему бы и не назвать его самым точным словом?), оно лишь еще больше крепло во мне. Такова, я давно это знал, двойственная при-

рода всех чувств, чей корень — страх. И, может быть, единственно по этой причине, когда я вновь перевел взгляд с отражения в озере на самый дом, странная мысль пришла мне на ум — странная до смешного, и я лишь затем о ней упоминаю, чтобы показать, сколь сильны и ярки были угнетавшие меня ощущения. Воображение мое до того разыгралось, что я уже всерьез верил, будто самый воздух над этим домом, усадьбой и всей округой какой-то особенный, он не сродни небесам и просторам, но пропитан духом тления, исходящим от полумертвых деревьев, от серых стен и безмолвного озера,— всё окутали тлетворные таинственные испарения, тусклые, медлительные, едва различимые, свинцово-серые.

Стряхнув с себя наваждение — ибо это, конечно же, не могло быть ничем иным,— я стал внимательней всматриваться в подлинный облик дома. Прежде всего поражала невообразимая древность этих стен. За века слиняли и выцвели краски. Снаружи все покрылось лишайником и плесенью, будто клочья паутины свисали с карнизов. Однако нельзя было сказать, что дом совсем пришел в упадок. Каменная кладка нигде не обрушилась; прекрасная соразмерность всех частей здания странно не соответствовала видимой ветхости каждого отдельного камня. Отчего-то мне представилась старинная деревянная утварь, что давно уже прогнила в каком-нибудь забытом подземелье, ибо долгие годы ее не тревожило ни малейшее дуновение извне. Однако, если не считать покрова лишайников и плесени, снаружи вовсе нельзя было заподозрить, будто дом непрочен. Разве только очень пристальный взгляд мог бы различить едва заметную трещину, которая начиналась под самой крышей, зигзагом проходила по фасаду и терялась в хмурых водах озера.

Приметив все это, я подъехал по мощеной дорожке к крыльцу. Слуга принял моего коня, и я вступил под готические своды прихожей. Отсюда неслышно ступающий лакей безмолвно повел меня бесконечными темными и запутанными переходами в «студию» хозяина. Все, что я видел по дороге, еще усилило, не знаю отчего, смутные ощущения, о которых я уже говорил. Резные потолки, темные гобелены по стенам, черный, чуть поблескивающий паркет, причудливые трофеи — оружие и латы, что звоном отзывались моим шагам,— все вокруг было знакомо, нечто подобное с колыбели окружало и меня, и, однако, бог весть почему, за этими простыми, привычными предметами мне мерещилось что-то странное и непривычное. На одной из лестниц нам повстречался домашний врач Ашеров. В выражении его лица, показалось мне, смешались низкое коварство и растерянность. Он испуганно поклонился мне и прошел мимо. Мой провожатый распахнул дверь и ввел меня к своему господину.

Комната была очень высокая и просторная. Узкие стрельчатые окна прорезаны так высоко от черного дубового пола, что до них было не дотянуться. Слабые красноватые отсветы дня проникали сквозь решетчатые витражи, позволяя рассмот-

реть наиболее заметные предметы обстановки, но тщетно глаз силился различить что-либо в дальних углах, разглядеть сводчатый резной потолок. По стенам свисали темные драпировки. Все здесь было старинное — пышное, неудобное и обветшалое. Повсюду во множестве разбросаны были книги и музыкальные инструменты, но и они не могли скрасить мрачную картину. Мне почудилось, что самый воздух здесь полон скорби. Все окутано и проникнуто было холодным, тяжелым и безысходным унынием.

Едва я вошел, Ашер поднялся с кушетки, на которой перед тем лежал, и приветствовал меня так тепло и оживленно, что его сердечность сперва показалась мне преувеличенной — насильственной любезностью *ennuyé*[1] светского человека. Но, взглянув ему в лицо, я тотчас убедился в его совершенной искренности. Мы сели; несколько мгновений он молчал, а я смотрел на него с жалостью и в то же время с ужасом. Нет, никогда еще никто не менялся так страшно за такой недолгий срок, как переменился Родерик Ашер! С трудом я заставил себя поверить, что эта бледная тень и есть былой товарищ моего детства. А ведь черты его всегда были примечательны. Восковая бледность; огромные, ясные, какие-то необыкновенно сияющие глаза; пожалуй, слишком тонкий и очень бледный, но поразительно красивого рисунка рот; изящный нос с еврейской горбинкой, но, что при этом встречается не часто, с широко вырезанными ноздрями; хорошо вылепленный подбородок, однако, не слишком выдавался вперед, свидетельствуя о недостатке решимости; волосы на диво мягкие и тонкие; черты эти дополнял необычайно большой и широкий лоб,— право же, такое лицо нелегко забыть. А теперь все странности этого лица сделались как-то преувеличенно отчетливы, явственней проступило его своеобразное выражение — и уже от одного этого так сильно переменился весь облик, что я едва не усомнился, с тем ли человеком говорю. Больше всего изумили и даже ужаснули меня ставшая поистине мертвенной бледность и теперь уже поистине сверхъестественный блеск глаз. Шелковистые волосы тоже, казалось, слишком отросли и даже не падали вдоль щек, а окружали это лицо паутинно-тонким летучим облаком; и, как я ни старался, мне не удавалось в загадочном выражении этого удивительного лица разглядеть хоть что-то, присущее всем обыкновенным смертным.

В разговоре и движениях старого друга меня сразу поразило что-то сбивчивое, лихорадочное; скоро я понял, что этому виною постоянные слабые и тщетные попытки совладать с привычной внутренней тревогой, с чрезмерным нервическим возбуждением. К чему-то в этом роде я, в сущности, был подготовлен — и не только его письмом: я помнил, как он, бывало, вел себя в детстве, да и самое его телосложение и нрав наводили на те же мысли. Он становился то оживлен, то вдруг мрачен. Внезапно менялся и голос — то дрожащий и неуве-

---

[1] Скучающего, пресыщенного *(фр.)*.

ренный (когда Ашер, казалось, совершенно терял бодрость духа), то твердый и решительный... то речь его становилась властной, внушительной, неторопливой и какой-то нарочитой, то звучала тяжеловесно, размеренно, со своеобразной гортанной певучестью — так говорит в минуты крайнего возбуждения запойный пьяница или неизлечимый курильщик опиума.

Именно так говорил Родерик Ашер о моем приезде, о том, как горячо желал он меня видеть и как надеется, что я принесу ему облегчение. Он принялся многословно разъяснять мне природу своего недуга. Это — проклятие их семьи, сказал он, наследственная болезнь всех Ашеров, он уже отчаялся найти от нее лекарство, и тотчас прибавил, что все это от нервов и, вне всякого сомнения, скоро пройдет. Проявляется эта болезнь во множестве противоестественных ощущений. Он подробно описывал их; иные заинтересовали меня и озадачили, хотя, возможно, тут действовали самые выражения и манера рассказчика. Он очень страдает оттого, что все его чувства мучительно обострены; переносит только совершенно пресную пищу; одеваться может далеко не во всякие ткани; цветы угнетают его своим запахом; даже неяркий свет для него пытка; и лишь немногие звуки — звуки струнных инструментов — не внушают ему отвращения.

Оказалось, его преследует необоримый страх.

— Это злосчастное безумие меня погубит,— говорил он,— неминуемо погубит. Таков, и только таков, будет мой конец. Я боюсь будущего — и не самих событий, которые оно принесет, но их последствий. Я содрогаюсь при одной мысли о том, как любой, даже пустячный случай может сказаться на душе, вечно терзаемой нестерпимым возбуждением. Да, меня страшит вовсе не сама опасность, а то, что она за собою влечет: чувство ужаса. Вот что заранее отнимает у меня силы и достоинство, я знаю — рано или поздно придет час, когда я разом лишусь и рассудка и жизни в схватке с этим мрачным призраком — СТРАХОМ.

Сверх того не сразу, из отрывочных и двусмысленных намеков я узнал еще одну удивительную особенность его душевного состояния. Им владело странное суеверие, связанное с домом, где он жил и откуда уже многие годы не смел отлучиться: ему чудилось, будто в жилище этом гнездится некая сила,— он определял ее в выражениях столь туманных, что бесполезно их здесь повторять, но весь облик родового замка и даже дерево и камень, из которых он построен, за долгие годы обрели таинственную власть над душою хозяина: предметы материальные — серые стены, башни, сумрачное озеро, в которое они гляделись,— в конце концов повлияли на дух всей его жизни.

Ашер признался, однако, хотя и не без колебаний, что в тягостном унынии, терзающем его, повинно еще одно, более естественное и куда более осязаемое обстоятельство — давняя и тяжкая болезнь нежно любимой сестры, единственной спутницы многих лет, последней и единственной родной ему души,

а теперь ее дни, видно, уже сочтены. Когда она покинет этот мир, сказал Родерик с горечью, которой мне никогда не забыть, он — отчаявшийся и хилый — останется последним из древнего рода Ашеров. Пока он говорил, леди Мэдилейн (так звали его сестру) прошла в дальнем конце залы и скрылась, не заметив меня. Я смотрел на нее с несказанным изумлением и даже со страхом, хоть и сам не понимал, откуда эти чувства. В странном оцепенении провожал я ее глазами. Когда за сестрою наконец затворилась дверь, я невольно поспешил обратить вопрошающий взгляд на брата; но он закрыл лицо руками, и я заметил лишь, как меж бескровными, худыми пальцами заструились жаркие слезы.

Недуг леди Мэдилейн давно уже смущал и озадачивал искусных врачей, что пользовали ее. Они не могли определить, отчего больная неизменно ко всему равнодушна, день ото дня тает и в иные минуты все члены ее коченеют и дыхание приостанавливается. До сих пор она упорно противилась болезни и ни за что не хотела вовсе слечь в постель; но в вечер моего приезда (как с невыразимым волнением сообщил мне несколькими часами позже Ашер) она изнемогла под натиском обессиливающего недуга; и когда она на миг явилась мне издали, то было, должно быть, в последний раз: едва ли мне суждено снова ее увидеть — по крайней мере, живою.

В последующие несколько дней ни Ашер, ни я не упоминали даже имени леди Мэдилейн; и все это время я, как мог, старался хоть немного рассеять печаль друга. Мы вместе занимались живописью, читали вслух, или же я как во сне слушал внезапную бурную исповедь его гитары. Близость наша становилась все тесней, все свободнее допускал он меня в сокровенные тайники своей души — и все с большей горечью понимал я, сколь напрасны всякие попытки развеселить это сердце, словно наделенное врожденным даром изливать на окружающий мир, как материальный, так и духовный, поток беспросветной скорби.

Навсегда останутся в моей памяти многие и многие сумрачные часы, что провел я наедине с владельцем дома Ашеров. Однако напрасно было бы пытаться описать подробней занятия и раздумья, в которые я погружался, следуя за ним. Все озарено было потусторонним отблеском какой-то страстной, безудержной отрешенности от всего земного. Всегда будут отдаваться у меня в ушах долгие погребальные песни, что импровизировал Родерик Ашер. Среди многого другого мучительно врезалось мне в память, как странно исказил и подчеркнул он бурный мотив последнего вальса Вебера. Полотна, рожденные изысканной и сумрачной его фантазией, с каждым прикосновением кисти становились все непонятней, от их загадочности меня пробирала дрожь волнения, тем более глубокого, что я и сам не понимал, откуда оно; полотна эти и сейчас живо стоят у меня перед глазами, но напрасно я старался бы хоть в какой-то мере их пересказать — слова здесь бессильны. Приковывала взор и потрясала душу именно совершенная про-

стота, обнаженность замысла. Если удавалось когда-либо человеку выразить красками на холсте чистую идею, человек этот был Родерик Ашер. По крайней мере, во мне при тогдашних обстоятельствах странные отвлеченности, которые ухитрялся мой мрачный друг выразить на своих полотнах, пробуждали безмерный благоговейный ужас — даже слабого подобия его не испытывал я перед бесспорно поразительными, но все же слишком вещественными видениями Фюссли.

Одну из фантасмагорий, созданных кистью Ашера и несколько менее отвлеченных, я попробую хоть как-то описать словами. Небольшое полотно изображало бесконечно длинное подземелье или туннель с низким потолком и гладкими белыми стенами, ровное однообразие которых нигде и ничем не прерывалось. Какими-то намеками художник сумел внушить зрителю, что странный подвал этот лежит очень глубоко под землей. Нигде на всем его протяжении не видно было выхода и не заметно факела или иного светильника; и, однако, все подземелье заливал поток ярких лучей, придавая ему какое-то неожиданное и жуткое великолепие.

Я уже упоминал о той болезненной изощренности слуха, что делала для Родерика Ашера невыносимой всякую музыку, кроме звучания некоторых струнных инструментов. Ему пришлось довольствоваться гитарой с ее своеобразным мягким голосом — быть может, прежде всего это и определило необычайный характер его игры. Но одним этим нельзя объяснить лихорадочную легкость, с какою он импровизировал. И мелодии и слова его буйных фантазий (ибо часто он сопровождал свои музыкальные экспромты стихами) порождала, без сомнения, та напряженная душевная сосредоточенность, что обнаруживала себя, как я уже мельком упоминал, лишь в минуты крайнего возбуждения, до которого он подчас сам себя доводил. Одна его внезапно вылившаяся песнь сразу мне запомнилась. Быть может, слова ее оттого так явственно запечатлелись в моей памяти, что, пока он пел, в их потаенном смысле мне впервые приоткрылось, как ясно понимает Ашер, что высокий трон его разума шаток и непрочен. Песнь его называлась «Обитель привидений», и слова ее, может быть, не в точности, но приблизительно, были такие:

Божьих ангелов обитель,
Цвел в горах зеленый дол,
Где Разум, края повелитель,
Сияющий дворец возвел.

И ничего прекрасней в мире
Крылом своим
Не осенял, плывя в эфире
Над землею, серафим.

Гордо реяло над башней
Желтых флагов полотно.
(Было то не в день вчерашний,
А давным-давно.)

Если ветер, гость крылатый,
Пролетал над валом вдруг,
Сладостные ароматы
Он струил вокруг.

Вечерами видел путник,
Направляя к окнам взоры,
Как под мерный рокот лютни
Мерно кружатся танцоры,
Мимо трона проносясь,
И как порфирородный
На танец смотрит с трона князь
С улыбкой властной и холодной.

А дверь!.. рубины, аметисты
По золоту сплели узор —
И той же россыпью искристой
Хвалебный разливался хор;
И пробегали отголоски
Во все концы долины,
В немолчном славя переплеске
И ум и гений властелина.

Но духи зла, черны как ворон,
Вошли в чертог —
И свержен князь (с тех пор он
Встречать зарю не мог).
А прежнее великолепье
Осталось для страны
Преданием почившей в склепе
Неповторимой старины.

Бывает, странник зрит воочью,
Как зажигается багрянец
В окне — и кто-то пляшет ночью
Чуждый музыке дикий танец,
И рой теней, глумливый рой,
Из тусклой двери рвется — зыбкой,
Призрачною рекой...
И слышен смех — смех без улыбки [1].

Помню, потом мы беседовали об этой балладе, и друг мой высказал мнение, о котором я здесь упоминаю не столько ради его новизны (те же мысли высказывали и другие люди) [2], сколько ради упорства, с каким он это свое мнение отстаивал. В общих чертах оно сводилось к тому, что растения способны чувствовать. Однако безудержная фантазия Родерика Ашера довела эту мысль до крайней дерзости, переходящей подчас все границы разумного. Не нахожу слов, чтобы вполне передать пыл искреннего самозабвения, с каким доказывал он свою правоту. Эта вера его была связана (как я уже ранее намекал) с серым камнем, из которого сложен был дом его предков. Способность чувствовать, казалось ему, по-

[1] Перевод Н. Вольпин.

[2] Уотсон, доктор Персивелл, Спаланцани и в особенности епископ Лэндаф.— См. «Этюды о химии», т. V. *(примеч. автора.)*.

рождается уже самим расположением этих камней, их сочетанием, а также сочетанием мхов и лишайников, которыми они поросли, и обступивших дом полумертвых дерев — и, главное, тем, что все это ничем не потревоженное, так долго оставалось неизменным и повторялось в недвижных водах озера. Да, все это способно чувствовать, в чем можно убедиться воочию, говорил Ашер (при этих словах я даже вздрогнул), своими глазами можно видеть, как медленно, но с несомненностью сгущается над озером и вкруг стен дома своя особенная атмосфера. А следствие этого, прибавил он, некая безмолвная и, однако же, неодолимая и грозная сила, она веками лепит по-своему судьбы всех Ашеров, она и его сделала тем, что он есть,— таким, каким я вижу его теперь. О подобных воззрениях сказать нечего, и я не стану их разъяснять.

Нетрудно догадаться, что наши книги — книги, которыми долгие годы питался ум моего больного друга,— вполне соответствовали его причудливым взглядам. Нас увлекали «Вервер» и «Монастырь» Грессэ, «Бельфегор» Макиавелли, «Рай и ад» Сведенборга, «Подземные странствия Николаса Климма» Хольберга, «Хиромантия» Роберта Флада, труды Жана д'Эндажинэ и Делашамбра, «Путешествие в голубую даль» Тика и «Город солнца» Кампанеллы. Едва ли не любимой книгой был томик in octavo «Директориум Инквизиториум» доминиканца Эймерика Жеронского. Часами в задумчивости сиживал Ашер и над иными страницами Помпония Мелы о древних африканских сатирах и эгипанах. Но больше всего наслаждался он, перечитывая редкостное готическое издание in quarto — требник некоей забытой церкви — Vigiliae Mortuorum Secundum Chorum Ecclesiae Maguntinae [1].

Должно быть, неистовый дух этой книги, описания странных и мрачных обрядов немало повлияли на моего болезненно впечатлительного друга, невольно подумал я, когда однажды вечером он отрывисто сказал мне, что леди Мэдилейн больше нет и что до погребения он намерен две недели хранить ее тело в стенах замка, в одном из подземелий. Однако для этого необычайного поступка был и вполне разумный повод, так что я не осмелился спорить. По словам Родерика, на такое решение натолкнули его особенности недуга, которым страдала сестра, настойчивые и неотвязные расспросы ее докторов, и еще мысль о том, что кладбище рода Ашеров расположено слишком далеко от дома и открыто всем стихиям. Мне вспомнился зловещий вид эскулапа, с которым в день приезда я повстречался на лестнице,— и, признаться, не захотелось противиться тому, что, в конце концов, можно было счесть просто безобидной и естественной предосторожностью.

По просьбе Ашера я помог ему совершить это временное погребение. Тело еще раньше положено было в гроб, и мы вдвоем снесли его вниз. Подвал, где мы его поместили, расположен был глубоко под землею, как раз под той частью дома,

[1] Бдения по усопшим согласно хору магунтинской церкви *(лат.)*.

где находилась моя спальня; он был тесный, сырой, без малейшей отдушины, которая давала бы доступ свету, и так давно не открывался, что наши факелы едва не погасли в затхлом воздухе и мне почти ничего не удалось разглядеть. В давние феодальные времена подвал этот, по-видимому, служил темницей, а в пору более позднюю здесь хранили порох или иные горючие вещества, судя по тому, что часть пола, так же как и длинный коридор, приведший нас сюда, покрывали тщательно пригнанные медные листы. Так же защищена была от огня и массивная железная дверь. Непомерно тяжелая, она повернулась на петлях с громким, пронзительным скрежетом.

В этом ужасном подземелье мы опустили нашу горестную ношу на деревянный помост и, сдвинув еще не закрепленную крышку гроба, посмотрели в лицо покойницы. Впервые мне бросилось в глаза разительное сходство между братом и сестрой; должно быть, угадав мои мысли, Ашер пробормотал несколько слов, из которых я понял, что он и леди Мэдилейн были близнецы и всю жизнь души их оставались удивительно, непостижимо созвучны.

Однако наши взоры лишь ненадолго остановились на лице умершей — мы не могли смотреть на него без трепета. Недуг, сразивший ее в расцвете молодости, оставил (как это всегда бывает при болезнях каталептического характера) подобие слабого румянца на ее щеках и едва заметную улыбку, столь ужасную на мертвых устах. Мы вновь плотно закрыли гроб, привинтили крышку, надежно заперли железную дверь и, обессиленные, поднялись наконец в жилую, а впрочем, почти столь же мрачную часть дома.

Прошло несколько невыразимо скорбных дней, и я уловил в болезненном душевном состоянии друга некие перемены. Все его поведение стало иным. Он забыл или забросил обычные занятия. Торопливыми неверными шагами бесцельно бродил он по дому. Бледность его сделалась, кажется, еще более мертвенной и пугающей, но глаза угасли. В голосе уже не слышались хотя бы изредка звучные, сильные ноты,— теперь в нем постоянно прорывалась дрожь нестерпимого ужаса. Порою мне чудилось даже, что смятенный ум его тяготит какая-то страшная тайна и он мучительно силится собрать все свое мужество и высказать ее. А в другие минуты, видя, как он часами сидит недвижимо и смотрит в пустоту, словно бы напряженно вслушивается в какие-то воображаемые звуки, я поневоле заключал, что все это попросту беспричинные странности самого настоящего безумца. Надо ли удивляться, что его состояние меня ужасало... что оно было заразительно. Я чувствовал, как медленно, но неотвратимо закрадываются и в мою душу его сумасбродные, фантастические и, однако же, неодолимо навязчивые страхи.

С особенной силой и остротой я испытал все это однажды поздно ночью, когда уже лег в постель, на седьмой или восьмой день после того, как мы снесли тело леди Мэдилейн в подземелье. Томительно тянулся час за часом, а сон упорно бе-

3 Заказ 59

жал моей постели. Я пытался здравыми рассуждениями побороть владевшее мною беспокойство. Я уверял себя, что многие, если не все, мои ощущения вызваны на редкость мрачной обстановкой, темными и ветхими драпировками, которые метались по стенам и шуршали о резную кровать под дыханием надвигающейся бури. Но напрасно я старался. Чем дальше, тем сильней била меня необоримая дрожь. И наконец, сердце мое стиснул злой дух необъяснимой тревоги. Огромным усилием я стряхнул его, поднялся на подушках и, всматриваясь в темноту, стал прислушиваться — сам не знаю почему, разве что побуждаемый каким-то внутренним чутьем,— к смутным глухим звукам, что доносились неведомо откуда в те редкие мгновенья, когда утихал вой ветра. Мною овладел как будто беспричинный, но нестерпимый ужас, и, чувствуя, что мне в эту ночь не уснуть, я торопливо оделся, начал быстро шагать из угла в угол и тем отчасти одолел сковавшую меня недостойную слабость.

Так прошел я несколько раз взад и вперед по комнате, и вдруг на лестнице за стеною послышались легкие шаги. Я узнал походку Ашера. И сейчас же он тихонько постучался ко мне и вошел, держа в руке фонарь. По обыкновению, он был бледен, как мертвец, но глаза сверкали каким-то безумным весельем, и во всей его повадке явственно сквозило еле сдерживаемое лихорадочное волнение. Его вид ужаснул меня... но что угодно было лучше, нежели мучительное одиночество, и я даже обрадовался его приходу.

Несколько мгновений он молча осматривался, потом спросил отрывисто:

— А ты не видел? Так ты еще не видел? Ну, подожди! Сейчас увидишь!

С этими словами, заботливо заслонив фонарь, он бросился к одному из окон и распахнул его навстречу буре.

В комнату ворвался яростный порыв ветра и едва не сбил нас с ног. То была бурная, но странно прекрасная ночь, ее суровая и грозная красота ошеломила меня. Должно быть, где-то по соседству рождался и набирал силы ураган, ибо направление ветра то и дело резко менялось; необычайно плотные, тяжелые тучи нависали совсем низко, задевая башни замка, и видно было, что они со страшной быстротой мчатся со всех сторон, сталкиваются — и не уносятся прочь! Повторяю, как ни были они густы и плотны, мы хорошо различали это странное движение, а меж тем не видно было ни луны, ни звезд и ни разу не сверкнула молния. Однако снизу и эти огромные массы взбаламученных водяных паров, и все, что окружало нас на земле, светилось в призрачном сиянии, которое испускала слабая, но явственно различимая дымка, нависшая надо всем и окутавшая замок.

— Не смотри... не годится на это смотреть,— с невольной дрожью сказал я Ашеру, мягко, но настойчиво увлек его прочь от окна и усадил в кресло.— Это поразительное и устрашающее зрелище — довольно обычное явление природы, оно

вызвано электричеством... а может быть, в нем повинны зловредные испарения озера. Давай закроем окно... леденящий ветер для тебя опасен. Вот одна из твоих любимых книг. Я почитаю тебе вслух — и так мы вместе скоротаем эту ужасную ночь.

И я раскрыл старинный роман сэра Ланселота Каннинга «Безумная печаль»; назвав его любимой книгой Ашера, я пошутил, и не слишком удачно; по правде говоря, в этом неуклюжем, тягучем многословии, чуждом истинного вдохновения, мало что могло привлечь возвышенный и поэтический дух Родерика. Но другой книги под рукой не оказалось; и я смутно надеялся (история умственных расстройств дает немало поразительных тому примеров), что именно крайние проявления помешательства, о которых я намеревался читать, помогут успокоить болезненное волнение моего друга. И в самом деле, сколько возможно было судить по острому, напряженному вниманию, с которым он вслушивался — так мне казалось — в каждое слово повествования, я мог себя поздравить с удачной выдумкой.

Я дошел до хорошо известного места, где рассказывается о том, как Этелред, герой романа, после тщетных попыток войти в убежище пустынника с согласия хозяина врывается туда силой. Как все хорошо помнят, описано это в следующих словах:

«И вот Этелред, чью природную доблесть утроило выпитое вино, не стал долее тратить время на препирательства с пустынником, который поистине нрава был упрямого и злобного, но, уже ощущая, как по плечам его хлещет дождь, и опасаясь, что разразится буря, поднял палицу и могучими ударами быстро пробил в дощатой двери отверстие, куда прошла его рука в латной перчатке,— и с такою силой он бил, тянул, рвал и крошил дверь, что треск и грохот ломающихся досок разнесся по всему лесу».

Дочитав эти строки, я вздрогнул и на минуту замер, ибо мне показалось (впрочем, я тотчас решил, что меня просто обманывает разыгравшееся воображение), будто из дальней части дома смутно донеслось до моих ушей нечто очень похожее (хотя, конечно, слабое и приглушенное) на тот самый шум и треск, который столь усердно живописал сэр Ланселот. Несомненно, только это совпадение и задело меня; ведь сам по себе этот звук, смешавшийся с хлопаньем ставен и обычным многоголосым шумом усиливающейся бури, отнюдь не мог меня заинтересовать или встревожить. И я продолжал читать:

«Когда же победоносный Этелред переступил порог, он был изумлен и жестоко разгневан, ибо злобный пустынник не явился его взору; а взамен того пред рыцарем, весь в чешуе предстал огромный и грозный дракон, изрыгающий пламя; чудище сие сторожило золотой дворец, где пол был серебряный, а на стене висел щит из сверкающей меди, на щите же виднелась надпись:

О ты, сюда вступивший, ты победитель будешь,
Дракона поразивший, сей щит себе добудешь.

И Этелред взмахнул палицею и ударил дракона по голове, и дракон пал пред ним, испустив свой зловонный дух вместе с воплем страшным и раздирающим, таким невыносимо пронзительным, что Этелред поневоле зажал уши, ибо никто еще не слыхал звука столь ужасного».

Тут я снова умолк, пораженный сверх всякой меры, и не мудрено: в этот самый миг откуда-то (но я не мог определить, с какой именно стороны) и вправду донесся слабый и, видимо, отдаленный, но душераздирающий, протяжный и весьма странный то ли вопль, то ли скрежет,— именно такой звук, какой представлялся моему воображению, пока я читал в романе про сверхъестественный вопль, вырвавшийся у дракона.

Это — уже второе — поразительное совпадение вызвало в душе моей тысячи противоборствующих чувств, среди которых преобладали изумление и неизъяснимый ужас, но, как ни был я подавлен, у меня достало присутствия духа не возбудить еще сильней болезненную чувствительность Ашера неосторожным замечанием. Я вовсе не был уверен, что и его слух уловил странные звуки; впрочем, несомненно, за последние минуты все поведение моего друга переменилось. Прежде он сидел прямо напротив меня, но постепенно повернул свое кресло так, чтобы оказаться лицом к двери; теперь я видел его только сбоку, но все же заметил, что губы его дрожат, словно что-то беззвучно шепчут. Голова его склонилась на грудь, и, однако, он не спал — в профиль мне виден был широко раскрытый и словно бы остановившийся глаз. Нет, он не спал, об этом говорили и его движения; он слабо, но непрестанно и однообразно покачивался из стороны в сторону. Все это я уловил с одного взгляда и вновь принялся за чтение. Сэр Ланселот продолжает далее так:

«Едва храбрец избегнул ярости грозного чудища, как мысль его обратилась к медному щиту, с коего были теперь сняты чары, и, отбросив с дороги убитого дракона, твердо ступая по серебряным плитам, он приблизился к стене, где сверкал щит; а расколдованный щит, не дожидаясь, пока герой подойдет ближе, сам с грозным, оглушительным звоном пал на серебряный пол к его ногам».

Не успел я произнести последние слова, как откуда-то — будто и вправду на серебряный пол рухнул тяжелый медный щит — вдруг долетел глухой, прерывистый, но совершенно явственный, хоть и смягченный расстоянием, звон металла. Вне себя я вскочил. Ашер же по-прежнему мерно раскачивался в кресле. Я кинулся к нему. Взор его был устремлен в одну точку, черты недвижны, словно высеченные из камня. Но едва я опустил руку ему на плечо, как по всему телу его прошла дрожь, страдальческая улыбка искривила губы; и тут я услы-

шал, что он тихо, торопливо и невнятно что-то бормочет, будто не замечая моего присутствия. Я склонился к нему совсем близко и наконец уловил чудовищный смысл его слов.

— Теперь слышишь?.. Да, слышу, давно уже слышу. Долго... долго... долго.... сколько минут, сколько часов, сколько дней я это слышал... и все же не смел... о я несчастный, я трус и ничтожество!.. я не смел... НЕ СМЕЛ сказать! МЫ ПОХОРОНИЛИ ЕЕ ЗАЖИВО! Разве я не говорил, что чувства мои обострены? Вот теперь я тебе скажу — я слышал, как она впервые еле заметно пошевелилась в гробу. Я услыхал это... много, много дней назад... и все же не смел... НЕ СМЕЛ СКАЗАТЬ! А теперь.... сегодня... ха-ха! Этелред взломал дверь в жилище пустынника, и дракон испустил предсмертный вопль, и со звоном упал щит... скажи лучше, ломались доски ее гроба, и скрежетала на петлях железная дверь ее темницы, и она билась о медные стены подземелья! О, куда мне бежать? Везде она меня настигнет! Ведь она спешит ко мне с укором — зачем я поторопился? Вот ее шаги на лестнице! Вот уже я слышу, как тяжко, страшно стучит ее сердце! Безумец! — Тут он вскочил на ноги и закричал отчаянно, будто сама жизнь покидала его с этим воплем: — БЕЗУМЕЦ! ГОВОРЮ ТЕБЕ, ОНА ЗДЕСЬ, ЗА ДВЕРЬЮ!

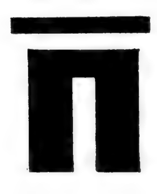
И словно сверхчеловеческая сила, вложенная в эти слова, обладала властью заклинания, огромные старинные двери, на которые указывал Ашер, медленно раскрыли свои тяжелые черные челюсти. Их растворил мощный порыв ветра,— но там, за ними, высокая, окутанная саваном, и вправду стояла леди Мэдилейн. На белом одеянии виднелись пятна крови, на страшно исхудалом теле — следы жестокой борьбы. Минуту, вся дрожа и шатаясь, она стояла на пороге... потом с негромким протяжным стоном покачнулась, пала брату на грудь — и в последних смертных судорогах увлекла за собою на пол и его, уже бездыханного,— жертву всех ужасов, которые он предчувствовал.

Объятый страхом, я кинулся прочь из этой комнаты, из этого дома. Буря еще неистовствовала во всей своей ярости, когда я миновал старую мощеную дорожку. Внезапно путь мой озарился ярчайшей вспышкой света, и я обернулся, не понимая, откуда исходит этот необычайный блеск, ибо позади меня оставался лишь огромный дом, тонувший во тьме. Но то сияла, заходя, багрово-красная полная луна, яркий свет ее лился сквозь трещину, о которой я упоминал раньше, что зигзагом пересекала фасад от самой крыши до основания,— когда я подъезжал сюда впервые, она была едва различима. Теперь, у меня на глазах, трещина эта быстро расширялась... налетел свирепый порыв урагана... и слепящий лик луны полностью явился предо мною... я увидел, как рушатся высокие древние стены, и в голове у меня помутилось... раздался дикий оглушительный грохот, словно рев тысячи водопадов... и глубокие воды зловещего озера у моих ног безмолвно и угрюмо сомкнулись над обломками дома Ашеров.

ВИЛЬЯМ ВИЛЬСОН

Что скажет совесть,
Злой призрак на моем пути?

Чемберлен. Фаронида



ОЗВОЛЬТЕ МНЕ НА СЕЙ РАЗ НАЗВАТЬся Вильямом Вильсоном. Нет нужды пятнать своим настоящим именем чистый лист бумаги, что лежит сейчас передо мною. Имя это внушило людям слишком сильное презрение, ужас, ненависть. Ведь негодующие ветры уже разнесли по всему свету молву о неслыханном моем позоре. О, низкий из низких, всеми отринутый! Разве не потерян ты навек для всего сущего, для земных почестей, и цветов, и благородных стремлений? И разве не скрыты от тебя навек небеса бескрайней непроницаемой и мрачной завесой? Я предпочел бы, если можно, не рассказывать здесь сегодня о своей жизни в последние годы, о невыразимом моем несчастье и неслыханном злодеянии. В эту пору моей жизни, в последние эти годы, я вдруг особенно преуспел в бесчестье, об истоках которого единственно и хотел здесь поведать. Негодяем человек обычно становится постепенно. С меня же вся добродетель спала в один миг, точно плащ. От сравнительно мелких прегрешений я гигантскими шагами перешел к злодействам, достойным Гелиогабала. Какой же случай, какое событие виной этому недоброму превращению? Вооружись терпеньем, читатель, я обо всем расскажу своим чередом.

Приближается смерть, и тень ее, неизменная ее предвестница, уже пала на меня и смягчила мою душу. Переходя в долину теней, я жажду людского сочувствия, чуть было не сказал — жалости. О, если бы мне поверили, что в какой-то мере я был рабом обстоятельств, человеку не подвластных. Пусть бы в подробностях, которые я расскажу, в пустыне заблуждений они увидели крохотный оазис рока. Пусть бы они признали,— не могут они этого не признать,— что хотя соблазны, быть может, существовали и прежде, но никогда еще человека так не искушали, и, конечно, никогда он не падал так низко. И уж не потому ли никогда он так тяжко не страдал? Разве я не жил как в дурном сне? И разве уми-

раю я не жертвой ужаса, жертвой самого непостижимого, самого безумного из всех подлунных видений?

Я принадлежу к роду, который во все времена отличался пылкостью нрава и силой воображения, и уже в раннем детстве доказал, что полностью унаследовал эти черты. С годами они проявлялись все определеннее, внушая, по многим причинам, серьезную тревогу моим друзьям и принося безусловный вред мне самому. Я рос своевольным сумасбродом, рабом самых диких прихотей, игрушкой необузданных страстей. Родители мои, люди недалекие и осаждаемые теми же наследственными недугами, что и я, не способны были пресечь мои дурные наклонности. Немногие робкие и неумелые их попытки окончились совершеннейшей неудачей и, разумеется, полным моим торжеством. С тех пор слово мое стало законом для всех в доме, и в том возрасте, когда ребенка обыкновенно еще водят на помочах, я был всецело предоставлен самому себе и всегда и во всем поступал как мне заблагорассудится.

Самые ранние мои школьные воспоминания связаны с большим, несуразно построенным домом времен королевы Елизаветы в туманном сельском уголке, где росло множество могучих шишковатых деревьев и все дома были очень старые. Почтенное и древнее селение это было местом поистине сказочно мирным и безмятежным. Вот я пишу сейчас о нем и вновь ощущаю свежесть и прохладу его тенистых аллей, вдыхаю аромат цветущего кустарника и вновь трепещу от неизъяснимого восторга, заслышав глухой и низкий звон церковного колокола, что каждый час нежданно и гулко будит тишину и сумрак погруженной в дрему готической резной колокольни.

Я перебираю в памяти мельчайшие подробности школьной жизни, всего, что с ней связано, и воспоминания эти радуют меня, насколько я еще способен радоваться. Погруженному в пучину страдания, страдания, увы, слишком неподдельного, мне простятся поиски утешения, пусть слабого и мимолетного, в случайных беспорядочных подробностях. Подробности эти, хотя и весьма обыденные и даже смешные сами по себе, особенно для меня важны, ибо они связаны с той порою, когда я различил первые неясные предостережения судьбы, что позднее полностью мною завладела, с тем местом, где все это началось. Итак, позвольте мне перейти к воспоминаниям.

Дом, как я уже сказал, был старый и нескладный. Двор — обширный, окруженный со всех сторон высокой и массивной кирпичной оградой, верх которой был утыкан битым стеклом.

Эти, совсем тюремные, стены ограничивали наши владения, мы выходили за них всего трижды в неделю — по субботам после полудня, когда нам разрешали выйти всем вместе в сопровождении двух наставников на недолгую прогулку по соседним полям, и дважды по воскресеньям, когда нас,

так же строем, водили к утренней и вечерней службе в сельскую церковь. Священником в этой церкви был директор нашего пансиона. В каком глубоком изумлении, в каком смущении пребывала моя душа, когда с нашей далекой скамьи на хорах я смотрел, как медленно и величественно он поднимается на церковную кафедру! Неужто этот почтенный проповедник, с лицом столь благолепно милостивым, в облачении столь пышном, столь торжественно ниспадающем до полу,— в парике, напудренном столь тщательно, таком большом и внушительном,— неужто это он, только что сердитый и угрюмый, в обсыпанном нюхательным табаком сюртуке, с линейкой в руках, творил суд и расправу по драконовским законам нашего заведения? О, безмерное противоречие, ужасное в своей непостижимости!

Из угла массивной ограды насупясь глядели еще более массивные ворота. Они были усажены множеством железных болтов и увенчаны острыми железными зубьями. Какой глубокий, благоговейный страх они внушали! Они всегда были на запоре, кроме тех трех наших выходов, о которых уже говорилось, и тогда в каждом скрипе их могучих петель нам чудились всевозможные тайны — мы находили великое множество поводов для сумрачных замечаний и еще более сумрачных раздумий.

Владения наши имели неправильную форму, и там было много уединенных площадок. Три-четыре самые большие предназначались для игр. Они были ровные, посыпаны крупным песком и хорошо утрамбованы. Помню, там не было ни деревьев, ни скамеек, ничего. И располагались они, разумеется, за домом. А перед домом был разбит небольшой цветник, обсаженный вечнозеленым самшитом и другим кустарником, но по этой запретной земле мы проходили только в самых редких случаях — когда впервые приезжали в школу, или навсегда ее покидали, или, быть может, когда за нами заезжали родители или друзья и мы радостно отправлялись под отчий кров на рождество или на летние вакации.

Но дом! какое же это было причудливое старое здание! Мне он казался поистине заколдованным замком! Сколько там было всевозможных запутанных переходов, сколько самых неожиданных уголков и закоулков. Там никогда нельзя было сказать с уверенностью, на каком из двух этажей вы сейчас находитесь. Чтобы попасть из одной комнаты в другую, надо было непременно подняться или спуститься по двум или трем ступенькам. Коридоров там было великое множество, и они так разветвлялись и петляли, что, сколько ни пытались мы представить себе в точности расположение комнат в нашем доме, представление это получалось не отчетливей, чем наше понятие о бесконечности. За те пять лет, что я провел там, я так и не сумел точно определить, в каком именно отдаленном уголке расположен тесный дортуар, отведенный мне и еще восемнадцати или двадцати делившим его со мной ученикам.

Классная комната была самая большая в здании и, как мне тогда казалось, во всем мире. Она была очень длинная, узкая, с гнетуще низким дубовым потолком и стрельчатыми готическими окнами. В дальнем, внушающем страх углу было отгорожено помещение футов в восемь-десять — кабинет нашего директора, преподобного доктора Брэнсби. И в отсутствие хозяина мы куда охотней погибли бы под самыми страшными пытками, чем переступили бы порог этой комнаты, отделенной от нас массивной дверью. Два других угла были тоже отгорожены, и мы взирали на них с куда меньшим почтением, но, однако же, с благоговейным страхом. В одном пребывал наш преподаватель древних языков и литературы, в другом — учитель английского языка и математики. По всей комнате, вдоль и поперек, в беспорядке стояли многочисленные скамейки и парты — черные, ветхие, заваленные грудами захватанных книг и до того изуродованные инициалами, полными именами, нелепыми фигурами и множеством иных проб перочинного ножа, что они вовсе лишились своего первоначального, хоть сколько-нибудь пристойного вида. В одном конце комнаты стояло огромное ведро с водой, в другом — весьма внушительных размеров часы.

В массивных стенах этого почтенного заведения я провел (притом без скуки и отвращения) третье пятилетие своей жизни. Голова ребенка всегда полна; чтобы занять его или развлечь, вовсе не требуются события внешнего мира, и унылое однообразие школьного бытия было насыщено для меня куда более напряженными волнениями, чем те, какие в юности я черпал из роскоши, а в зрелые годы — из преступления. Однако в моем духовном развитии ранней поры было, по-видимому, что-то необычное, что-то ourtė [1]. События самых ранних лет жизни редко оставляют в нашей душе столь заметный след, чтобы он сохранился и в зрелые годы. Они превращаются обычно лишь в серую дымку, в неясное беспорядочное воспоминание — смутное скопище малых радостей и невообразимых страданий. У меня же все по-иному. Должно быть, в детстве мои чувства силою не уступали чувствам взрослого человека, и в памяти моей все события запечатлелись столь же отчетливо, глубоко и прочно, как надписи на карфагенских монетах.

Однако же, с общепринятой точки зрения, как мало во всем этом такого, что стоит помнить! Утреннее пробуждение, ежевечерние призывы ко сну; зубрежка, ответы у доски; праздничные дни; прогулки; площадка для игр — стычки, забавы, обиды и козни; все это, по волшебной и давно уже забытой магии духа, в ту пору порождало множество чувств, богатый событиями мир, вселенную разнообразных переживаний, волнений самых пылких и будоражащих душу. «O le bon temps, due ce siécle de fer!» [2]

---

[1] Преувеличенное *(фр.)*.
[2] О дивная пора — железный этот век! *(фр.)*

И в самом деле, пылкость, восторженность и властность моей натуры вскоре выделили меня среди моих однокашников и неспешно, но с вполне естественной неуклонностью подчинили мне всех, кто был немногим старше меня летами,— всех, за исключением одного. Исключением этим оказался ученик, который, хотя и не состоял со мною в родстве, звался, однако так же, как и я,— обстоятельство само по себе мало примечательное, ибо, хотя я и происхожу из рода знатного, имя и фамилия у меня самые заурядные, каковые — так уж повелось с незапамятных времен — всегда были достоянием простонародья. Оттого в рассказе моем я назвался Вильямом Вильсоном,— вымышленное это имя очень схоже с моим настоящим. Среди тех, кто, выражаясь школьным языком, входил в «нашу компанию», единственно мой тезка позволял себе соперничать со мною в классе, в играх и стычках на площадке, позволял себе сомневаться в моих суждениях и не подчиняться моей воле — иными словами, во всем, в чем только мог, становился помехой моим деспотическим капризам. Если существует на свете крайняя, неограниченная власть,— это власть сильной личности над более податливыми натурами сверстников в годы отрочества.

Бунтарство Вильсона было для меня источником величайших огорчений; в особенности же оттого, что, хотя на людях я взял себе за правило пренебрегать им и его притязаниями, втайне я его страшился, ибо не мог не думать, что легкость, с какою он оказывался со мною вровень, означала истинное его превосходство, ибо первенство давалось мне нелегко. И однако его превосходства или хотя бы равенства не замечал никто, кроме меня; товарищи наши по странной слепоте, казалось, об этом и не подозревали. Соперничество его, противодействие и в особенности дерзкое и упрямое стремление помешать были скрыты от всех глаз и явственны для меня лишь одного. По-видимому, он равно лишен был и честолюбия, которое побуждало меня к действию, и страстного нетерпения ума, которое помогало мне выделиться. Можно было предположить, что соперничество его вызывалось единственно прихотью, желанием перечить мне, поразить меня или уязвить; хотя, случалось, я замечал со смешанным чувством удивления, унижения и досады, что, когда он и прекословил мне, язвил и оскорблял меня, во всем этом сквозила некая совсем уж неуместная и непрошеная нежность. Странность эта проистекала, на мой взгляд, из редкостной самонадеянности, принявшей вид снисходительного покровительства и попечения.

Быть может, именно эта черта в поведении Вильсона вместе с одинаковой фамилией и с простой случайностью, по которой оба мы появились в школе в один и тот же день, навела старший класс нашего заведения на мысль, будто мы братья. Старшие ведь обыкновенно не очень-то вникают в дела младших. Я уже сказал или должен был сказать, что Вильсон не состоял с моим семейством ни в каком родстве, даже самом отдаленном. Но будь мы братья, мы бы, несомненно,

должны были быть близнецами; ибо уже после того, как я покинул заведение мистера Брэнсби, я случайно узнал, что тезка мой родился девятнадцатого января 1813 года,— весьма замечательное совпадение, ибо в этот самый день появился на свет и я.

Может показаться странным, что, хотя соперничество Вильсона и присущий ему несносный дух противоречия постоянно мне досаждали, я не мог заставить себя окончательно его возненавидеть. Почти всякий день меж нами вспыхивали ссоры, и, публично вручая мне пальму первенства, он каким-то образом ухитрялся заставить меня почувствовать, что на самом деле она по праву принадлежит ему; но свойственная мне гордость и присущее ему подлинное чувство собственного достоинства способствовали тому, что мы, так сказать, «не раззнакомились», однако же нравом мы во многом были схожи, и это вызывало во мне чувство, которому, быть может, одно только необычное положение наше мешало обратиться в дружбу. Поистине нелегко определить или хотя бы описать чувства, которые я к нему питал. Они составляли пеструю и разнородную смесь: доля раздражительной враждебности, которая еще не стала ненавистью, доля уважения, бóльшая доля почтения, немало страха и бездна тревожного любопытства. Знаток человеческой души и без дополнительных объяснений поймет, что мы с Вильсоном были поистине неразлучны.

Без сомнения, как раз причудливость наших отношений направляла все мои нападки на него (а было их множество — и открытых и завуалированных) в русло подтрунивания или грубоватых шуток (которые разыгрывались словно бы ради забавы, однако все равно больно ранили) и не давала отношениям этим вылиться в открытую враждебность. Но усилия мои отнюдь не всегда увенчивались успехом, даже если и придумано все было наиостроумнейшим образом, ибо моему тезке присуща была та спокойная, непритязательная сдержанность, у которой не сыщешь ахиллесовой пяты, и поэтому, радуясь остроте своих собственных шуток, он оставлял мои совершенно без внимания. Мне удалось обнаружить у него лишь одно уязвимое место, но то было особое его свойство, вызванное, вероятно, каким-то органическим заболеванием, и воспользоваться этим мог лишь такой зашедший в тупик противник, как я: у соперника моего были, видимо, слабые голосовые связки, и он не мог говорить громко, а только еле слышным шепотом. И уж я не упускал самого ничтожного случая отыграться на его недостатке.

Вильсон находил множество случаев отплатить мне, но один из его остроумных способов досаждал мне всего более. Как ему удалось угадать, что такой пустяк может меня бесить, ума не приложу; но, однажды поняв это, он пользовался всякою возможностью мне досадить. Я всегда питал неприязнь к моей неизысканной фамилии и к чересчур заурядному, если не плебейскому имени. Они были ядом для моего

слуха, и когда в день моего прибытия в пансион там появился второй Вильям Вильсон, я разозлился на него за то, что он носит это имя, и вдвойне вознегодовал на имя за то, что его носит кто-то еще, отчего его станут повторять вдвое чаще, а тот, кому оно принадлежит, постоянно будет у меня перед глазами, и поступки его, неизбежные и привычные в повседневной школьной жизни, из-за отвратительного этого совпадения будут часто путать с моими.

Порожденная таким образом досада еще усиливалась всякий раз, когда случай явственно показывал внутреннее или внешнее сходство меж моим соперником и мною. В ту пору я еще не обнаружил того примечательного обстоятельства, что мы были с ним одних лет; но я видел, что мы одного роста, и замечал также, что мы на редкость схожи телосложением и чертами лица. К тому же я был уязвлен слухом, будто мы с ним в родстве, который распространился среди учеников старших классов. Коротко говоря, ничто не могло сильней меня задеть (хотя я тщательно это скрывал), нежели любое упоминание о сходстве наших душ, наружности или обстоятельств. Но сказать по правде, у меня не было причин думать, что сходство это обсуждали или хотя бы замечали мои товарищи; говорили только о нашем родстве. А вот Вильсон явно замечал это во всех проявлениях, и притом столь же ревниво, как я; к тому же он оказался на редкость изобретателен на колкости и насмешки — это свидетельствовало, как я уже говорил, об его удивительной проницательности.

Его тактика состояла в том, чтобы возможно точнее подражать мне и в речах и в поступках; и здесь он достиг совершенства. Скопировать мое платье ничего не стоило; походку мою и манеру держать себя он усвоил без труда; и, несмотря на присущий ему органический недостаток, ему удавалось подражать даже моему голосу. Громко говорить он, разумеется, не мог, но интонация была та же; и сам его своеобразный шепот стал поистине моим эхом.

Какие же муки причинял мне превосходный этот портрет (ибо по справедливости его никак нельзя было назвать карикатурой), мне даже сейчас не описать. Одно только меня утешало,— что подражание это замечал единственно я сам и терпеть мне приходилось многозначительные и странно язвительные улыбки одного только моего тезки. Удовлетворенный тем, что вызвал в душе моей те самые чувства, какие желал, он, казалось, втайне радовался, что причинил мне боль, и решительно не ждал бурных аплодисментов, какие с легкостью мог принести ему его остроумно достигнутый успех. Но долгие беспокойные месяцы для меня оставалось неразрешимой загадкой, как же случилось, что в пансионе никто не понял его намерений, не оценил действий, а стало быть, не глумился с ним вместе. Возможно, постепенность, с которой он подделывался под меня, мешала остальным заметить, что происходит, или — это более вероятно — своею безопасностью я был обязан искусству подражателя, который полностью

пренебрег чисто внешним сходством (а только его и замечают в портретах люди туповатые), зато, к немалой моей досаде, мастерски воспроизводил дух оригинала, что видно было мне одному.

Я уже не раз упоминал об отвратительном мне покровительственном тоне, который он взял в отношении меня, и о его частом назойливом вмешательстве в мои дела. Вмешательство его нередко выражалось в непрошеных советах; при этом он не советовал прямо и открыто, но говорил намеками, обиняками. Я выслушивал эти советы с отвращением, которое год от году росло. Однако ныне, в столь далекий от той поры день, я хотел бы отдать должное моему сопернику, признать хотя бы, что ни один его совет не мог бы привести меня к тем ошибкам и глупостям, какие столь свойственны людям молодым и, казалось бы, неопытным; что нравственным чутьем, если не талантливостью натуры и жизненной умудренностью, он, во всяком случае, намного меня превосходил и что, если бы не так часто отвергал его советы, сообщаемые тем многозначительным шепотом, который тогда я слишком горячо ненавидел и слишком ожесточенно презирал, я, возможно, был бы сегодня лучше, а значит, и счастливей.

Но при том, как все складывалось, под его постылым надзором я в конце концов дошел до крайней степени раздражения и день ото дня все более открыто возмущался его, как мне казалось, несносной самонадеянностью. Я уже говорил, что в первые годы в школе чувство мое к нему легко могло бы перерасти в дружбу; но в последние школьные месяцы, хотя навязчивость его, без сомнения, несколько уменьшилась, чувство мое почти в той же степени приблизилось к настоящей ненависти. Как-то раз он, мне кажется, это заметил и после того стал избегать меня или делал вид, что избегает.

Если память мне не изменяет, примерно в это же самое время мы однажды крупно поспорили, и в пылу гнева он отбросил привычную осторожность и заговорил и повел себя с несвойственной ему прямотой,— и тут я заметил (а может быть, мне почудилось) в его речи, выражении лица, во всем облике нечто такое, что сперва испугало меня, а потом живо заинтересовало, ибо в памяти моей всплыли картины младенчества — беспорядочно теснящиеся смутные воспоминания той далекой поры, когда сама память еще не родилась. Лучше всего я передам чувство, которое угнетало меня в тот миг, если скажу, что не мог отделаться от ощущения будто с человеком, который стоял сейчас передо мною, я был уже когда-то знаком, давным-давно, во времена бесконечно далекие. Иллюзия эта, однако, тотчас же рассеялась; и упоминаю я о ней единственно для того, чтобы обозначить день, когда я в последний раз беседовал со своим странным тезкой.

В громадном старом доме, с его бесчисленными помещениями, было несколько смежных больших комнат, где спали почти все воспитанники. Было там, однако (это неизбежно в столь

неудобно построенном здании), много каморок, образованных не слишком разумно возведенными стенами и перегородками; изобретательный директор доктор Брэнсби их тоже приспособил под дортуары, хотя первоначально они предназначались под чуланы и каждый мог вместить лишь одного человека. В такой вот спаленке помещался Вильсон.

Однажды ночью, в конце пятого года пребывания в пансионе и сразу после только что описанной ссоры, я дождался, когда все погрузились в сон, встал и с лампой в руке узкими запутанными переходами прокрался из своей спальни в спальню соперника. Я уже давно замышлял сыграть с ним одну из тех злых и грубых шуток, какие до сих пор мне неизменно не удавались. И вот теперь я решил осуществить свой замысел и дать ему почувствовать всю меру переполнявшей меня злобы. Добравшись до его каморки, я оставил прикрытую колпаком лампу за дверью, а сам бесшумно переступил порог. Я шагнул вперед и прислушался к спокойному дыханию моего тезки. Уверившись, что он спит, я возвратился в коридор, взял лампу и с нею вновь приблизился к постели. Она была завешана плотным пологом, который, следуя своему плану, я потихоньку отодвинул,— лицо спящего залил яркий свет, и я впился в него взором. Я взглянул — и вдруг оцепенел, меня обдало холодом. Грудь моя тяжело вздымалась, колени задрожали, меня объял беспричинный и, однако, нестерпимый ужас. Я перевел дух и поднес лампу еще ближе к его лицу. Неужели это... это лицо Вильяма Вильсона? Я, конечно, видел, что это его лицо, и все же не мог этому поверить, и меня била лихорадочная дрожь. Что же в этом лице так меня поразило? Я смотрел, а в голове моей кружился вихрь беспорядочных мыслей. Когда он бодрствовал, в суете дня, он был не такой, как сейчас, нет, конечно, не такой. То же имя! те же черты! тот же день прибытия в пансион! Да еще упорное и бессмысленное подражание моей походке, голосу, моим привычкам и повадкам! Неужели то, что представилось моему взору,— всего лишь следствие привычных упражнений в язвительном подражании? Охваченный ужасом, я с трепетом погасил лампу, бесшумно выскользнул из каморки и в тот же час покинул стены старого пансиона, чтобы уже никогда туда не возвращаться.

После нескольких месяцев, проведенных дома в совершенной праздности, я был определен в Итон. Короткого этого времени оказалось довольно, чтобы память о событиях, происшедших в пансионе доктора Брэнсби, потускнела, по крайней мере, я вспоминал о них с совсем иными чувствами. Все это больше не казалось таким подлинным и таким трагичным. Я уже способен был усомниться в свидетельстве своих чувств, да и вспоминал все это не часто, и всякий раз удивлялся человеческому легковерию, и с улыбкой думал о том, сколь живое воображение я унаследовал от предков. Характер жизни, которую я вел в Итоне, нисколько не способствовал тому, чтобы у меня поубавилось подобного скептицизма. Во-

доворот безрассудств и легкомысленных развлечений, в который я кинулся так сразу очертя голову, мгновенно смыл все, кроме пены последних часов, поглотил все серьезные, устоявшиеся впечатления и оставил в памяти лишь пустые сумасбродства прежнего моего существования.

Я не желаю, однако, описывать шаг за шагом прискорбное распутство, предаваясь которому мы бросали вызов всем законам и ускользали от строгого ока нашего колледжа. Три года безрассудств протекли без пользы, у меня лишь укоренились порочные привычки, да я еще как-то вдруг вырос и стал очень высок ростом; и вот однажды после недели бесшабашного разгула я пригласил к себе на тайную пирушку небольшую компанию самых беспутных своих приятелей. Мы собрались поздним вечером, ибо так уж у нас было заведено, чтобы попойки затягивались до утра. Вино лилось рекой, и в других, быть может более опасных, соблазнах тоже не было недостатка; так что, когда на востоке стал пробиваться хмурый рассвет, сумасбродная наша попойка была еще в самом разгаре. Отчаянно раскрасневшись от карт и вина, я упрямо провозглашал тост, более обыкновенного богохульный, как вдруг внимание мое отвлекла порывисто открывшаяся дверь и встревоженный голос моего слуги. Не входя в комнату, он доложил, что какой-то человек, который очень торопится, желает говорить со мною в прихожей.

Крайне возбужденный выпитым вином, я скорее обрадовался, нежели удивился нежданному гостю. Нетвердыми шагами я тотчас вышел в прихожую. В этом тесном помещении с низким потолком не было лампы; и сейчас сюда не проникал никакой свет, лишь серый свет утра пробивался чрез полукруглое окно. Едва переступив порог, я увидел юношу примерно моего роста, в белом казимировом сюртуке такого же новомодного покроя, что и тот, какой был на мне. Только это я и заметил в полутьме, но лица гостя разглядеть не мог. Когда я вошел, он поспешно шагнул мне навстречу, порывисто и нетерпеливо схватил меня за руку и прошептал мне в самое ухо два слова: «Вильям Вильсон».

Я мигом отрезвел.

В повадке незнакомца, в том, как задрожал у меня перед глазами его поднятый палец, было что-то такое, что безмерно меня удивило, но не это взволновало меня до глубины души. Мрачное предостережение, что таилось в его своеобразном, тихом, шипящем шепоте, а более всего то, как он произнес эти несколько простых и знакомых слогов, его тон, самая интонация, всколыхнувшая в душе моей тысячи бессвязных воспоминаний из давнего прошлого, ударили меня, точно я коснулся гальванической батареи. И еще прежде, чем я пришел в себя, гостя и след простыл.

Хотя случай этот сильно подействовал на мое расстроенное воображение, однако же впечатление от него быстро рассеялось. Правда, первые несколько недель я всерьез наводил справки либо предавался мрачным раздумьям. Я не пытался

утаить от себя, что это все та же личность, которая столь упорно мешалась в мои дела и допекала меня своими вкрадчивыми советами. Но кто такой этот Вильсон? Откуда он взялся? Какую преследовал цель? Ни на один вопрос я ответа не нашел, знал лишь, что в вечер того дня, когда я скрылся из заведения доктора Брэнсби, он тоже оттуда уехал, ибо дома у него случилось какое-то несчастье. А вскорости я совсем перестал о нем думать, ибо мое внимание поглотил предполагаемый отъезд в Оксфорд. Туда я скоро и в самом деле отправился, а нерасчетливое тщеславие моих родителей снабдило меня таким гардеробом и годовым содержанием, что я мог купаться в роскоши, столь уже дорогой моему сердцу,— соперничать в расточительстве с высокомернейшими наследниками самых богатых и знатных семейств Великобритании.

Теперь я мог грешить, не зная удержу, необузданно предаваться пороку, и пылкий нрав мой взыграл с удвоенной силой,— с презреньем отбросив все приличия, я кинулся в омут разгула. Но нелепо было бы рассказывать здесь в подробностях обо всех моих сумасбродствах. Довольно будет сказать, что я всех превзошел в мотовстве и изобрел множество новых безумств, которые составили немалое дополнение к длинному списку пороков, каковыми славились питомцы этого по всей Европе известного своей распущенностью университета.

Вы с трудом поверите, что здесь я пал столь низко, что свел знакомство с профессиональными игроками, перенял у них самые наиподлейшие приемы и, преуспев в этой презренной науке, стал пользоваться ею как источником увеличения и без того огромного моего дохода за счет доверчивых собутыльников. И, однако же, это правда. Преступление мое против всего, что в человеке мужественно и благородно, было слишком чудовищно — и, может быть, лишь поэтому оставалось безнаказанным. Что и говорить, любой, самый распутный мой сотоварищ скорее усомнился бы в явственных свидетельствах своих чувств, нежели заподозрил в подобных действиях веселого, чистосердечного, щедрого Вильяма Вильсона — самого благородного и самого великодушного студента во всем Оксфорде, чьи безрассудства (как выражались мои прихлебатели) были единственно безрассудствами юности и необузданного воображения, чьи ошибки всего лишь неподражаемая прихоть, чьи самые непростимые пороки не более как беспечное и лихое сумасбродство.

Уже два года я успешно следовал этим путем, когда в университете нашем появился молодой выскочка из новой знати, по имени Гленденнинг,— по слухам, богатый, как сам Ирод Аттик, и столь же легко получивший свое богатство. Скоро я понял, что он не блещет умом, и, разумеется, счел его подходящей для меня добычей. Я часто вовлекал его в игру и, подобно всем нечистым на руку игрокам, позволял ему выигрывать изрядные суммы, чтобы тем вернее заманить в мои сети. Основательно обдумав все до мелочей, я решил, что пора наконец привести в исполнение мой замысел, и мы

встретились с ним на квартире нашего общего приятеля-студента (мистера Престона), который, надо признаться, даже и не подозревал о моем намерении. Я хотел придать всему вид самый естественный и потому заранее позаботился, чтобы предложение играть выглядело словно бы случайным и исходило от того самого человека, которого я замыслил обобрать. Не стану распространяться о мерзком этом предмете, скажу только, что в тот вечер не было упущено ни одно из гнусных ухищрений, ставших столь привычными в подобных случаях; право же, непостижимо, как еще находятся простаки, которые становятся их жертвами.

Мы засиделись до глубокой ночи, и мне наконец удалось так все подстроить, что выскочка Гленденнинг оказался единственным моим противником. Притом игра шла моя излюбленная — экарте. Все прочие, заинтересовавшись размахом нашего поединка, побросали карты и столпились вокруг нас. Гленденнинг, который в начале вечера благодаря моим уловкам сильно выпил, теперь тасовал, сдавал и играл в таком неистовом волнении, что это лишь отчасти можно было объяснить воздействием вина. В самом непродолжительном времени он был уже моим должником на круглую сумму, и тут, отпив большой глоток портвейна, он сделал именно то, к чему я хладнокровно вел его весь вечер,— предложил удвоить наши и без того непомерные ставки. С хорошо разыгранной неохотой и только после того, как я дважды отказался и тем заставил его погорячиться, я наконец согласился, всем своим видом давая понять, что лишь уступаю его гневной настойчивости. Жертва моя повела себя в точности, как я предвидел: не прошло и часу, как долг Гленденнинга возрос вчетверо. Еще до того с лица его постепенно сходил румянец, сообщенный вином, но тут он, к моему удивлению, страшно побледнел. Я сказал: к моему удивлению. Ибо заранее с пристрастием расспросил всех, кого удалось, и все уверяли, что он безмерно богат, а проигрыш его, хоть и немалый сам по себе, не мог, на мой взгляд, серьезно его огорчить и уж более — так потрясти. Сперва мне пришло в голову, что всему виною недавно выпитый портвейн. И скорее желая сохранить свое доброе имя, нежели из иных, менее корыстных видов, я уже хотел прекратить игру, как вдруг чьи-то слова за моею спиной и полный отчаяния возглас Гленденнинга дали мне понять, что я совершенно его разорил, да еще при обстоятельствах, которые, сделав его предметом всеобщего сочувствия, защитили бы и от самого отъявленного злодея.

Как мне теперь следовало себя вести, сказать трудно. Жалкое положение моей жертвы привело всех в растерянность и уныние; на время в комнате установилась глубокая тишина, и я чувствовал, как под множеством горящих презрением и упреком взглядов моих менее испорченных товарищей щеки мои запылали. Признаюсь даже, что, когда эта гнетущая тишина была внезапно и странно нарушена, нестерпимая тяжесть на краткий миг упала с моей души. Массивные створ-

чатые двери вдруг распахнулись с такой силой и так быстро, что все свечи в комнате, точно по волшебству, разом погасли. Но еще прежде чем воцарилась тьма, мы успели заметить, что на пороге появился незнакомец примерно моего роста, окутанный плащом. Тьма, однако, стала такая густая, что мы лишь ощущали его присутствие среди нас. Мы еще не успели прийти в себя, ошеломленные грубым вторжением, как вдруг раздался голос незваного гостя.

— Господа,— произнес он глухим, отчетливым и незабываемым шепотом, от которого дрожь пробрала меня до мозга костей,— господа, прошу извинить меня за бесцеремонность, но мною движет долг. Вы, без сомнения, не осведомлены об истинном лице человека, который выиграл нынче вечером в экарте крупную сумму у лорда Гленденнинга. А потому я позволю себе предложить вам скорый и убедительный способ получить эти весьма важные сведения. Благоволите осмотреть подкладку его левой манжеты и те пакетики, которые, надо полагать, вы обнаружите в довольно поместительных карманах его сюртука.

Во время его речи стояла такая тишина, что, упади на пол булавка, и то было бы слышно.

Сказав все это, он тотчас исчез — так же неожиданно, как и появился. Сумею ли я, дано ли мне передать обуявшие меня чувства? Надо ли говорить, что я испытал все муки грешника в аду? Уж конечно, у меня не было времени ни на какие размышления. Множество рук тут же грубо меня схватили, тотчас были зажжены свечи. Начался обыск. В подкладке моего рукава обнаружены были все фигурные карты, необходимые при игре в экарте, а в карманах сюртука несколько колод, точно таких, какие мы употребляли для игры, да только мои были так называемые arrondées: края старших карт были слегка выгнуты. При таком положении простофиля, который, как принято, снимает колоду в длину, неизбежно даст своему противнику старшую карту, тогда как шулер, снимающий колоду в ширину, наверняка не сдаст своей жертве ни одной карты, которая могла бы определить исход игры.

Любой взрыв негодования не так оглушил бы меня, как то молчаливое презрение, то язвительное спокойствие, какое я читал во всех взглядах.

— Мистер Вильсон,— произнес хозяин дома, наклонясь, чтобы поднять с полу роскошный плащ, подбитый редкостным мехом,— мистер Вильсон, вот ваша собственность. (Погода стояла холодная, и, выходя из дому, я накинул поверх сюртука плащ, но здесь, подойдя к карточному столу, сбросил его.) Я полагаю, нам нет надобности искать тут,— он с язвительной улыбкой указал глазами на складки плаща,— дальнейшие доказательства вашей ловкости. Право же, нам довольно и тех, что мы уже видели. Надеюсь, вы поймете, что вам следует покинуть Оксфорд и уж, во всяком случае, немедленно покинуть мой дом.

Униженный, втоптанный в грязь, я, наверно, все-таки не

оставил бы безнаказанными его оскорбительные речи, если бы меня в эту минуту не отвлекло одно ошеломляющее обстоятельство. Плащ, в котором я пришел сюда, был подбит редчайшим мехом; сколь редким и сколь дорогим, я даже не решаюсь сказать. Фасон его к тому же был плодом моей собственной фантазии, ибо в подобных пустяках я, как и положено щеголю, был до смешного привередлив. Поэтому, когда мистер Престон протянул мне плащ, что он поднял с полу у двери, я с удивлением, даже с ужасом, обнаружил, что мой плащ уже перекинут у меня через руку (без сомнения, я, сам того не заметив, схватил его), а тот, который мне протянули, в точности, до последней мельчайшей мелочи его повторяет.

Странный посетитель, который столь гибельно меня разоблачил, был, помнится, закутан в плащ. Из всех собравшихся в тот вечер в плаще пришел только я. Сохраняя по возможности присутствие духа, я взял плащ, протянутый Престоном, незаметно кинул его поверх своего, с видом разгневанным и вызывающим вышел из комнаты, а на другое утро, еще до свету, в муках стыда и страха поспешно отбыл из Оксфорда на континент.

Но бежал я напрасно! Мой злой гений, словно бы упиваясь своим торжеством, последовал за мной и явственно показал, что его таинственная власть надо мною только еще начала себя обнаруживать. Едва я оказался в Париже, как получил новое свидетельство бесившего меня интереса, который питал к моей судьбе этот Вильсон. Пролетели годы, а он все не оставлял меня в покое. Негодяй! В Риме — как не вовремя и притом с какой беззастенчивой наглостью — он встал между мною и моей целью! То же и в Вене... а потом и в Берлине... и в Москве! Найдется ли такое место на земле, где бы у меня не было причин в душе его проклинать? От его загадочного деспотизма я бежал в страхе, как от чумы, но и на край света я бежал напрасно!

Опять и опять в тайниках своей души искал я ответа на вопросы: «Кто он?», «Откуда явился?», «Чего ему надобно?». Но ответа не было. Тогда я с величайшим тщанием проследил все формы, способы и главные особенности его неуместной опеки. Но и тут мне почти не на чем было строить догадки. Можно лишь было сказать, что во всех тех многочисленных случаях, когда он в последнее время становился мне поперек дороги, он делал это, чтобы расстроить те планы и воспрепятствовать тем поступкам, которые, удайся они мне, принесли бы истинное зло. Какое жалкое оправдание для власти, присвоенной столь дерзко! Жалкая плата за столь упрямое, столь оскорбительное посягательство на право человека поступать по собственному усмотрению!

Я вынужден был также заметить, что мучитель мой (по странной прихоти с тщанием и поразительной ловкостью совершенно уподобясь мне в одежде), постоянно разнообразными способами мешая мне действовать по собственной воле,

очень долгое время ухитрялся ни разу не показать мне своего лица. Кем бы ни был Вильсон, уж это, во всяком случае, было с его стороны чистейшим актерством или же просто глупостью. Неужто он хоть на миг предположил, будто в моем советчике в Итоне, в погубителе моей чести в Оксфорде, в том, кто не дал осуществиться моим честолюбивым притязаниям в Риме, моей мести в Париже, моей страстной любви в Неаполе или тому, что он ложно назвал моей алчностью в Египте,— будто в этом моем архивраге и злом гении я мог не узнать Вильяма Вильсона моих школьных дней, моего тезку, однокашника и соперника, ненавистного и внушающего страх соперника из заведения доктора Брэнсби? Не может того быть! Но позвольте мне поспешить к последнему, богатому событиями действию сей драмы.

До сих пор я безвольно покорялся этому властному господству. Благоговейный страх, с каким привык я относиться к этой возвышенной натуре, могучий ум, вездесущность и всесилье Вильсона вместе с вполне понятным ужасом, который внушали мне иные его черты и поступки, до сих пор заставляли меня полагать, будто я беспомощен и слаб, и приводили к тому, что я безоговорочно, хотя и с горькою неохотой, подчинялся его деспотической воле. Но в последние дни я всецело предался вину; оно будоражило мой и без того беспокойный нрав, и я все нетерпеливей стремился вырваться из оков. Я стал роптать... колебаться... противиться. И неужто мне только чудилось, что чем тверже я держался, тем не менее настойчив становился мой мучитель? Как бы там ни было, в груди моей загорелась надежда и вскормила в конце концов непреклонную и отчаянную решимость выйти из порабощения.

В Риме во время карнавала 18... года я поехал на маскарад в палаццо неаполитанского герцога Ди Брольо. Я пил более обыкновенного; в переполненных залах стояла духота, и это безмерно меня раздражало. Притом было нелегко прокладывать себе путь в толпе гостей, и это еще усиливало мою досаду, ибо мне не терпелось отыскать (позволю себе не объяснять, какое недостойное побуждение двигало мною) молодую, веселую красавицу — жену одряхлевшего Ди Брольо. Забыв о скромности, она заранее сказала мне, какой на ней будет костюм, и, наконец заметив ее в толпе, я теперь спешил приблизиться к ней. В этот самый миг я ощутил легкое прикосновение руки к моему плечу и услышал проклятый, незабываемый глухой шепот.

Обезумев от гнева, я стремительно оборотился к тому, кто так некстати меня задержал, и яростно схватил его за воротник.

Наряд его, как я и ожидал, в точности повторял мой: испанский плащ голубого бархата, стянутый у талии алым поясом, сбоку рапира. Лицо совершенно закрывала черная шелковая маска.

— Негодяй!— произнес я хриплым от ярости голосом и от

самого слова этого распалился еще более.— Негодяй! Самозванец! Проклятый злодей! Нет, довольно, ты больше не будешь преследовать меня! Следуй за мной, не то я заколю тебя на месте!— И я кинулся из бальной залы в смежную с ней маленькую прихожую, я увлекал его за собою — и он ничуть не сопротивлялся.

Очутившись в прихожей, я в бешенстве оттолкнул его. Он пошатнулся и прислонился к стене, а я тем временем с проклятиями затворил дверь и приказал ему стать в позицию. Он заколебался было, но чрез мгновенье с легким вздохом молча вытащил рапиру и встал в позицию.

Наш поединок длился недолго. Я был взбешен, разъярен, и рукою моей двигала энергия и сила, которой хватило бы на десятерых. В считанные секунды я прижал его к панели и, когда он таким образом оказался в полной моей власти, с кровожадной свирепостью несколько раз подряд пронзил его грудь рапирой.

В этот миг кто-то дернул дверь, запертую на задвижку. Я поспешил получше ее запереть, чтобы никто не вошел, и тут же вернулся к моему умирающему противнику. Но какими словами передать то изумление, тот ужас, которые объяли меня перед тем, что предстало моему взору? Короткого мгновенья, когда я отвел глаза, оказалось довольно, чтобы в другом конце комнаты все переменилось. Там, где еще минуту назад я не видел ничего, стояло огромное зеркало — так, по крайней мере, мне почудилось в этот первый миг смятения; и когда я в неописуемом ужасе шагнул к нему, навстречу мне нетвердой походкой выступило мое собственное отражение, но с лицом бледным и обрызганным кровью.

Я сказал — мое отражение, но нет. То был мой противник — передо мною в муках погибал Вильсон. Маска его и плащ валялись на полу, куда он их прежде бросил. И ни единой нити в его одежде, ни единой черточки в его приметном и своеобычном лице, которые не были бы в точности такими же, как у меня!

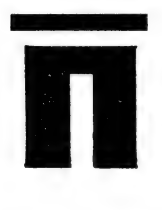
То был Вильсон; но теперь говорил он не шепотом; можно было даже вообразить, будто слова, которые я услышал, произнес я сам:

— Ты победил, и я покоряюсь. Однако отныне ты тоже мертв — ты погиб для мира, для небес, для надежды! Мною ты был жив, а убив меня,— взгляни на тот облик, ведь это ты,— ты бесповоротно погубил самого себя!

ЧЕЛОВЕК ТОЛПЫ

Ce grand malheur de ne pouvoir être seul.

La Bruyère [1]



О ПОВОДУ ОДНОЙ НЕМЕЦКОЙ КНИГИ было хорошо сказано, что она «lassst sich nicht lesen» — не позволяет себя прочесть. Есть секреты, которые не позволяют себя рассказывать. Еженощно люди умирают в своих постелях, цепляясь за руки своих духовников и жалобно заглядывая им в глаза, умирают с отчаянием в сердце и со спазмой в горле — и все из-за потрясающих тайн, которые никоим образом не дают себя раскрыть. Увы — порою совесть человеческая возлагает на себя бремя ужасов столь тяжкое, что сбросить его можно лишь в могилу,— и, таким образом, сущность всякого преступления остается неразгаданной.

Как-то раз, поздним осенним вечером, я сидел у большого окна кофейни Д. в Лондоне. В течение нескольких месяцев я хворал, но теперь поправлялся, и вместе со здоровьем ко мне вернулось то счастливое расположение духа, которое представляет собою полную противоположность ennui [2]— состояние острейшей восприимчивости, когда спадает завеса с умственного взора — ἀχλὺς ἣ πρὶν ἐπῆεν[3] и наэлектризованный интеллект превосходит свои обычные возможности на столько же, на сколько неожиданные, но точные определения Лейбница превосходят причудливую риторику Горгия. Просто дышать — и то казалось наслаждением, и я извлекал удовольствие даже из того, что обыкновенно считается источником страданий. У меня появился спокойный и в то же время пытливый интерес ко всему окружающему. С сигарой во рту и газетой на коленях я большую часть вечера развлекался тем, что просматривал объявления, наблюдал разношерстную публику, собравшуюся в зале, или выглядывал на улицу сквозь закопченные стекла.

---

[1] Ужасное несчастье — не иметь возможности остаться наедине с самим собой. *Лабрюйер (фр.)*.

[2] Тоска, скука *(фр.)*.

[3] Пелена, нависшая прежде *(греч.)*.

Это была одна из главных улиц города, и весь день на ней толпилось множество народу. Однако по мере того, как темнота сгущалась, толпа все увеличивалась, а к тому времени, когда зажгли фонари, мимо входа в кофейню с шумом неслись два густых, бесконечных потока прохожих. В столь поздний вечерний час мне еще ни разу не приходилось занимать подобную позицию, и потому бушующее море людских голов пленяло меня новизною ощущений. В конце концов я перестал обращать внимание на то, что происходило вокруг меня, и всецело погрузился в созерцание улицы.

Вначале наблюдения мои приняли отвлеченный, обобщающий характер. Я рассматривал толпу в целом и думал обо всех прохожих в совокупности. Вскоре, однако, я перешел к отдельным подробностям и с живым интересом принялся изучать бесчисленные разновидности фигур, одежды и манеры держаться, походку и выражение лиц.

У большей части прохожих вид был самодовольный и озабоченный. Казалось, они думали лишь о том, как бы пробраться сквозь толпу. Они шагали, нахмурив брови, и глаза их перебегали с одного предмета на другой. Если кто-нибудь нечаянно их толкал, они не выказывали ни малейшего раздражения и, пригладив одежду, торопливо шли дальше. Другие — таких было тоже немало — отличались беспокойными движениями и ярким румянцем. Энергично жестикулируя, они разговаривали сами с собой, словно чувствовали себя одинокими именно потому, что кругом было столько народу. Встречая помеху на своем пути, люди эти внезапно умолкали, но продолжали с удвоенной энергией жестикулировать и, растерянно улыбаясь, с преувеличенной любезностью кланялись тому, кто им помешал, ожидая, пока он не уйдет с дороги. В остальном эти две большие разновидности прохожих ничем особенным не выделялись. Одеты они были, что называется, прилично. Без сомнения, это были дворяне, коммерсанты, стряпчие, торговцы, биржевые маклеры — эвпатриды и обыватели — люди либо праздные, либо, напротив, деловитые владельцы самостоятельных предприятий. Они меня не очень интересовали.

В племени клерков, которое сразу бросалось в глаза, я различил две характерные категории. Это были прежде всего младшие писаря сомнительных фирм — надменно улыбающиеся молодые люди с обильно напомаженными волосами, в узких сюртуках и начищенной до блеска обуви. Если отбросить некоторую рисовку, которую, за неимением более подходящего слова, можно назвать канцелярским снобизмом, то манеры этих молодчиков казались точной копией того, что считалось хорошим тоном год или полтора назад. Они ходили как бы в обносках с барского плеча, что, по моему мнению, лучше всего характеризует всю их корпорацию.

Старших клерков солидных фирм невозможно было спутать ни с кем. Эти степенные господа красовались в свободных сюртуках, в коричневых или черных панталонах, в белых галстуках и жилетах, в крепких широких башмаках и толстых

гетрах. У каждого намечалась небольшая лысина, а правое ухо, за которое они имели привычку закладывать перо, презабавно оттопыривалось. Я заметил, что они всегда снимали и надевали шляпу обеими руками и носили свои часы на короткой золотой цепочке добротного старинного образца. Они кичились своею респектабельностью,— если вообще можно кичиться чем-либо столь благонамеренным.

Среди прохожих попадалось множество щеголей,— они, я это сразу понял, принадлежали к разряду карманников, которыми кишат все большие города. С пристальным любопытством наблюдая этих индивидуумов, я терялся в догадках, каким образом настоящие джентльмены могут принимать их за себе подобных — ведь чрезмерно пышные манжеты в сочетании с необыкновенно искренним выраженьем на физиономии должны были бы тотчас же их выдать.

Еще легче было распознать игроков, которых я тоже увидел немало. Одежда их отличалась невероятным разнообразием — начиная с костюма шулера, состоящего из бархатного жилета, затейливого шейного платка, позолоченных цепочек и филигранных пуговиц, и кончая подчеркнуто скромным одеянием духовного лица, менее всего могущего дать повод для подозрений. Но у всех были землистые, испитые лица, тусклые глаза и бледные, плотно сжатые губы. Кроме того, они отличались еще двумя признаками: нарочито тихим голосом и более чем удивительной способностью большого пальца отклоняться под прямым углом от остальных. В обществе этих мошенников я часто замечал другую разновидность людей — обладая несколько иными привычками, они тем не менее были птицами того же полета. Их можно назвать джентльменами удачи. Они, так сказать, подстерегают публику, выстроив в боевой порядок оба своих батальона — батальон денди и батальон военных. Отличительными чертами первых следует считать длинные кудри и улыбки, а вторых — мундиры с галунами и насупленные брови.

Спускаясь по ступеням того, что принято называть порядочным обществом, я обнаружил более мрачные и глубокие темы размышления. Здесь были разносчики-евреи со сверкающим ястребиным взором и печатью робкого смирения на лице; дюжие профессиональные попрошайки, бросавшие грозные взгляды на честных бедняков, которых одно лишь отчаяние могло выгнать ночью на улицу просить милостыню; жалкие, ослабевшие калеки, на которых смерть наложила свою беспощадную руку,— неверным шагом пробирались они сквозь толпу, жалобно заглядывая в лицо каждому встречному, словно стараясь найти в нем случайное утешение или утраченную надежду; скромные девушки, возвращавшиеся в свои неуютные жилища после тяжелой и долгой работы,— они скорее со слезами, чем с негодованием, отшатывались от наглецов, дерзких взглядов которых, однако, избежать невозможно; уличные женщины всех сортов и возрастов: стройные красавицы в расцвете женственности, напоминающие статую, описанную Лукианом,— снаружи паросский мрамор, внутри нечистоты; безвозвратно

погибшая отвратительная прокаженная в рубище; морщинистая, размалеванная, увешанная драгоценностями молодящаяся старуха; девочка с еще незрелыми формами, но вследствие продолжительного опыта уже искушенная в гнусном жеманстве своего ремесла и снедаемая жаждой сравняться в пороке со старшими; всевозможные пьяницы — некоторые, в лохмотьях, с мутными, подбитыми глазами, брели пошатываясь и бормотали что-то невнятное, другие — в целой, хотя и грязной, одежде, с толстыми чувственными губами и добродушными красными рожами, шли неуверенной поступью, третьи — в костюмах из дорогой ткани, даже теперь тщательно вычищенных, люди с неестественно твердой и упругой походкой, со страшной бледностью на лице и жутким блеском в воспаленных глазах, пробирались сквозь толпу и дрожащими пальцами цеплялись за все, что попадалось им под руку. Кроме того, в толпе мелькали торговцы пирогами, носильщики, угольщики, трубочисты, шарманщики, дрессировщики обезьян, продавцы и исполнители песенок, оборванные ремесленники и истощенные рабочие всякого рода. Шумное и неумеренное веселье всей этой толпы неприятно резало слух и до боли раздражало взгляд.

С приближением ночи мой интерес к этому зрелищу еще более усилился, стал еще глубже, ибо теперь не только существенно изменился общий облик толпы (более благородные ее элементы постепенно отходили на задний план, по мере того как порядочные люди удалялись, тогда как более грубые начинали выделяться рельефнее — ведь в поздний час все виды порока выползают из своих нор), но и лучи газовых фонарей, вначале с трудом боровшиеся со светом угасающего дня, теперь сделались ярче и озаряли все предметы своим неверным сиянием. Все вокруг было мрачно, но сверкало подобно черному дереву, с которым сравнивают слог Тертуллиана.

Причудливая игра света привлекла мой взор к отдельным лицам, и, несмотря на то что быстрота, с которой этот мир ярких призраков проносился мимо окна, мешала пристально всмотреться в те или иные черты, мне, в моем тогдашнем странном душевном состоянии, казалось, будто даже этот мимолетный взгляд нередко позволяет прочесть историю долгих лет.

Прижавшись лбом к стеклу, я внимательно изучал людской поток, как вдруг мне бросился в глаза дряхлый старик лет шестидесяти пяти или семидесяти. Удивительное выражение его лица сразу же приковало к себе и поглотило все мое внимание. Я никогда еще не видел ничего, что хотя бы отдаленно напоминало это выражение. Хорошо помню: при виде его у меня мелькнула мысль, что Ретц, увидев подобную физиономию, без сомнения, предпочел бы ее собственным рисункам, в которых пытался воплотить образ дьявола. Когда я в тот первый короткий миг попытался подвергнуть анализу его сущность, в мозгу моем возникли смутные и противоречивые мысли о громадной силе ума, об осторожности, скупости, хладнокровии,

о коварстве, кровожадности, торжестве, радости, о невероятном ужасе и бесконечном отчаянии. Меня охватило странное возбуждение, любопытство, страх. «Какая жуткая повесть запечатлелась в этом сердце!»— сказал я себе. Мне захотелось не выпускать этого человека из виду, узнать о нем как можно больше. Торопливо накинув пальто, схватив шляпу и трость, я вышел на улицу и, пробиваясь сквозь толпу, двинулся вслед за стариком, который уже успел скрыться. С некоторым трудом мне наконец удалось догнать его, и, приблизившись к нему, я осторожно, стараясь не привлекать его внимания, пошел за ним по пятам.

Теперь я мог хорошенько изучить его наружность. Он был невысокого роста, очень худой и на вид совсем дряхлый. Одежда на нем была грязная и рваная, однако в те короткие мгновенья, когда на него падал яркий свет фонаря, я успел заметить, что белье у него хоть и грязное, но сшито из дорогой ткани и, если зрение меня не обмануло, сквозь прореху в наглухо застегнутом и, без сомнения, купленном у старьевщика roquelaure [1] сверкнули алмаз и кинжал. Эти наблюдения еще больше усилили мое любопытство, и я решил следовать за незнакомцем всюду, куда бы он ни пошел.

Спустилась ночь; над городом навис влажный густой туман, вскоре сменившийся упорным проливным дождем. Перемена погоды оказала странное действие на толпу — все кругом засуетилось, и над головами вырос лес зонтиков. Давка, толкотня и гул удесятерились. Что до меня — я не обращал особого внимания на дождь, ибо для застарелой лихорадки, гнездившейся в моем организме, сырость была хоть и опасной, но приятною усладой. Завязав рот носовым платком, я продолжал свой путь. С полчаса старик пробирался по главной улице, и я, боясь потерять его из виду, неотступно следовал за ним. Он не оборачивался и поэтому меня не замечал. Через некоторое время он свернул в одну из боковых улиц, где было хотя и полно народу, но все же менее людно, чем на главной улице. Тут поведение старика совершенно изменилось. Он пошел медленнее и как-то неуверенно, словно сам не зная куда. Несколько раз он без всякой видимой причины переходил через дорогу, а толчея все еще была такой сильной, что при каждом повороте я приближался к нему почти вплотную. Пока он брел по этой узкой и длинной улице, прошло около часу, толпа постепенно стала редеть, и наконец народу осталось не больше, чем бывает в полдень на Бродвее возле парка,— настолько велика разница между обитателями Лондона и самого многолюдного американского города. Еще один поворот — и мы вышли на ярко освещенную, полную жизни площадь. Здесь к незнакомцу вернулась его прежняя манера. Опустив подбородок на грудь и нахмурившись, он бросал яростные взгляды на теснивших его со всех сторон прохожих, упорно пробивая себе дорогу в толпе. Я очень удивился, когда, обойдя всю площадь, он повернулся

---

[1] Длинный сюртук, застегивающийся сверху донизу *(фр.)*.

и пошел обратно. Но еще больше удивило меня то, что этот маневр он проделал несколько раз, причем однажды, резко обернувшись, чуть не наткнулся на меня.

Таким образом он провел еще час, к концу которого прохожие уже не мешали нам так, как прежде. Дождь все еще лил, стало холодно, и люди начали расходиться по домам. Старик, раздраженно махнув рукой, свернул в одну из сравнительно пустынных боковых улиц и пробежал примерно четверть мили с проворством, какого невозможно было ожидать от человека, столь обремененного годами. Я с трудом поспевал за ним. Через несколько минут мы вышли к большому многолюдному рынку, расположение которого незнакомец, по-видимому, хорошо знал, и здесь, бесцельно бродя в толпе покупателей и продавцов, он вновь обрел свой прежний облик.

В течение тех полутора часов, что мы провели на этой площади, мне пришлось соблюдать крайнюю осторожность, чтобы, не отставая от незнакомца, в то же время не привлечь его внимания. К счастью, благодаря резиновым калошам я мог двигаться совершенно бесшумно, так что он ни разу меня не заметил. Он заходил во все лавки подряд, ни к чему не приценивался, не произносил ни слова и диким, отсутствующим взором глядел на все окружающее. Теперь недоумение мое достигло чрезвычайной степени, и я твердо решил не выпускать его из виду, пока хоть сколько-нибудь не удовлетворю свое любопытство.

Часы грозно пробили одиннадцать; толпа начала быстро расходиться. Какой-то лавочник, закрывая ставни, толкнул старика, и тут я увидел, как по всему его телу пробежала дрожь. Он торопливо вышел из лавки, беспокойно огляделся и с невероятной быстротой помчался по извилистым пустынным переулкам. Наконец мы снова очутились на той улице, где расположена гостиница Д. и откуда мы начали свой путь. Теперь, однако, улица казалась совершенно иной. Она все еще была ярко освещена газом, но дождь лил немилосердно, и прохожие попадались только изредка. Незнакомец побледнел. С унылым видом прошел он несколько шагов по этой недавно еще столь людной улице, а затем с тяжелым вздохом повернул к реке и окольными путями вышел к театру. Там только что окончилось представление, и публика густой толпой валила из дверей. Я увидел, как старик, задыхаясь, бросился в толпу, но мне показалось, что напряженное страдание, выражавшееся на его лице, несколько смягчилось. Голова его снова упала на грудь, и он опять стал таким же, каким я увидел его в первый раз. Я заметил, что он двинулся в ту же сторону, куда шла большая часть зрителей, но разобраться в его причудливых порывах никак не мог.

По мере того как он шел вперед, толпа редела, и к нему снова вернулись прежнее беспокойство и нерешительность. Некоторое время он следовал по пятам за какой-то компанией, состоявшей из десятка гуляк, но они один за другим разошлись, и наконец в узком темном переулке их осталось только трое. Незнакомец остановился и, казалось, на минуту погрузился в раздумье, потом в крайнем волнении быстро пошел до-

рогой, которая привела нас на окраину города, в кварталы, совершенно непохожие на те, по которым мы до сих пор проходили. Это была самая отвратительная часть Лондона, где все отмечено печатью безысходной нищеты и закоренелой преступности. В тусклом свете редких фонарей перед нами предстали высокие, ветхие, источенные жучком деревянные дома, готовые каждую минуту обрушиться и разбросанные в таком хаотическом беспорядке, что между ними едва виднелись проходы. Под ногами торчали булыжники, вытесненные из мостовой густо разросшимися сорняками. В сточных канавах гнили зловонные нечистоты. Повсюду царили бедность и запустение. Однако постепенно до нас стали доноситься звуки, свидетельствовавшие о присутствии людей, и в конце концов мы увидели толпы самых последних подонков лондонского населения. Старик снова воспрянул духом, подобно лампе, которая ярко вспыхивает перед тем, как окончательно угаснуть, и упругой походкой устремился вперед. Вдруг при повороте нас ослепил яркий свет, и перед нами предстал огромный загородный храм Пьянства — один из дворцов дьявола Джина.

Близился рассвет, но несчастные пропойцы все еще теснились в ярко освещенных дверях. Издав радостный вопль, старик протолкался внутрь и, снова обретя свой прежний вид, принялся метаться среди посетителей. Вскоре, однако, все бросились к выходу: хозяин закрывал свое заведение. На лице непонятного существа, за которым я так упорно следил, изобразилось теперь чувство более сильное, нежели простое отчаяние. Но, ни минуты не медля, он с бешеною энергией снова устремился к самому центру исполина-Лондона. Он бежал долго и быстро, а я в изумлении следовал за ним, решив во что бы то ни стало продолжать свои наблюдения, которые теперь захватили меня всецело. Пока мы шли, поднялось солнце, и когда мы снова добрались до самой людной части этого густонаселенного города — до улицы, где расположена гостиница Д., суета и давка снова были такими же, как накануне вечером. И здесь, в ежеминутно возрастающей толчее, я еще долго следовал за странным незнакомцем. Но он, как и прежде, бесцельно бродил среди толпы, весь день не выходя из самой гущи уличного водоворота. А когда вечерние тени снова стали спускаться на город, я, смертельно усталый, остановился прямо перед скитальцем и пристально посмотрел ему в лицо. Он не заметил меня и продолжал невозмутимо шествовать дальше, я же, прекратив погоню, погрузился в раздумье. «Этот старик, — произнес я наконец,— прообраз и воплощение тягчайших преступлений. Он не может остаться наедине с самим собой. Это человек толпы. Бесполезно следовать за ним, ибо я все равно ничего не узнаю ни о нем, ни о его деяниях. Сердце самого закоренелого злодея в мире — книга более гнусная, нежели «Hortulus Animae...» [1], и, быть может, одно из величайших благодеяний господа состоит в том, что она «не позволяет себя прочесть».

---

[1] «Садик души...» *(лат.)*.

УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ МОРГ

Что за песню пели сирены или каким именем
назывался Ахилл, скрываясь среди женщин,—
уж на что, это кажется, мудреные вопросы, а какая-то
догадка и здесь возможна.

Сэр Томас Браун.
Захоронения в урнах

Так называемые аналитические способности нашего ума сами по себе малодоступны анализу. Мы судим о них только по результатам. Среди прочего нам известно, что для человека, особенно одаренного в этом смысле, дар анализа служит источником живейшего наслаждения. Подобно тому как атлет гордится своей силой и ловкостью и находит удовольствие в упражнениях, заставляющих его мышцы работать, так аналитик радуется любой возможности что-то прояснить или распутать. Всякая, хоть бы и нехитрая задача, высекающая искры из его таланта, ему приятна. Он обожает загадки, ребусы и криптограммы, обнаруживая в их решении проницательность, которая уму заурядному представляется чуть ли не сверхъестественной. Его решения, рожденные существом и душой метода, и в самом деле кажутся чудесами интуиции. Эта способность решения, возможно, выигрывает от занятий математикой, особенно тем высшим ее разделом, который неправомерно и только в силу обратного характера своих действий именуется анализом, так сказать, анализом excellence [1]. Между тем рассчитывать, вычислять — само по себе еще не значит анализировать. Шахматист, например, рассчитывает, но отнюдь не анализирует. А отсюда следует, что представление о шахматах как об игре, исключительно полезной для ума, основано на чистейшем недоразумении. И так как перед вами, читатель, не трактат, а лишь несколько случайных соображений, которые должны послужить предисловием к моему не совсем обычному рассказу, то я пользуюсь случаем заявить, что непритязательная игра в шашки требует куда более высокого умения размышлять и задает уму больше полезных задач, чем мнимая изощренность шахмат. В шахматах, где фигуры неравноценны и где им присвоены самые разнообразные и причудливые ходы, сложность (как это нередко бывает)

---

[1] По преимуществу *(фр.)*.

ошибочно принимается за глубину. Между тем здесь решает внимание. Стоит ему ослабеть, и вы совершаете оплошность, которая приводит к просчету или поражению. А поскольку шахматные ходы не только многообразны, но и многозначны, то шансы на оплошность соответственно растут, и в девяти случаях из десяти выигрывает не более способный, а более сосредоточенный игрок. Другое дело шашки, где допускается один только ход с незначительными вариантами; здесь шансов на недосмотр куда меньше, внимание не играет особой роли и успех зависит главным образом от сметливости. Представим себе для ясности партию в шашки, где остались только четыре дамки и, значит, ни о каком недосмотре не может быть и речи. Очевидно, здесь (при равных силах) победа зависит от удачного хода, от неожиданного и остроумного решения. За отсутствием других возможностей, аналитик старается проникнуть в мысли противника, ставит себя на его место и нередко с одного взгляда замечает ту единственную (и порой до очевидности простую) комбинацию, которая может вовлечь его в просчет или сбить с толку.

Вист давно известен как прекрасная школа для того, что именуется искусством расчета; известно также, что многие выдающиеся умы питали, казалось бы, необъяснимую слабость к висту, пренебрегая шахматами, как пустым занятием. В самом деле, никакая другая игра не требует такой способности к анализу. Лучший в мире шахматист — шахматист, и только, тогда как мастерская игра в вист сопряжена с умением добиваться победы и в тех более важных областях человеческой предприимчивости, в которых ум соревнуется с умом. Говоря «мастерская игра», я имею в виду ту степень совершенства, при которой игрок владеет всеми средствами, приводящими к законной победе. Эти средства не только многочисленны, но и многообразны и часто предполагают такое знание человеческой души, какое недоступно игроку средних способностей. Кто внимательно наблюдает, тот отчетливо и помнит, а следовательно, всякий сосредоточенно играющий шахматист может рассчитывать на успех в висте, поскольку руководство Хойла (основанное на простой механике игры) общепринято и общедоступно. Чтобы хорошо играть в вист, достаточно, по распространенному мнению, соблюдать «правила» и обладать хорошей памятью. Однако искусство аналитика проявляется как раз в том, что правилами игры не предусмотрено. Каких он только не делает про себя выводов и наблюдений! Его партнер, быть может, тоже; но перевес в этой обоюдной разведке зависит не столько от надежности выводов, сколько от качества наблюдения. Важно, конечно, знать, на что обращать внимание. Но наш игрок ничем себя не ограничивает. И хотя прямая его цель — игра, он не пренебрегает и самыми отдаленными указаниями. Он изучает лицо своего партнера и сравнивает его с лицом каждого из противников, подмечает, как они распределяют карты в обеих руках, и нередко угадывает козырь за козырем и онёр за онёром по взглядам, какие они

на них бросают. Следит по ходу игры за мимикой игроков и делает уйму заключений, подмечая все оттенки уверенности, удивления, торжества или досады, сменяющиеся на их физиономиях. Судя по тому, как человек сгреб взятку, он заключает, последует ли за ней другая. По тому, как карта брошена, догадывается, что противник финтит, что ход сделан для отвода глаз. Невзначай или необдуманно оброненное слово; случайно упавшая или открывшаяся карта и как ее прячут — с опаской или спокойно; подсчет взяток и их расположение; растерянность, колебания, нетерпение или боязнь — ничто не ускользает от якобы безразличного взгляда аналитика. С двух-трех ходов ему уже ясно, что́ у кого на руках, и он выбрасывает карту с такой уверенностью, словно все игроки раскрылись.

Способность к анализу не следует смешивать с простой изобретательностью, ибо аналитик всегда изобретателен, тогда как не всякий изобретательный человек способен к анализу. Умение придумывать и комбинировать, в котором обычно проявляется изобретательность и для которого френологи (совершенно напрасно, по-моему) отводят особый орган, считая эту способность первичной, нередко наблюдается даже у тех, чей умственный уровень в остальном граничит к кретинизмом, что не раз отмечалось писателями, живописующими быт и нравы. Между умом изобретательным и аналитическим существует куда большее различие, чем между фантазией и воображением, но это различие того же порядка. В самом деле, нетрудко заметить, что люди изобретательные — большие фантазеры и что человек с подлинно богатым воображением, как правило, склонен к анализу.

Дальнейший рассказ послужит для читателя своего рода иллюстрацией к приведенным соображениям.

Весну и часть лета 18... года я прожил в Париже, где свел знакомство с неким мосье С.-Огюстом Дюпеном. Еще молодой человек, потомок знатного и даже прославленного рода, он испытал превратности судьбы и оказался в обстоятельствах столь плачевных, что утратил всю свою природную энергию; ничего не добивался в жизни и меньше всего помышлял о возвращении прежнего богатства. Любезность кредиторов сохранила Дюпену небольшую часть отцовского наследства, и, живя на ренту и придерживаясь строжайшей экономии, он кое-как сводил концы с концами, равнодушный к приманкам жизни. Единственная роскошь, какую он себе позволял,— книги,— вполне доступна в Париже.

Впервые мы встретились в плохонькой библиотеке на улице Монмартр, и так как оба случайно искали одну и ту же книгу, чрезвычайно редкое и примечательное издание, то, естественно, разговорились. Потом мы не раз встречались. Я заинтересовался семейной историей Дюпена, и он поведал ее мне с обычной чистосердечностью француза, рассказывающего вам о себе. Поразила меня и обширная начитанность Дюпена, а главное — я не мог не восхищаться неудержимым жаром и свежестью его воображения.

Я жил тогда в Париже совершенно особыми интересами и, чувствуя, что общество такого человека неоценимая для меня находка, не замедлил ему в этом признаться. Вскоре у нас возникло решение на время моего пребывания в Париже поселиться вместе; а поскольку обстоятельства мои были чуть получше, чем у Дюпена, то я снял с его согласия и обставил в духе столь милой нам обоим романтической меланхолии сильно пострадавший от времени дом причудливой архитектуры в уединенном уголке Сен-Жерменского предместья; давно покинутый хозяевами из-за каких-то суеверных преданий, в суть которых мы не стали вдаваться, он клонился к упадку.

Если бы наш образ жизни в этой обители стал известен миру, нас сочли бы маньяками, хоть и безобидными маньяками. Наше уединение было полным. Мы никого не хотели видеть. Я скрыл от друзей свой новый адрес, а Дюпен давно порвал с Парижем, да и Париж не вспоминал о нем. Мы жили только в себе и для себя.

Одной из фантастических причуд моего друга — ибо как еще это назвать? — была влюбленность в ночь, в ее особое очарование; и я покорно принял эту bizarrerie[1], как принимал и все другие, самозабвенно отдаваясь прихотям друга. Темноликая богиня то и дело покидала нас, и, чтобы не лишаться ее милостей, мы прибегали к бутафории: при первом проблеске зари захлопывали тяжелые ставни старого дома и зажигали два-три светильника, которые, курясь благовониями, изливали тусклое, призрачное сияние. В их бледном свете мы предавались грезам, читали, писали, беседовали, пока звон часов не возвещал нам приход истинной Тьмы. И тогда мы рука об руку выходили на улицу, продолжая дневной разговор, или бесцельно бродили до поздней ночи, находя в мелькающих огнях и тенях большого города ту неисчерпаемую пищу для умственных восторгов, какую дарит тихое созерцание.

В такие минуты я не мог не восхищаться аналитическим дарованием Дюпена, хотя и понимал, что это лишь неотъемлемое следствие ярко выраженной умозрительности его мышления. Да и Дюпену, видимо, нравилось упражнять эти способности, если не блистать ими, и он, не чинясь, признавался мне, сколько радости это ему доставляет. Не раз хвалился он с довольным смешком, что люди в большинстве для него — открытая книга, и тут же приводил ошеломляющие доказательства того, как ясно он читает в моей душе. В подобных случаях мне чудилась в нем какая-то холодность и отрешенность; пустой, ничего не выражающий взгляд его был устремлен куда-то вдаль, а голос, сочный тенор, срывался на фальцет и звучал бы раздраженно, если бы не четкая дикция и спокойный тон. Наблюдая его в эти минуты, я часто вспоминал старинное учение о двойственности души и забавлялся мыслью о двух Дюпенах: созидающем и расчленяющем.

Из сказанного отнюдь не следует, что разговор здесь пой-

[1] Странность, чудачество *(фр.)*.

дет о неких чудесах; я также не намерен романтизировать своего героя. Описанные черты моего приятеля-француза были только следствием перевозбужденного, а может быть, и больного ума. Но о характере его замечаний вам лучше поведает живой пример.

Как-то вечером гуляли мы по необычайно длинной грязной улице в окрестностях Пале-Рояля. Каждый думал, по-видимому, о своем, и в течение четверти часа никто из нас не проронил ни слова. Как вдруг Дюпен словно невзначай сказал:

— Куда ему, такому заморышу! Лучше б он попытал счастья в театре «Варьете».

— Вот именно,— ответил я машинально.

Я так задумался, что не сразу сообразил, как удачно слова Дюпена совпали с моими мыслями. Но тут же опомнился, и удивлению моему не было границ.

— Дюпен,— сказал я серьезно,— это выше моего понимания. Сказать по чести, я поражен, я просто ушам своим не верю. Как вы догадались, что я думал о...— Тут я остановился, чтобы увериться, точно ли он знает, о ком я думал.

— ...о Шантильи,— закончил он.— Почему же вы запнулись? Вы говорили себе, что при его тщедушном сложении нечего ему было соваться в трагики.

Да, это и составляло предмет моих размышлений. Шантильи, quondam [1] сапожник с улицы Сен-Дени, помешавшийся на театре, недавно дебютировал в роли Ксеркса в одноименной трагедии Кребийона и был за все свои старания жестоко освистан.

— Объясните мне, ради бога, свой метод,— настаивал я,— если он у вас есть и если вы с его помощью так безошибочно прочли мои мысли.— Признаться, я даже старался не показать всей меры своего удивления.

— Не кто иной, как зеленщик,— ответил мой друг,— навел вас на мысль, что сей врачеватель подметок не дорос до Ксеркса et id genus omne [2].

— Зеленщик? Да бог с вами! Я знать не знаю никакого зеленщика!

— Ну, тот увалень, что налетел на вас, когда мы свернули сюда с четверть часа назад.

Тут я вспомнил, что зеленщик с большой корзиной яблок на голове по нечаянности чуть не сбил меня с ног, когда мы из переулка вышли на людную улицу. Но какое отношение имеет к этому Шантильи, я так и не мог понять.

Однако у Дюпена ни на волос не было того, что французы называют charlatanerie [3].

— Извольте, я объясню вам,— вызвался он.— А чтобы вы лучше меня поняли, давайте восстановим весь ход ваших мыс-

---

[1] Некогда *(лат.)*.
[2] И ему подобных *(лат.)*.
[3] Очковтирательство *(фр.)*.

4 Заказ 59

лей с нашего последнего разговора и до встречи с пресловутым зеленщиком. Основные вехи — Шантильи, Орион, доктор Никольс, Эпикур, стереотомия, булыжник и — зеленщик.

Вряд ли найдется человек, которому ни разу не приходило в голову проследить забавы ради шаг за шагом все, что привело его к известному выводу. Это — преувлекательное подчас занятие, и кто впервые к нему обратится, будет поражен, какое неизмеримое на первый взгляд расстояние отделяет исходный пункт от конечного вывода и как мало они друг другу соответствуют. С удивлением выслушал я Дюпена и не мог не признать справедливости его слов.

Мой друг между тем продолжал:

— До того как свернуть, мы, помнится, говорили о лошадях. На этом разговор наш оборвался. Когда же мы вышли сюда, на эту улицу, выскочивший откуда-то зеленщик с большой корзиной яблок на голове пробежал мимо и второпях толкнул вас на груду булыжника, сваленного там, где каменщики чинили мостовую. Вы споткнулись о камень, поскользнулись, слегка растянули связку, рассердились, во всяком случае насупились, пробормотали что-то, еще раз оглянулись на груду булыжника и молча зашагали дальше. Я не то чтобы следил за вами: просто наблюдательность стала за последнее время моей второй натурой.

Вы упорно не поднимали глаз и только косились на выбоины и трещины в панели (из чего я заключил, что вы все еще думаете о булыжнике), пока мы не поравнялись с переулком, который носит имя Ламартина и вымощен на новый лад — плотно пригнанными плитками, уложенными в шахматном порядке. Вы заметно повеселели, и по движению ваших губ я угадал слово «стереотомия» — термин, которым для пущей важности окрестили такое мощение. Я понимал, что слово «стереотомия» должно навести вас на мысль об атомах и, кстати, об учении Эпикура; а поскольку это было темой нашего недавнего разговора — я еще доказывал вам, как разительно смутные догадки благородного грека подтверждаются выводами современной космогонии по части небесных туманностей, в чем никто еще не отдал ему должного,— то я так и ждал, что вы устремите глаза на огромную туманность в созвездии Ориона. И вы действительно посмотрели вверх, чем показали, что я безошибочно иду по вашему следу. Кстати, в злобном выпаде против Шантильи во вчерашней «Musée» некий зоил, весьма недостойно пройдясь насчет того, что сапожник, взобравшийся на котурны, постарался изменить самое имя свое, процитировал строчку латинского автора, к которой мы не раз обращались в наших беседах. Я разумею стих:

Perdidit antiqum litera prima sonum [1].

Я как-то пояснил вам, что здесь разумеется Орион —

[1] Утратила былое звучание первая буква *(лат.)*.

когда-то он писался Урион,— мы с вами еще пошутили на этот счет, так что случай, можно сказать, памятный. Я понимал, что Орион наведет вас на мысль о Шантильи, и улыбка ваша это мне подтвердила. Вы вздохнули о бедной жертве, отданной на заклание. Все время вы шагали сутулясь, а тут выпрямились во весь рост, и я решил, что вы подумали о тщедушном сапожнике. Тогда-то я прервал ваши размышления, заметив, что он в самом деле не вышел ростом, наш Шантильи, и лучше бы ему попытать счастья в театре «Варьете».

Вскоре затем, просматривая вечерний выпуск «Судебной газеты», наткнулись мы на следующую заметку:

«НЕСЛЫХАННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Сегодня, часов около трех утра, мирный сон обитателей квартала Сен-Рок был нарушен душераздирающими криками. Следуя один за другим без перерыва, они доносились, по-видимому, с пятого этажа дома на улице Морг, где, как известно местным обывателям, проживала единственно некая мадам Л'Эспанэ с назамужней дочерью мадемуазель Камиллой Л'Эспанэ. После небольшой заминки у запертых дверей при безуспешной попытке проникнуть в подъезд обычным путем пришлось прибегнуть к лому, и с десяток соседей, в сопровождении двух жандармов, ворвались в здание. Крики уже стихли; но едва лишь кучка смельчаков поднялась по первому маршу, как сверху послышалась перебранка двух, а возможно и трех голосов, звучавших отрывисто и сердито. Покуда добрались до третьего этажа, стихли и эти звуки, и водворилась полная тишина. Люди рассыпались по всему дому, перебегая из одной комнаты в другую. Когда же очередь дошла до большой угловой спальни на пятом этаже (дверь, запертую изнутри, тоже взломали),— толпа отступила перед открывшимся зрелищем, охваченная ужасом и изумлением.

Здесь все было вверх дном, повсюду раскидана поломанная мебель. В комнате стояла одна только кровать, но без постели, подушки и одеяло валялись на полу. На стуле лежала бритва с окровавленным лезвием. Две-три густые пряди длинных седых волос, вырванных, видимо, с корнем и слипшихся от крови, пристали к каминной решетке. На полу, под ногами, найдены четыре наполеондора, одна серьга с топазом, три столовые серебряные и три чайные мельхиоровые ложки и два мешочка с золотыми монетами — общим счетом без малого четыре тысячи франков. Ящики комода в углу были выдвинуты наружу, грабители, очевидно, рылись в них, хотя всего не унесли. Железная укладка обнаружена под постелью (а не под кроватью). Она была открыта, ключ еще торчал в замке, но в ней ничего не осталось, кроме пожелтевших писем и других завалявшихся бумажек.

И никаких следов мадам Л'Эспанэ! Кто-то заметил в камине большую груду золы, стали шарить в дымоходе и — о ужас! — вытащили за голову труп дочери: его вверх ногами, и притом довольно далеко, затолкали в узкую печную трубу. Тело было еще теплым. Кожа, как выяснилось при осмотре, во многих местах содрана — явное следствие усилий, с какими труп заталкивали в дымоход, а потом выволакивали оттуда. Лицо страшно исцарапано, на шее сине-багровые потеки и глубокие следы ногтей, словно человека душили.

После того как сверху донизу обшарили весь дом, не обнаружив ничего нового, все кинулись вниз, на мощеный дворик, и там наткнулись на мертвую старуху — ее так хватили бритвой, что при попытке поднять труп голова отвалилась. И тело и лицо были изуродованы, особенно тело, в нем не сохранилось ничего человеческого.

Таково это поистине ужасное преступление, пока еще окутанное непроницаемой тайной».

Назавтра газета принесла следующие дополнительные сообщения:

«ТРАГЕДИЯ НА УЛИЦЕ МОРГ

Неслыханное по жестокости убийство всколыхнуло весь Париж, допрошен ряд свидетелей, но ничего нового, проясняющего тайну, пока не обнаружено. Ниже приведены вкратце наиболее существенные показания:

Полина Дюбур, прачка, показывает, что знала покойниц последние три года, стирала на них. Старая дама с дочкой, видно, жили дружно, душа в душу. Платили исправно. Насчет их образа жизни и средств ничего сказать не может. Полагает, что мадам Л'Эспанэ была гадалкой, этим и кормились. Поговаривали, что у нее есть деньги. Свидетельница никого не встречала в доме, когда приходила за бельем или приносила его после стирки. Знает наверняка, что служанки они не держали. Насколько ей известно, мебелью был обставлен только пятый этаж.

Пьер Моро, владелец табачной лавки, показывает, что в течение четырех лет отпускал мадам Л'Эспанэ нюхательный и курительный табак небольшими пачками. Он местный уроженец и коренной житель. Покойница с дочерью уже больше шести лет как поселилась в доме, где их нашли убитыми. До этого здесь квартировал ювелир, сдававший верхние комнаты жильцам. Дом принадлежал мадам Л'Эспанэ. Старуха всякое терпение потеряла с квартирантом, который пускал к себе жильцов, и переехала сама на верхний этаж, а от сдачи внаем свободных помещений и вовсе отказалась. Не иначе как впала в детство. За все эти годы свидетель только пять-шесть раз видел дочь. Обе женщины жили уединенно, по слухам, у них имелись деньги. Болтали, будто мадам Л. промышляет

гаданьем, но он этому не верил. Ни разу не видел, чтобы кто-либо входил в дом, кроме самой и дочери да кое-когда привратника, да раз восемь — десять наведывался доктор.

Примерно то же свидетельствовали и другие соседи. Никто не замечал, чтобы к покойницам кто-либо захаживал. Были ли у них где-нибудь друзья или родственники, тоже никому слышать не приходилось. Ставни по фасаду открывались редко, а со двора их и вовсе заколотили, за исключением большой комнаты на пятом этаже. Дом еще не старый, крепкий.

Изидор Мюзе, жандарм, показывает, что за ним пришли около трех утра. Застал у дома толпу, человек в двадцать — тридцать, осаждавшую дверь. Замок взломал он, и не ломом, а штыком. Дверь поддалась легко, она двустворчатая, ни сверху, ни снизу не закреплена. Крики доносились все время, пока не открыли дверь,— и вдруг оборвались. Кричали (не разберешь — один или двое) как будто в смертной тоске, крики были протяжные и громкие, а не отрывистые и хриплые. Наверх свидетель поднимался первым. Взойдя на второй этаж, услышал, как двое сердито и громко переругиваются,— один глухим, а другой вроде как визгливым голосом, и голос какой-то чудной. Отдельные слова первого разобрал. Это был француз. Нет, ни в коем случае не женщина. Он разобрал слова «sacré» и «diable» [1], визгливым голосом говорил иностранец. Не поймешь, мужчина или женщина. Не разобрать, что говорил, а только, скорее всего, язык испанский. Рассказывая, в каком виде нашли комнату и трупы, свидетель не добавил ничего нового к нашему вчерашнему сообщению.

Анри Дюваль, сосед, по профессии серебряник, показывает, что с первой же группой вошел в дом. В целом подтверждает показания Мюзе. Едва проникнув в подъезд, они заперли за собой дверь, чтобы задержать толпу, которая все прибывала, хотя стояла глухая ночь. Визгливый голос, по впечатлению свидетеля, принадлежал итальянцу. Уверен, что не француз. По голосу не сказал бы, что непременно мужчина. Возможно, что женщина. Итальянского не знает, слов не разобрал, но, судя по интонации, полагает, что итальянец. С мадам Л. и дочерью был лично знаком. Не раз беседовал с обеими. Уверен, что ни та, ни другая не говорила визгливым голосом.

Оденгеймер, ресторатор. Свидетель сам вызвался дать показания. По-французски не говорит, допрашивается через переводчика. Уроженец Амстердама. Проходил мимо дома, когда оттуда раздались крики. Кричали долго, несколько минут, пожалуй, что и десять. Крики протяжные, громкие, хватающие за душу, леденящие кровь. Одним из первых вошел в дом. Подтверждает предыдущие показания по всем пунктам, кроме одного: уверен, что визгливый голос принадлежал мужчине, и притом французу. Нет, слов не разобрал, говорили очень громко и часто-часто, будто захлебываясь не то от гнева, не

---

[1] «Проклятие» и «черт» *(фр.)*.

то от страха. Голос резкий — скорее резкий, чем визгливый. Нет, визгливым его не назовешь. Хриплый голос все время повторял «sacré» и «diable», а однажды сказал «mon Dieu!» [1].

Жюль Миньо, банкир, фирма «Миньо и сыновья» на улице Делорен. Он — Миньо-старший. У мадам Л'Эспанэ имелся кое-какой капиталец. Весною такого-то года (восемь лет назад) вдова открыла у них счет. Часто делала новые вклады — небольшими суммами. Чеков не выписывала, но всего за три дня до смерти лично забрала со счета четыре тысячи франков. Деньги были выплачены золотом и доставлены на дом конторщиком банка.

Адольф Лебон, конторщик фирмы «Миньо и сыновья», показывает, что в означенный день, часу в двенадцатом, проводил мадам Л'Эспанэ до самого дома, отнес ей четыре тысячи франков, сложенных в два мешочка. Дверь открыла мадемуазель Л'Эспанэ; она взяла у него один мешочек, а старуха другой. После чего он откланялся и ушел. Никого на улице он в тот раз не видел. Улица тихая, безлюдная.

Уильям Берд, портной, показывает, что вместе с другими вошел в дом. Англичанин. В Париже живет два года. Одним из первых поднялся по лестнице. Слышал, как двое спорили. Хриплый голос принадлежал французу. Отдельные слова можно было разобрать, но всего он не помнит. Ясно слышал «sacré» и «mon Dieu!». Слова сопровождались шумом борьбы, топотом и возней, как будто дрались несколько человек. Пронзительный голос звучал очень громко, куда громче, чем хриплый. Уверен, что не англичанин. Скорее, немец. Может быть, и женщина. Сам он по-немецки не говорит.

Четверо из числа означенных свидетелей на вторичном допросе показали, что дверь спальни, где нашли труп мадемуазель Л., была заперта изнутри. Тишина стояла мертвая, ни стона, ни малейшего шороха. Когда дверь взломали, там уже никого не было. Окна спальни и смежной комнаты, что на улицу, были опущены и наглухо заперты изнутри, дверь между ними притворена, но не заперта. Дверь из передней комнаты в коридор была заперта изнутри. Небольшая комнатка окнами на улицу, в дальнем конце коридора, на том же пятом этаже, была не заперта, дверь приотворена. Здесь были свалены старые кровати, ящики и прочая рухлядь. Вещи вынесли и тщательно осмотрели. Дом обшарили сверху донизу. Дымоходы обследованы трубочистами. В доме пять этажей, не считая чердачных помещений (mansardes). На крышу ведет люк, он забит гвоздями и, видимо, давно бездействует. Время, истекшее между тем, как свидетели услышали перебранку и как взломали входную дверь в спальню, оценивается по-разному: от трех до пяти минут. Взломать ее стоило немалых усилий.

Альфонсо Гарсио, гробовщик, показал, что проживает на улице Морг. Испанец по рождению. Вместе с другими побывал в доме. Наверх не подымался. У него нервы слабые, ему

---

[1] Боже мой! *(фр.)*

нельзя волноваться. Слышал, как двое спорили, хриплый голос — несомненно, француза. О чем спорили, не уловил. Визгливым голосом говорил англичанин. Сам он по-английски не разумеет, судит по интонации.

Альберто Монтани, владелец магазина готового платья, показывает, что одним из первых взбежал наверх. Голоса слышал. Хрипло говорил француз. Кое-что понять можно было. Говоривший в чем-то упрекал другого. Слов второго не разобрал. Второй говорил часто-часто, заплетающимся языком. Похоже, что по-русски. В остальном свидетель подтверждает предыдущие показания. Сам он итальянец. С русскими говорить ему не приходилось.

Кое-кто из свидетелей на вторичном допросе подтвердил, что дымоходы на четвертом этаже слишком узкие и человеку в них не пролезть. Под «трубочистами» они разумели цилиндрической формы щетки, какие употребляют при чистке труб. В доме нет черной лестницы, по которой злодеи могли бы убежать, пока их преследователи поднимались наверх. Труп мадемуазель Л'Эспанэ был так плотно затиснут в дымоход, что только общими усилиями четырех или пяти человек удалось его вытащить.

Поль Дюма, врач, показывает, что утром, чуть рассвело, его позвали освидетельствовать тела убитых женщин. Оба трупа лежали на старом матраце, снятом с кровати в спальне, где найдена мадемуазель Л. Тело дочери все в кровоподтеках и ссадинах. Это вполне объясняется тем, что его заталкивали в тесный дымоход. Особенно пострадала шея. Под самым подбородком несколько глубоких ссадин и сине-багровых потеков — очевидно, отпечатки пальцев. Лицо в страшных синяках, глаза вылезли из орбит. Язык чуть ли не насквозь прокушен. Большой кровоподтек на нижней части живота показывает, что здесь надавливали коленом. По мнению мосье Дюма, мадемуазель Л'Эспанэ задушена,— убийца был, возможно, не один. Тело матери чудовищно изувечено. Все кости правой руки и ноги переломаны и частично раздроблены. Расщеплена левая tibia [1], равно как и ребра с левой стороны. Все тело в синяках и ссадинах. Трудно сказать, чем нанесены повреждения. Увесистая дубинка или железный лом, ножка кресла — да, собственно, любое тяжелое орудие в руках необычайно сильного человека могло это сделать. Женщина была бы не в силах нанести такие увечья. Голова убитой, когда ее увидел врач, была отделена от тела и тоже сильно изуродована. Горло перерезано острым лезвием, возможно бритвой.

Александр Этьенн, хирург, был вместе с мосье Дюма приглашен освидетельствовать трупы. Полностью присоединяется к показаниям и заключению мосье Дюма.

Ничего существенного больше установить не удалось, хотя к дознанию были привлечены и другие лица. В Париже не

[1] Берцовая кость *(лат.)*.

запомнят убийства, совершенного при столь туманных и во всех отношениях загадочных обстоятельствах. Да и убийство ли это? Полиция сбита с толку. Ни малейшей путеводной нити, ни намека на возможную разгадку».

В вечернем выпуске сообщалось, что в квартале Сен-Рок по-прежнему сильнейший переполох, но ни новый обыск в доме, ни повторные допросы свидетелей ни к чему не привели. Дополнительно сообщалось, что арестован и посажен в тюрьму Адольф Лебон, хотя никаких новых отягчающих улик, кроме уже известных фактов, не обнаружено.

Я видел, что Дюпен крайне заинтересован ходом следствия, но от комментариев он воздерживался. И только когда появилось сообщение об аресте Лебона, он пожелал узнать, что я думаю об этом убийстве.

Я мог лишь вместе со всем Парижем объявить его неразрешимой загадкой. Я не видел ни малейшей возможности напасть на след убийцы.

— А вы не судите по этой пародии на следствие,— возразил Дюпен.— Парижская полиция берет только хитростью, ее хваленая догадливость — чистейшая басня. В ее действиях нет системы, если не считать системой обыкновение хвататься за первое, что подскажет минута. Они кричат о своих мероприятиях, но эти мероприятия так часто бьют мимо цели, что невольно вспомнишь Журдена: «pour mieux entendre la musique», он требовал подать себе свой «robe de chambre»[1]. Если они кое-чего и достигают, то исключительно усердием и трудом. Там же, где этих качеств недостаточно, усилия их терпят крах. У Видока, например, была догадка и упорство, при полном неумении систематически мыслить; самая горячность его поисков подводила его, и он часто попадал впросак. Он так близко вглядывался в свой объект, что это искажало перспективу. Пусть он ясно различал то или другое, зато целое от него ускользало. В глубокомыслии легко перемудрить. Истина не всегда обитает на дне колодца. В насущных вопросах она, по-моему, скорее лежит на поверхности. Мы ищем ее на дне ущелий, а она поджидает нас на горных вершинах. Чтобы уразуметь характер подобных ошибок и их причину, обратимся к наблюдению над небесными телами. Бросьте на звезду быстрый взгляд, посмотрите на нее краешком сетчатки (более чувствительным к слабым световым раздражениям, нежели центр), и вы увидите светило со всей ясностью и сможете оценить его блеск, который тускнеет, по мере того как вы поворачиваетесь, чтобы посмотреть на него в упор. В последнем случае на глаз упадет больше лучей, зато в первом восприимчивость куда острее. Чрезмерная глубина лишь путает и затуманивает мысль. Слишком сосредоточенный, настойчивый и упорный взгляд может и Венеру согнать с небес.

---

[1] Чтобы лучше слышать музыку... халат *(фр.)*.

Что касается убийства, то давайте учиним самостоятельный розыск, а потом уже вынесем суждение. Такое расследование нас позабавит (у меня мелькнуло, что «позабавит» — не то слово, но я промолчал), к тому же Лебон когда-то оказал мне услугу, за которую я поныне ему обязан. Пойдемте же поглядим на все своими глазами. Полицейский префект Г.— мой старый знакомый — не откажет нам в разрешении.

Разрешение было получено, и мы не мешкая отправились на улицу Морг. Это одна из тихих, неказистых улочек, соединяющих улицу Ришелье с улицей Сен-Рок. Мы жили на другом конце города и только часам к трем добрались до места. Дом сразу бросился нам в глаза, так как немало зевак все еще бесцельно глазели с противоположного тротуара на закрытые ставни. Это был обычный парижский особняк с подворотней, сбоку прилепилась стеклянная сторожка с подъемным оконцем, так называемая loge de concierge [1]. Не заходя, мы проследовали дальше по улице, свернули в переулок, опять свернули и вышли к задам дома. Дюпен так внимательно оглядывал усадьбу и соседние строения, что я только диву давался, не находя в них ничего достойного внимания.

Вернувшись к входу, мы позвонили. Наши верительные грамоты произвели впечатление, и дежурные полицейские впустили нас. Мы поднялись по лестнице в спальню, где была найдена мадемуазель Л'Эспанэ и где все еще лежали оба трупа. Здесь, как и полагается, все осталось в неприкосновенности и по-прежнему царил хаос. Я видел перед собой картину, описанную в «Судебной газете»,— и ничего больше. Однако Дюпен все подверг самому тщательному осмотру, в том числе и трупы. Мы обошли и остальные комнаты и спустились во двор, все это под бдительным оком сопровождавшего нас полицейского. Осмотр затянулся до вечера; наконец мы попрощались. На обратном пути мой спутник еще наведался в редакцию одной из утренних газет.

Я уже рассказал здесь о многообразных причудах моего друга и о том, как je les ménageais [2],— соответствующее английское выражение не приходит мне в голову. Сейчас он был явно не в настроении обсуждать убийство и заговорил о нем только назавтра, в полдень. Начав без предисловий, он огорошил меня вопросом: не заметил ли я чего-то особенного в этой картине зверской жестокости?

«Особенного» он сказал таким тоном, что я невольно содрогнулся.

— Нет, ничего особенного,— сказал я,— по сравнению с тем, конечно, что мы читали в газете.

— Боюсь, что в газетном отчете отсутствует главное,— возразил Дюпен,— то чувство невыразимого ужаса, которым веет от этого происшествия. Но бог с ним, с этим дурацким

---

[1] Привратницкая *(фр.)*.
[2] Я им потакал *(фр.)*.

листком и его праздными домыслами. Мне думается, загадку объявили неразрешимой как раз на том основании, которое помогает ее решить: я имею в виду то чудовищное, что наблюдается здесь во всем. Полицейских смущает кажущееся отсутствие побудительных мотивов, и не столько самого убийства, сколько его жестокости. К тому же они не могут справиться с таким будто бы непримиримым противоречием: свидетели слышали спорящие голоса, а между тем наверху, кроме убитой мадемуазель Л'Эспанэ, никого не оказалось. Но и бежать убийцы не могли — другого выхода нет, свидетели непременно увидели бы их, поднимаясь по лестнице. Невообразимый хаос в спальне; труп, который кто-то ухитрился затолкать в дымоход, да еще вверх ногами; фантастические истязания старухи — этих обстоятельств вместе с вышеупомянутыми, да и многими другими, которых я не стану здесь перечислять, оказалось достаточно, чтобы выбить у наших властей почву из-под ног, парировать их хваленую догадливость. Они впали в грубую, хоть и весьма распространенную ошибку, смешав необычайное с необъяснимым. А ведь именно отклонение от простого и обычного освещает дорогу разуму в поисках истины. В таком расследовании, как наше с вами, надо спрашивать не «Что случилось?», а «Что случилось такого, чего еще никогда не бывало?». И в самом деле, легкость, с какой я прихожу — пришел, если хотите,— к решению этой загадки, не прямо ли пропорциональна тем трудностям, какие возникают перед полицией?

Я смотрел на Дюпена в немом изумлении.

— Сейчас я жду,— продолжал Дюпен, поглядывая на дверь,— жду человека, который, не будучи прямым виновником этих зверств, должно быть, в какой-то мере способствовал тому, что случилось. В самой страшной части содеянных преступлений он, очевидно, не повинен. Надеюсь, я прав в своем предположении, так как на нем строится мое решение всей задачи в целом. Я жду этого человека сюда, к нам, с минуты на минуту. Разумеется, он может и не прийти, но, по всей вероятности, придет. И тогда необходимо задержать его. Вот пистолеты. Оба мы сумеем, если нужно будет, распорядиться ими.

Я машинально взял пистолеты, почти не сознавая, что делаю, не веря ушам своим, а Дюпен продолжал, словно изливаясь в монологе. Я уже упоминал о присущей ему временами отрешенности. Он адресовался ко мне и, следовательно, говорил негромко, но что-то в его интонации звучало так, точно он обращается к кому-то вдалеке. Пустой, ничего не выражающий взгляд его упирался в стену.

— Показаниями установлено,— продолжал Дюпен,— что спорящие голоса, которые свидетели слышали на лестнице, не принадлежали обеим женщинам. А значит, отпадает версия, будто мадам Л'Эспанэ убила дочь, а потом лишила себя жизни. Я говорю об этом, лишь чтобы показать ход своих рассуждений: у мадам Л'Эспанэ не хватило бы, конечно, сил за-

сунуть труп дочери в дымоход, где он был найден, а истязания, которым подверглась она сама, исключают всякую мысль о самоубийстве. Отсюда следует, что убийство совершено какой-то третьей стороной, и спорящие голоса с полной очевидностью принадлежали этой третьей стороне. А теперь обратимся не ко всей части показаний, касающихся обоих голосов, а только к известной их особенности. Скажите, вас ничто не удивило?

— Все свидетели,— отвечал я,— согласны в том, что хриплый голос принадлежал французу, тогда как насчет визгливого или резкого, как кто-то выразился, мнения разошлись.

— Вы говорите о показаниях вообще,— возразил Дюпен,— а не об их отличительной особенности. Вы не заметили самого характерного. А следовало бы заметить! Свидетели, как вы правильно указали, все одного мнения относительно хриплого голоса; тут полное единодушие. Что же до визгливого голоса, то удивительно не то, что мнения разошлись, а что итальянец, англичанин, испанец, голландец и француз — все характеризуют его как голос иностранца. Никто в интонациях визгливого голоса не признал речи соотечественника. При этом каждый отсылает нас не к нации, язык которой ему знаком, а как раз наоборот. Французу слышится речь испанца: «Не поймешь, что говорил, а только, скорее всего, язык испанский». Для голландца это был француз; впрочем, как записано в протоколе, «свидетель по-французски не говорит, допрашивается через переводчика». Для англичанина это звучит как речь немца; кстати, он «по-немецки не разумеет». Испанец «уверен», что это англичанин, причем сам он «по-английски не знает ни слова» и судит только по интонации,— «английский для него чужой язык». Итальянцу мерещится русская речь — правда, «с русскими говорить ему не приходилось». Мало того, второй француз в отличие от первого «уверен, что говорил итальянец»; не владея этим языком, он, как и испанец, ссылается на «интонацию». Поистине, странно должна была звучать речь, вызвавшая подобные суждения, речь, в звуках которой ни один из представителей пяти крупнейших европейских стран не узнал ничего знакомого, родного! Вы скажете, что то мог быть азиат или африканец. Правда, выходцы из Азии или Африки нечасто встречаются в Париже, но, даже не отрицая такой возможности, я хочу обратить ваше внимание на три обстоятельства. Одному из свидетелей голос неизвестного показался «скорее резким, чем визгливым». Двое других характеризуют его речь, как торопливую и неровную. И никому не удалось разобрать ни одного членораздельного слова или хотя бы отчетливого звука.

— Не знаю,— продолжал Дюпен,— какое на вас впечатление производят мои доводы, но осмелюсь утверждать, что уже из этой части показаний — насчет хриплого и визгливого голоса — вытекают законные выводы и догадки, предопределяющие весь дальнейший ход нашего расследования. Сказав «законные выводы», я не совсем точно выразился. Я хотел сказать,

что это единственно возможные выводы и что они неизбежно ведут к моей догадке как к единственному результату. Что за догадка, я пока умолчу. Прошу лишь запомнить, что для меня она столь убедительна, что придала определенное направление и даже известную цель моим розыскам в старухиной спальне.

Перенесемся мысленно в эту спальню. Чего мы прежде всего станем в ней искать? Конечно, выхода, которым воспользовались убийцы. Мы с вами, естественно, в чудеса не верим. Не злые же духи, в самом деле, расправились с мадам и мадемуазель Л'Эспанэ! Преступники — заведомо существа материального мира, и бежали они согласно его законам. Но как? Тут, к счастью, требуются самые несложные рассуждения, и они должны привести нас к прямому и точному ответу. Рассмотрим же последовательно все наличные выходы. Ясно, что, когда люди поднимались по лестнице, убийцы находились в старухиной спальне либо, в крайнем случае, в смежной комнате,— а значит, и выход нужно искать в этих пределах. Полицейские добросовестно обследовали пол, стены и потолок. Ни одна потайная дверь не укрылась бы от их взгляда. Но, не полагаясь на них, я все проверил. Обе двери из комнат в коридор были надежно заперты изнутри. Обратимся к дымоходам. Хотя в нижней части, футов на восемь — десять от выхода в камин, они обычной ширины, но выше настолько сужаются, что в них не пролезть и упитанной кошке. Итак, эти возможности бегства отпадают. Остаются окна. Окна в комнате на улицу в счет не идут, так как собравшаяся толпа увидела бы беглецов. Следовательно, убийцы должны были скрыться через окна спальни. Придя к такому логическому выводу, мы, как разумные люди, не должны отказываться от него на том основании, что это, мол, явно невозможно. Наоборот, мы постараемся доказать, что «невозможность» здесь не явная, а мнимая.

В спальне два окна. Одно из них ничем не заставлено и видно сверху донизу. Другое снизу закрыто спинкой громоздкой кровати. Первое окно закреплено изнутри. Все усилия поднять его оказались безуспешными. Слева в оконной раме проделано отверстие, и в нем глубоко, чуть ли не по самую шляпку, сидит большой гвоздь. Когда обратились к другому окну, то и там в раме нашли такой же гвоздь. И это окно тоже не поддалось попыткам открыть его. Указанные обстоятельства убедили полицию, что преступники не могли бежать этим путем. А положившись на это, полицейские не сочли нужным вытащить оба гвоздя и открыть окна.

Я не ограничился поверхностным осмотром, я уже объяснил вам почему. Ведь мне надлежало доказать, что «невозможность» здесь не явная, а мнимая.

Я стал рассуждать a posteriori [1]. Убийцы, несомненно, бежали в одно из этих окон. Но тогда они не могли бы снова закрепить раму изнутри, а ведь окна оказались наглухо запер-

[1] В обратном порядке *(лат.)*.

тыми, и это соображение своей очевидностью давило на полицейских и пресекало их поиски в этом направлении. Да, окна были заперты. Значит, они запираются автоматически. Такое решение напрашивалось само собой. Я подошел к свободному окну, с трудом вытащил гвоздь и попробовал поднять раму. Как я и думал, она не поддалась. Тут я понял, что где-то есть потайная пружина. Такая догадка, по крайней мере, оставляла в силе мое исходное положение, как ни загадочно обстояло дело с гвоздями. При внимательном осмотре я действительно обнаружил скрытую пружину. Я нажал на нее и, удовлетворясь этой находкой, не стал поднимать раму.

Я снова вставил гвоздь в отверстие и стал внимательно его разглядывать. Человек, вылезший в окно, может снаружи опустить раму, и затвор сам собой защелкнется,— но ведь гвоздь сам по себе на место не станет. Отсюда напрашивался вывод, еще более ограничивший поле моих изысканий. Убийцы должны были бежать через другое окно. Но если, как и следовало ожидать, затвор в обоих окнах одинаковый, то разница должна быть в гвозде или, по крайней мере, в том, как он вставляется на место. Забравшись на матрац и перегнувшись через спинку кровати, я тщательно осмотрел раму второго окна; потом, просунув руку, нащупал и нажал пружину, во всех отношениях схожую с соседней. Затем я занялся гвоздем. Он был такой же крепыш, как его товарищ, и тоже входил в отверстие чуть ли не по самую шляпку.

Вы, конечно, решите, что я был озадачен. Плохо же вы себе представляете индуктивный метод мышления — умозаключение от факта к его причине. Выражаясь языком спортсменов, я бил по мячу без промаха. Я шел по верному следу. В цепочке моих рассуждений не было ни одного порочного звена, я проследил ее всю до конечной точки — и этой точкой оказался гвоздь. Я уже говорил, что он во всем походил на своего собрата в соседнем окне, но что значил этот довод (при всей его убедительности) по сравнению с моей уверенностью, что именно к этой конечной точке и ведет путеводная нить. «Значит, гвоздь не в порядке»,— подумал я. И действительно, чуть я до него дотронулся, как шляпка вместе с обломком шпенька осталась у меня в руке. Большая часть гвоздя продолжала сидеть в отверстии, где он, должно быть, и сломался. Излом был старый; об этом говорила покрывавшая его ржавчина; я заметил также, что молоток, вогнавший гвоздь, частично вогнал в раму края шляпки. Когда я аккуратно вставил обломок на место, получилось впечатление, будто гвоздь целый. Ни малейшей трещинки не было заметно. Нажав на пружинку, я приподнял окно. Вместе с рамой поднялась и шляпка, плотно сидевшая в отверстии. Я опустил окно, опять впечатление целого гвоздя.

Итак, в этой части загадка была разгадана: убийца бежал в окно, заставленное кроватью. Когда рама опускалась — сама по себе или с чьей-нибудь помощью,— пружина закрепляла ее на месте; полицейские же действие пружины приняли за

действие гвоздя и отказались от дальнейших расследований.

Встает вопрос, как преступник спустился вниз. Тут меня вполне удовлетворила наша с вами прогулка вокруг дома. Футах в пяти с половиной от проема окна, о котором идет речь, проходит громоотвод. Добраться отсюда до окна, а тем более влезть в него нет никакой возможности. Однако я заметил, что ставни на пятом этаже принадлежат к разряду ferrades, как называют их парижские плотники; они давно вышли из моды, но вы еще частенько встретите их в старых особняках где-нибудь в Лионе или Бордо. Такой ставень напоминает обычную дверь — одностворчатую,— с той, однако, разницей, что верхняя половина у него сквозная, наподобие кованой решетки или шпалеры, за нее удобно ухватиться руками. Ставни в доме мадам Л'Эспанэ шириной в три с половиной фута. Когда мы увидели их с задворок, они были полуоткрыты, то есть стояли под прямым углом к стене. Полицейские, как и я, возможно, осматривали дом с тылу. Но, увидев ставни в поперечном разрезе, не заметили их необычайной ширины, во всяком случае — не обратили должного внимания. Уверенные, что преступники не могли ускользнуть таким путем, они, естественно, ограничились беглым осмотром окон. Мне же сразу стало ясно, что, если до конца распахнуть ставень над изголовьем кровати, он окажется не более чем в двух футах от громоотвода. При исключительной смелости и ловкости вполне можно перебраться с громоотвода в окно. Протянув руку фута на два с половиной (при условии, что ставень открыт настежь), грабитель мог ухватиться за решетку. Отпустив затем громоотвод и упершись в стену ногами, он мог с силой оттолкнуться и захлопнуть ставень, а там, если предположить, что окно открыто, махнуть через подоконник прямо в комнату.

Итак, запомните: речь идет о совершенно особой, из ряда вон выходящей ловкости, ибо только с ее помощью можно совершить столь рискованный акробатический номер. Я намерен вам доказать, во-первых, что такой прыжок возможен, а во-вторых,— и это главное,— хочу, чтобы вы представили себе, какое необычайное, почти сверхъестественное проворство требуется для такого прыжка.

Вы, конечно, скажете, что «в моих интересах», как выражаются адвокаты, скорее скрыть, чем признать в полной мере, какая здесь нужна ловкость. Но если таковы нравы юристов, то не таково обыкновение разума. Истина — вот моя конечная цель. Ближайшая же моя задача в том, чтобы вызвать в вашем сознании следующее сопоставление: с одной стороны, изумительная ловкость, о какой я уже говорил; с другой — крайне своеобразный, пронзительный, а по другой версии — резкий голос, относительно национальной принадлежности которого мнения расходятся; и при этом невнятное лопотание, в котором нельзя различить ни одного членораздельного слога...

Под влиянием этих слов какая-то смутная догадка забрезжила в моем мозгу. Казалось, еще усилие, и я схвачу мысль

Дюпена: так иной тщетно напрягает память, стараясь что-то вспомнить. Мой друг между тем продолжал:

— Заметьте, от вопроса, как грабитель скрылся, я свернул на то, как он проник в помещение. Я хотел показать вам, что то и другое произошло в одном и том же месте и одинаковым образом. А теперь вернемся к помещению. Что мы здесь застали? Из ящиков комода, где и сейчас лежат носильные вещи, многое, как нас уверяют, было похищено. Ну не абсурд ли? Предположение, явно взятое с потолка и не сказать чтобы умное. Почем знать, может быть, в комоде и не было ничего, кроме найденных вещей? Мадам Л'Эспанэ и ее дочь жили затворницами, никого не принимали и мало где бывали,— зачем же им, казалось бы, нужен был богатый гардероб? Найденные платья по своему качеству явно не худшие из того, что могли носить эти дамы. И если грабитель польстился на женские платья, то почему он оставил как раз лучшие, почему наконец не захватил все? А главное, почему ради каких-то тряпок отказался от четырех тысяч золотых?

А ведь денег-то он и не взял. Чуть ли не все золото, о котором сообщил мосье Миньо, осталось в целости и валялось в мешочках на полу. А потому выбросьте из головы всякую мысль о побудительных мотивах — дурацкую мысль, возникшую в голове у полицейских под влиянием той части показаний, которая говорит о золоте, доставленном на дом. Совпадения вдесятеро более разительные, чем доставка денег на дом и последовавшее спустя три дня убийство получателя, происходят ежечасно у нас на глазах, а мы их даже не замечаем. Совпадения — это обычно величайший подвох для известного сорта мыслителей, и слыхом не слыхавших ни о какой теории вероятности,— а ведь именно этой теории обязаны наши важнейшие отрасли знания наиболее славными своими открытиями. Разумеется, если бы денег недосчитались, тот факт, что их принесли чуть ли не накануне убийства, означал бы нечто большее, чем простое совпадение. С полным правом возник бы вопрос о побудительных мотивах. В данном же случае счесть мотивом преступления деньги означало бы прийти к выводу, что преступник — совершеннейшая разиня и болван, ибо о деньгах, а значит, о своем побудительном мотиве, он как раз и позабыл.

А теперь, твердо помня о трех обстоятельствах, на которые я обратил ваше внимание,— своеобразный голос, необычайная ловкость и поражающее отсутствие мотивов в таком исключительном по своей жестокости убийстве,— обратимся к самой картине преступления. Вот жертва, которую задушили голыми руками, а потом вверх ногами засунули в дымоход. Обычные преступники так не убивают. И уж, во всяком случае, не прячут таким образом трупы своих жертв. Представьте себе, как мертвое тело заталкивали в трубу, и вы согласитесь, что в этом есть что-то чудовищное, что-то несовместимое с нашими представлениями о человеческих поступках, даже счи-

тая, что здесь орудовало последнее отребье. Представьте также, какая требуется неимоверная силища, чтобы затолкать тело в трубу — снизу вверх, когда лишь совместными усилиями нескольких человек удалось извлечь его оттуда сверху вниз...

И, наконец, другие проявления этой страшной силы! На каминной решетке были найдены космы волос, необыкновенно густых седых волос. Они были вырваны с корнем. Вы знаете, какая нужна сила, чтобы вырвать сразу даже двадцать — тридцать волосков! Вы, так же как и я, видели эти космы. На корнях — страшно сказать! — запеклись окровавленные клочки мяса, содранные со скальпа,— красноречивое свидетельство того, каких усилий стоило вырвать одним махом до полумиллиона волос. Горло старухи было не просто перерезано — голова начисто отделена от шеи; а ведь орудием убийце послужила простая бритва. Вдумайтесь также в звериную жесткость этих злодеяний. Я не говорю уже о синяках на теле мадам Л'Эспанэ. Мосье Дюма и его достойный коллега мосье Этьенн считают, что побои нанесены каким-то тупым орудием,— и в этом почтенные эскулапы не ошиблись. Тупым орудием в данном случае явилась булыжная мостовая, куда тело выбросили из окна, заставленного кроватью. Ведь это же проще простого! Но полицейские и это проморгали, как проморгали ширину ставней, ибо в их герметически закупоренных мозгах не могла возникнуть мысль, что окна все же отворяются.

Если присоединить к этому картину хаотического беспорядка в спальне, вам останется только сопоставить неимоверную прыть, сверхчеловеческую силу, лютую кровожадность и чудовищную жестокость, превосходящую всякое понимание, с голосом и интонациями, которые кажутся чуждыми представителям самых различных национальностей, а также с речью, лишенной всякой членораздельности. Какой же напрашивается вывод? Какой образ возникает перед вами?

Меня прямо-таки в жар бросило от этого вопроса.

— Безумец, совершивший это злодеяние,— сказал я,— бесноватый маньяк, сбежавший из ближайшего сумасшедшего дома.

— Что ж, не так плохо,— одобрительно заметил Дюпен,— в вашем предположении кое-что есть. И все же выкрики сумасшедшего, даже в припадке неукротимого буйства, не отвечают описанию того своеобразного голоса, который слышали поднимавшиеся по лестнице. У сумасшедшего есть все же национальность, есть родной язык, а речи его, хоть и темны по смыслу, звучат членораздельно. К тому же и волосы сумасшедшего не похожи на эти у меня в руке. Я едва вытащил их из судорожно сжатых пальцев мадам Л'Эспанэ. Что вы о них скажете?

— Дюпен,— воскликнул я, вконец обескураженный,— это более чем странные волосы — они не принадлежат человеку!

— Я этого и не утверждаю,— возразил Дюпен.— Но прежде чем прийти к какому-нибудь выводу, взгляните на рисунок

на этом листке. Я точно воспроизвел здесь то, что частью показаний определяется как «темные кровоподтеки и следы ногтей» на шее у мадемуазель Л'Эспанэ, а в заключении господ Дюма и Этьенна фигурирует как «ряд сине-багровых пятен — по-видимому, отпечатки пальцев».

— Рисунок, как вы можете судить,— продолжал мой друг, кладя перед собой на стол листок бумаги,— дает представление о крепкой и цепкой хватке. Эти пальцы держали намертво. Каждый из них сохранял, очевидно, до последнего дыхания жертвы ту чудовищную силу, с какой он впился в живое тело. А теперь попробуйте одновременно вложить пальцы обеих рук в изображенные здесь отпечатки.

Тщетные попытки! Мои пальцы не совпадали с отпечатками.

— Нет, постойте, сделаем уж все как следует,— остановил меня Дюпен.— Листок лежит на плоской поверхности, а человеческая шея округлой формы. Вот поленце примерно такого же радиуса, как шея. Наложите на него рисунок и попробуйте еще раз.

Я повиновался, но стало не легче, а труднее.

— Похоже,— сказал я наконец,— что это отпечаток не человеческой руки.

— А теперь,— сказал Дюпен,— прочтите этот абзац из Кювье.

То было подробное анатомическое и общее описание исполинского бурого орангутанга, который водится на Ост-Индских островах. Огромный рост, неимоверная сила и ловкость, неукротимая злоба и необычайная способность к подражанию у этих млекопитающих общеизвестны.

— Описание пальцев,— сказал я, закончив чтение,— в точности совпадает с тем, что мы видим на вашем рисунке. Теперь я понимаю, что только описанный здесь орангутанг мог оставить эти отпечатки. Шерстинки ржаво-бурого цвета подтверждают сходство. Однако как объяснить все обстоятельства катастрофы? Ведь свидетели слышали два голоса, и один из них бесспорно принадлежал французу.

— Совершенно справедливо! И вам, конечно, запомнилось восклицание, которое чуть ли не все приписывают французу: «mon Dieu!» Восклицание это применительно к данному случаю было удачно истолковано одним из свидетелей (Монтани, владельцем магазина) как выражение протеста или недовольства. На этих двух словах и основаны мои надежды полностью решить эту загадку. Какой-то француз был очевидцем убийства. Возможно, и даже вероятно, что он не причастен к зверской расправе. Обезьяна, должно быть, сбежала от него. Француз, должно быть, выследил ее до места преступления. Поймать ее при всем том, что здесь разыгралось, он, конечно, был бессилен. Обезьяна и сейчас на свободе. Не стану распространяться о своих догадках, ибо это всего лишь догадки, и те зыбкие соображения, на которых они основаны, столь легковесны, что недостаточно убеждают даже меня и тем бо-

лее не убедят других. Итак, назовем это догадками и будем соответственно их расценивать. Но если наш француз, как я предполагаю, непричастен к убийству, то объявление, которое я по дороге сдал в редакцию «Монд» — газеты, представляющей интересы нашего судоходства и очень популярной среди моряков,— это объявление наверняка приведет его сюда.

Дюпен вручил мне газетный лист. Я прочел:

«ПОЙМАН в Булонском лесу — ранним утром — такого-то числа сего месяца (в утро, когда произошло убийство) огромных размеров бурый орангутанг, разновидности, встречающейся на острове Борнео. Будет возвращен владельцу (по слухам, матросу мальтийского судна) при условии удостоверения им своих прав и возмещения расходов, связанных с поимкой и содержанием животного. Обращаться по адресу: дом №... на улице... в Сен-Жерменском предместье; справиться на пятом этаже».

— Как же вы узнали,— спросил я,— что человек этот матрос с мальтийского корабля?

— Я этого не знаю,— возразил Дюпен.— И далеко не уверен в этом. Но вот обрывок ленты, посмотрите, как она засалена, да и с виду напоминает те, какими матросы завязывают волосы,— вы знаете эти излюбленные моряками queues [1]. К тому же таким узлом мог завязать ее только моряк, скорее всего, мальтиец. Я нашел эту ленту под громоотводом. Вряд ли она принадлежала одной из убитых женщин. Но даже если я ошибаюсь и хозяин ленты не мальтийский моряк, то нет большой беды в том, что я сослался на это в своем объявлении. Если я ошибся, матрос подумает, что кто-то ввел меня в заблуждение, и особенно задумываться тут не станет. Если же я прав — это козырь в моих руках. Как очевидец, хоть и не соучастник убийства, француз, конечно, не раз подумает, прежде чем пойдет по объявлению. Вот как он станет рассуждать: «Я не виновен; к тому же человек я бедный; орангутанг и вообще-то в большой цене, а для меня это целое состояние, зачем же терять его из-за пустой мнительности. Вот он рядом, только руку протянуть. Его нашли в Булонском лесу, далеко от места, где произошло убийство. Никому и в голову не придет, что такие страсти мог натворить дикий зверь. Полиции ввек не догадаться, как это случилось. Но хотя бы обезьяну и выследили — попробуй докажи, что я что-то знаю; а хоть бы и знал, я не виноват. Главное, кому-то я уже известен. В объявлении меня так и называют владельцем этой твари. Кто знает, что этому человеку еще про меня порассказали. Если я не приду за моей собственностью, а ведь она больших денег стоит, да известно, что хозяин — я, на обезьяну падет подо-

[1] Здесь: косицы; буквально: хвосты *(фр.)*.

зрение. А мне ни к чему навлекать подозрение что на себя, что на эту бестию. Лучше уж явлюсь по объявлению, заберу орангутанга и спрячу, пока все не порастет травой».

На лестнице послышались шаги.

— Держите пистолеты наготове,— предупредил меня Дюпен,— только не показывайте и не стреляйте — ждите сигнала.

Парадное внизу было открыто; посетитель вошел, не позвонив, и стал подниматься по ступенькам. Однако он, должно быть, колебался, с минуту постоял на месте и начал спускаться вниз. Дюпен бросился к двери, но тут мы услышали, что незнакомец опять поднимается. Больше он не делал попыток повернуть. Мы слышали, как он решительно топает по лестнице, затем в дверь постучали.

— Войдите! — весело и приветливо отозвался Дюпен.

Вошел мужчина, судя по всему матрос,— высокий, плотный, мускулистый, с таким видом, словно сам черт ему не брат, а в общем, приятный малый. Лихие бачки и mustachio[1] больше чем наполовину скрывали его загорелое лицо. Он держал в руке увесистую дубинку, по-видимому, единственное свое оружие. Матрос неловко поклонился и пожелал нам доброго вечера; говорил он по-французски чисто, разве что с легким невшательским акцентом; но по всему было видно, что это коренной парижанин.

— Садитесь, приятель,— приветствовал его Дюпен.— Вы, конечно, за орангутангом? По правде говоря, вам позавидуешь: великолепный экземпляр, и, должно быть, ценный. Сколько ему лет, как вы считаете?

Матрос вздохнул с облегчением. Видно, у него гора свалилась с плеч.

— Вот уж не знаю,— ответил он развязным тоном.— Годика четыре-пять — не больше. Он здесь, в доме?

— Где там, у нас не нашлось такого помещения. Мы сдали его на извозчичий двор на улице Дюбур, совсем рядом. Приходите за ним завтра. Вам, конечно, нетрудно будет удостоверить свои права?

— За этим дело не станет, мосье!

— Прямо жалко расстаться с ним,— продолжал Дюпен.

— Не думайте, мосье, что вы хлопотали задаром,— заверил его матрос.— У меня тоже совесть есть. Я охотно уплачу вам за труды, по силе возможности, конечно. Столкуемся!

— Что ж,— сказал мой друг,— очень порядочно с вашей стороны. Дайте-ка я соображу, сколько с вас взять. А впрочем, не нужно мне денег; расскажите нам лучше, что вам известно об убийстве на улице Морг.

Последнее он сказал негромко, но очень спокойно. Так же спокойно подошел к двери, запер ее и положил ключ в карман; потом достал из бокового кармана пистолет и без шума и волнения положил на стол.

Лицо матроса побагровело, казалось, он борется с удушь-

[1] Усы *(ит.)*.

ем. Инстинктивно он вскочил и схватился за дубинку, но тут же рухнул на стул, дрожа всем телом, смертельно бледный. Он не произнес ни слова. Мне было от души его жаль.

— Зря пугаетесь, приятель,— успокоил его Дюпен.— Мы ничего плохого вам не сделаем, поверьте. Даю вам слово француза и порядочного человека: у нас самые добрые намерения. Мне хорошо известно, что вы не виновны в этих ужасах на улице Морг. Но не станете же вы утверждать, будто вы здесь совершенно ни при чем. Как видите, многое мне уже известно, при этом из источника, о котором вы не подозреваете. В общем, положение мне ясно. Вы не сделали ничего такого, в чем могли бы себя упрекнуть или за что вас можно было бы привлечь к ответу. Вы даже не польстились на чужие деньги, хоть это могло сойти вам с рук. Вам нечего скрывать, и у вас нет оснований скрываться. Однако совесть обязывает вас рассказать все, что вы знаете по этому делу. Арестован невинный человек; над ним тяготеет подозрение в убийстве, истинный виновник которого вам известен.

Слова Дюпена возымели действие: матрос овладел собой, но куда девалась его развязность!

— Будь что будет,— сказал он, помолчав.— Расскажу вам все, что знаю. И да поможет мне бог! Вы, конечно, не поверите — я был бы дураком, если б надеялся, что вы мне поверите. Но все равно моей вины тут нет! И пусть меня казнят, а я расскажу вам все как на духу.

Рассказ его, в общем, свелся к следующему. Недавно пришлось ему побывать на островах Индонезийского архипелага. С компанией моряков он высадился на Борнео и отправился на прогулку в глубь острова. Им с товарищем удалось поймать орангутанга. Компаньон вскоре умер, и единственным владельцем обезьяны оказался матрос. Чего только не натерпелся он на обратном пути из-за свирепого нрава обезьяны, пока не доставил ее домой в Париж и не посадил под замок, опасаясь назойливого любопытства соседей, а также в ожидании, чтобы у орангутанга зажила нога, которую он занозил на пароходе. Матрос рассчитывал выгодно его продать.

Вернувшись недавно домой с веселой пирушки,— это было в ту ночь, вернее, в то утро, когда произошло убийство,— он застал орангутанга у себя в спальне. Оказалось, что пленник сломал перегородку в смежном чулане, куда его засадили для верности, чтобы не убежал. Вооружившись бритвой и намылившись по всем правилам, обезьяна сидела перед зеркалом и собиралась бриться в подражание хозяину, за которым не раз наблюдала в замочную скважину. Увидев опасное оружие в руках у свирепого хищника и зная, что тот сумеет им распорядиться, матрос в первую минуту растерялся. Однако он привык справляться со своим узником и с помощью бича укрощал даже самые буйные вспышки его ярости. Сейчас он тоже схватился за бич. Заметив это, орангутанг кинулся к двери и вниз по лестнице, где было, по несчастью, открыто окно,— а там на улицу.

Француз в ужасе побежал за ним. Обезьяна, не бросая бритвы, то и дело останавливалась, корчила рожи своему преследователю и, подпустив совсем близко, снова от него убегала. Долго гнался он за ней. Было около трех часов утра, на улицах стояла мертвая тишина. В переулке позади улицы Морг внимание беглянки привлек свет, мерцавший в окне спальни мадам Л'Эспанэ, на пятом этаже ее дома. Подбежав ближе и увидев громоотвод, обезьяна с непостижимой быстротой вскарабкалась наверх, схватилась за открытый настежь ставень и с его помощью перемахнула на спинку кровати. Весь этот акробатический номер не потребовал и минуты. Оказавшись в комнате, обезьяна опять пинком распахнула ставень.

Матрос не знал, радоваться или горевать. Он вознадеялся вернуть беглянку, угодившую в ловушку, бежать она могла только по громоотводу, а тут ему легко было ее поймать. Но как бы она чего не натворила в доме! Последнее соображение перевесило и заставило его последовать за своей питомицей. Вскарабкаться по громоотводу не представляет труда, особенно для матроса, но поравнявшись с окном, которое приходилось слева, в отдалении, он вынужден был остановиться. Единственное, что он мог сделать, это, дотянувшись до ставня, заглянуть в окно. От ужаса он чуть не свалился вниз. В эту минуту и раздались душераздирающие крики, всполошившие обитателей улицы Морг.

Мадам Л'Эспанэ и ее дочь, обе в ночных одеяниях, очевидно, разбирали бумаги в упомянутой железной укладке, выдвинутой на середину комнаты. Сундучок был раскрыт, его содержимое лежало на полу рядом. Обе женщины, должно быть, сидели спиной к окну и не сразу увидели ночного гостя. Судя по тому, что между его появлением и их криками прошло некоторое время, они, очевидно, решили, что ставнем хлопнул ветер.

Когда матрос заглянул в комнату, огромный орангутанг держал мадам Л'Эспанэ за волосы, распущенные по плечам (она расчесывала их на ночь), и, в подражание парикмахеру, поигрывал бритвой перед самым ее носом. Дочь лежала на полу без движения, в глубоком обмороке. Крики и сопротивление старухи, стоившие ей вырванных волос, изменили, быть может, и мирные поначалу намерения орангутанга, разбудив в нем ярость. Сильным взмахом мускулистой руки он чуть не снес ей голову. При виде крови гнев зверя перешел в неистовство. Глаза его пылали, как раскаленные угли. Скрежеща зубами, набросился он на девушку, вцепился ей страшными когтями в горло и душил, пока та не испустила дух. Озираясь в бешенстве, обезьяна увидела маячившее в глубине над изголовьем кровати помертвелое от ужаса лицо хозяина. Остервенение зверя, видимо не забывшего о грозном хлысте, мгновенно сменилось страхом. Чувствуя себя виноватым и боясь наказания, орангутанг, верно, решил скрыть свои кровавые проделки и панически заметался по комнате, ломая и опрокидывая мебель, сбрасывая с кровати подушки и одеяла. На-

конец он схватил труп девушки и затолкал его в дымоход камина, где его потом и обнаружили, а труп старухи не долго думая швырнул за окно.

Когда обезьяна со своей истерзанной ношей показалсь в окне, матрос так и обмер и не столько спустился, сколько съехал вниз по громоотводу и бросился бежать домой, страшась последствий кровавой бойни и отложив до лучших времен попечение о дальнейшей судьбе своей питомицы. Испуганные восклицания потрясенного француза и злобное бормотание разъяренной твари и были теми голосами, которые слышали поднимавшиеся по лестнице люди.

Вот, пожалуй, и все. Еще до того, как взломали дверь, орангутанг, по-видимому, бежал из старухиной спальни по громоотводу. Должно быть, он и опустил за собой окно.

Спустя некоторое время сам хозяин поймал его и за большие деньги продал в Jardin des Plantes [1]. Лебона сразу же освободили, как только мы с Дюпеном явились к префекту и обо всем ему рассказали (Дюпен не удержался и от коекаких комментариев). При всей благосклонности к моему другу, сей чинуша не скрыл своего разочарования по случаю такого конфуза и даже отпустил в наш адрес две-три шпильки насчет того, что не худо бы каждому заниматься своим делом.

— Пусть ворчит,— сказал мне потом Дюпен, не удостоивший префекта ответом.— Пусть утешается. Надо же человеку душу отвести. С меня довольно того, что я побил противника на его территории. Впрочем, напрасно наш префект удивляется, что загадка ему не далась. По правде сказать, он слишком хитер, чтобы смотреть в корень. Вся его наука сплошное верхоглядство. У нее одна лишь голова, без тела, как изображают богиню Лаверну, или в лучшем случае — голова и плечи, как у трески. Но что ни говори, он добрый малый; в особенности восхищает меня та ловкость, которая стяжала ему репутацию великого умника. Я говорю о его манере «de nier ce qui est, et d'expliquer ce qui n'est pas» [2].

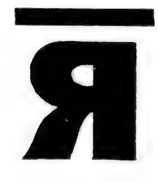
---

[1] Ботанический сад *(фр.)*.
[2] Отрицать то, что есть, и распространяться о том, чего не существует *(фр.)*.

КОЛОДЕЦ И МАЯТНИК

Impia tortorum longas hic turba furores
Sanguinis innocui, non satiata, aluit.
Sospite nunc patria, fracto nunc funeris antro,
Mors ubi dira fuit, vita salusquepatent [1].

Четверостишие, сочиненное для ворот рынка, который решили построить на месте Якобинского клуба в Париже



ИЗНЕМОГ; ДОЛГАЯ ПЫТКА СОВСЕМ ИЗмучила меня; и когда наконец развязали и усадили, я почувствовал, что теряю сознание. Слова смертного приговора — страшные слова — были последними, какие различило мое ухо. Потом голоса инквизиторов слились в смутный, дальний гул. Он вызвал в мозгу моем образ вихря, круговорота, быть может, оттого, что напомнил шум мельничного колеса. Но вот и гул затих; я вообще перестал слышать. Зато я все еще видел, но с какой беспощадной, преувеличенной отчетливостью! Я видел губы судей над черными мантиями. Они показались мне белыми — белей бумаги, которой я поверяю эти строки,— и ненатурально тонкими, так сжала их неумолимая твердость, непреклонная решимость, жестокое презрение к человеческому горю. Я видел, как движенья этих губ решают мою судьбу, как эти губы кривятся, как на них шевелятся слова о моей смерти. Я видел, как они складывают слоги моего имени, и я содрогался, потому что не слышал ни единого звука. В эти мгновения томящего ужаса я все-таки видел и легкое, едва заметное колыханье черного штофа, которым была обита зала. Потом взгляд мой упал на семь длинных свечей на столе. Сначала они показались мне знаком милосердия, белыми стройными ангелами, которые меня спасут; но тотчас меня охватила смертная тоска и меня всего пронизало дрожью, как будто я дотронулся до проводов гальванической батареи, ангелы стали пустыми призраками об огненных головах, и я понял, что они мне ничем не помогут. И тогда-то в мое сознанье, подобно нежной музыкальной фразе, прокралась мысль о том, как сладок должен быть покой могилы. Она подбиралась мягко, исподволь и не

---

[1] Клика злодеев здесь долго пыткам народ обрекала
И неповинную кровь, не насыщаясь, пила.
Ныне отчизна свободна, ныне разрушен застенок,
Смерть попирая, сюда входят и благо и жизнь *(лат.)*.

вдруг во мне укрепилась; но как только она наконец овладела мной вполне, лица судей скрылись из глаз, словно по волшебству; длинные свечи вмиг сгорели дотла; их пламя погасло; осталась черная тьма; все чувства во мне замерли, исчезли, как при безумном падении с большой высоты, будто сама душа полетела вниз, в преисподнюю. А дальше молчание, и тишина, и ночь вытеснили все остальное.

Это был обморок; и все же не стану утверждать, что потерял сознание совершенно. Что именно продолжал я сознавать, не берусь ни определять, ни даже описывать; однако было потеряно не все. В глубочайшем сне — нет! В беспамятстве — нет! В обмороке — нет! В смерти — нет! Даже в могиле не все потеряно. Иначе не существует бессмертия. Пробуждаясь от самого глубокого сна, мы разрываем зыбкую паутину некоего сновиденья. Но в следующий миг (так тонка эта паутина) мы уже не помним, что нам снилось. Приходя в себя после обморока, мы проходим две ступени: сначала мы возвращаемся в мир нравственный и духовный, а потом уже вновь обретаем ощущение жизни физической. Возможно, что если, достигнув второй ступени, мы бы помнили ощущения первой, в них нашли бы мы красноречивые свидетельства об оставленной позади бездне. Но бездна эта — что она такое? И как хоть отличить тени ее от могильных? Однако если впечатления того, что я назвал первой ступенью, нельзя намеренно вызвать в памяти, разве не являются они нам нежданно, неведомо откуда спустя долгий срок? Тот, кто не падал в обморок, никогда не различит диковинных дворцов и странно знакомых лиц в догорающих угольях; не увидит парящих в вышине печальных видений, которых не замечают другие; не призадумается над запахом неизвестного цветка; не удивится вдруг музыкальному ритму, никогда прежде не останавливавшему его внимания.

Среди частых и трудных усилий припомнить, среди упорных стараний собрать разрозненные приметы того состояния кажущегося небытия, в какое впала моя душа, бывали минуты, когда мне мнился успех; не раз — очень ненадолго — мне удавалось вновь призвать чувства, которые, как понимал я по зрелом размышленье, я мог испытать не иначе, как во время своего кажущегося беспамятства. Призрачные воспоминанья невнятно говорят мне о том, как высокие фигуры подняли и безмолвно понесли меня вниз, вниз, все вниз, пока у меня не захватило дух от самой нескончаемости спуска. Они говорят мне о том, как смутный страх сжал мне сердце, оттого что сердце это странно затихло. Потом все вдруг сковала неподвижность, точно те, кто нес меня (зловещий кортеж!), нарушили, спускаясь, пределы беспредельного и остановились передохнуть от тяжкой работы. Потом душу окутал унылый туман. А дальше все тонет в безумии — безумии памяти, занявшейся запретным предметом.

Вдруг ко мне вернулись движение и шум — буйное движение, биение сердца шумом отозвалось в ушах. Потом был безмолвный провал пустоты. Но тотчас шум и движение, касание — и трепет охватил весь мой состав. Потом было лишь ощущение

бытия, без мыслей — и это длилось долго. Потом внезапно проснулась *мысль* и накатил ужас, и я уже изо всех сил старался осознать, что же со мной произошло. Потом захотелось вновь погрузиться в беспамятство. Потом душа встрепенулась, напряглась усилием ожить и ожила. И тотчас вспомнились пытки, судьи, траурный штоф на стенах, приговор, дурнота, обморок. И опять совершенно забылось все то, что уже долго спустя мне удалось кое-как воскресить упорным усилием памяти.

Я пока не открывал глаз. Я понял, что лежу на спине, без пут. Я протянул руку, и она наткнулась на что-то мокрое и твердое. Несколько мгновений я не отдергивал и все соображал, где я и что со мной. Мне мучительно хотелось оглядеться, но я не решался. Я боялся своего первого взгляда. Я не боялся увидеть что-то ужасное, нет, я холодел от страха, что вовсе ничего не увижу. Наконец с безумно колотящимся сердцем я открыл глаза. Самые дурные предчувствия мои подтвердились. Чернота вечной ночи окружала меня. У меня перехватило дыхание. Густая тьма будто грозила задавить меня, задушить. Было нестерпимо душно. Я неподвижно лежал, стараясь собраться с мыслями. Я припомнил обычаи инквизиции и попытался, исходя из них, угадать свое положение. Приговор вынесен; и, кажется, с тех пор прошло немало времени. Но ни на миг я не предположил, что умер. Такая мысль, вопреки выдумкам сочинителей, нисколько не вяжется с жизнью действительной; но где же я, что со мной? Приговоренных к смерти, я знал, обычно сжигали на костре, и такую казнь как раз уже назначили на день моего суда. Значит, меня снова бросили в мою темницу, и теперь я несколько месяцев буду ждать следующего костра? Да нет, это невозможно. Отсрочки жертве не дают. К тому же у меня в темнице, как и во всех камерах смертников в Толедо, пол каменный, и туда проникает тусклый свет.

Вдруг мое сердце так и перевернулось от ужасной догадки, и ненадолго я снова лишился чувств. Придя в себя, я тотчас вскочил на ноги; я дрожал всем телом. Я отчаянно простирал руки во все стороны. Они встречали одну пустоту. А я шагу не мог ступить от страха, что могу наткнуться на стену *склепа*. Я покрылся потом. Он крупными каплями застыл у меня на лбу. Наконец, истомясь неизвестностью, я осторожно шагнул вперед, вытянув руки и до боли напрягая глаза в надежде различить слабый луч света. Так прошел я немало шагов; но по-прежнему все было черно и пусто. Я вздохнул свободней. Я понял, что мне уготована, по крайней мере, не самая злая участь.

Я осторожно продвигался дальше, а в памяти моей скоро стали тесниться несчетные глухие слухи об ужасах Толедо. О здешних тюрьмах ходили странные рассказы — я всегда почитал их небылицами,— до того странные и зловещие, что их передавали только шепотом. Что если меня оставили умирать от голода в подземном царстве тьмы? Или меня ждет еще горшая судьба? В том, что я обречен уничтожению, и уничтожению особенно безжалостному, я не мог сомневаться, зная

нрав своих судей. Лишь мысль о способе и часе донимала и сводила меня с ума.

Наконец мои протянутые руки наткнулись на препятствие. Это была стена, очевидно, каменной кладки, совершенно гладкая, склизкая и холодная. Я пошел вдоль нее, ступая с той недоверчивой осторожностью, которой научили меня иные старинные истории. Однако таким способом еще нельзя было определить размеров темницы; я мог обойти ее всю и вернуться на то же место, так ничего и не заметив, ибо стена была совершенно ровная и везде одинаковая. Тогда я стал искать нож, который лежал у меня в кармане, когда меня повели в судилище; ножа я не нашел. Мое платье сменили на балахон из мешковины. А я-то хотел всадить лезвие в какую-нибудь щелочку между камнями, чтоб определить начало пути. Затруднение, правда, оказалось пустое, и лишь в тогдашней моей горячке оно представилось мне сначала неодолимым. Я отодрал толстую подрубку подола и положил ее под прямым углом к стене. Пробираясь вдоль стены, я непременно наткнусь на нее, обойдя круг. Так я рассчитал. Но я не подумал ни о размерах темницы, ни о собственной своей слабости. Земля была сырая и скользкая. Я проковылял еще немного, споткнулся и упал. Изнеможение помешало мне подняться, и скоро меня одолел сон.

Проснувшись, я вытянул руку и нащупал рядом ломоть хлеба и кувшин с водою. Я так был измучен, что не стал размышлять, откуда они взялись, но жадно осушил кувшин и съел хлеб. Скоро я снова побрел вдоль стены и с большим трудом наконец добрался до места, где лежала мешковина. До того, как я упал, я насчитал пятьдесят два шага, а после того, как встал и пошел сызнова, насчитал их сорок восемь. Значит, всего шагов получалось сто; и, положив на ярд по два шага, я заключил, что тюрьма моя имеет окружность в пятьдесят ярдов. Однако в стене оказалось и много углов, и я никак не мог догадаться о форме подземелья, ибо в голове у меня засела мысль, что здесь непременно подземелье.

Мои расследованья были почти бесцельны и уж вовсе безнадежны, но странное любопытство побуждало меня их продолжать. Я отделился от стены и решил пересечь обнесенное ею пространство. То и дело оскользаясь на предательском, хоть и твердом полу, я сперва ступал с величайшей осторожностью. Но потом я набрался храбрости и пошел тверже, стараясь не сбиваться с прямого пути. Так прошел я шагов десять—двенадцать, но споткнулся о свисавший оборванный край своего подола, сделал еще шаг и рухнул ничком.

Опомнился я не сразу, и лишь несколько секунд спустя мое внимание привлекло удивительное обстоятельство. Дело вот в чем — подбородком я уткнулся в тюремный пол, а губы и верхняя часть лица, хоть и опущенные ниже подбородка, ни к чему не прикасались. Мой лоб точно погрузился во влажный пар, а в ноздри лез ни с чем не сравнимый запах плесени. Я протянул руку и с ужасом обнаружил, что лежу у самого края круглого колодца, глубину которого я, разумеется, пока

не мог определить. Я пошарил по краю кладки, ухитрился отломить кусок кирпича и бросил вниз. Несколько мгновений я слышал, как он, падая, гулко ударялся о стенки колодца, наконец глухо всплеснулась вода, и ей громко отозвалось эхо. В тот же миг раздался такой звук, будто где-то наверху распахнули и разом захлопнули дверь, тьму прорезал слабый луч и тотчас погас.

Тут я понял, какая мне готовилась судьба, и поздравил себя с тем, что так вовремя споткнулся. Еще бы один шаг — и больше мне не видеть белого света. О таких именно казнях упоминалось в тех рассказах об инквизиции, которые почитал я вздором и выдумками. У жертв инквизиции был выбор: либо смерть в чудовищных муках телесных, либо смерть в ужаснейших мучениях нравственных. Мне осталось последнее. От долгих страданий мои нервы совсем расшатались, я вздрагивал при звуке собственного голоса и как нельзя более подходил для того рода пыток, какие меня ожидали.

Весь дрожа, я отполз назад к стене, решившись скорей погибнуть там, только бы избегнуть страшных колодцев, которые теперь мерещились мне повсюду. Будь мой рассудок в ином состоянии, у меня бы хватило духу самому броситься в пропасть и положить конец беде, но я стал трусом из трусов. К тому же из головы не шло то, что я читал о таких колодцах — мгновенно расстаться с жизнью там никому еще не удавалось.

От возбужденья я долгие часы не мог уснуть, но наконец забылся. Проснувшись, я, как и прежде, обнаружил подле себя ломоть хлеба и кувшин с водой. Меня терзала жажда, и я залпом осушил кувшин. К воде, верно, примешали какого-то зелья; не успел я допить ее, как меня одолела дремота. Я погрузился в сон — глубокий, как сон смерти. Долго ли я спал, я, разумеется, не знаю, но только когда я снова открыл глаза, я вдруг увидел, что меня окружает. В робком зеленоватом свете, которого источник я заметил не сразу, мне открылись вид и размеры моей тюрьмы.

Я намного ошибся, прикидывая протяженность стены. Она была не более двадцати пяти ярдов. Несколько минут я глупо дивился этому открытию, поистине глупо! Ибо какое значение в моих ужасных обстоятельствах могла иметь площадь темницы? Но ум цеплялся за безделицы, и я принялся истово доискиваться до ошибки, какую сделал в своих расчетах. И наконец меня осенило. Сначала, до того как я упал в первый раз, я насчитал пятьдесят два шага; и, верно, упал я всего в двух шагах от куска мешковины, успев обойти почти всю стену. Потом я заснул и со сна, верно, пошел не в ту сторону; понятно поэтому, отчего стена представилась мне вдвое длинней. В смятении я не заметил, что в начале пути она была у меня слева, а в конце оказалась справа.

Относительно формы тюрьмы я тоже обманулся. Я уверенно счел ее весьма неправильной, нащупав на стене много углов; так могущественно воздействие кромешной тьмы на того, кто очнулся от сна или летаргии! Оказалось, что углы — всего-

навсего легкие вмятины или углубления в неравном расстоянии одна от другой. Форма же камеры была квадратная. То, что принял за каменную кладку, оказалось железом или еще каким-то металлом в огромных листах, стыки или швы которых и создавали вмятины. Вся поверхность этого металлического мешка была грубо размалевана мерзкими, гнусными рисунками — порождениями мрачных монашеских суеверий. Лютые демоны в виде скелетов или в иных более натуральных, но страшных обличьях безобразно покрывали сплошь все стены. Я заметил, что контуры этих чудищ довольно четки, а краски грязны и размыты, как бывает от сырости. Потом я увидел, что пол в моей тюрьме каменный. Посередине его зияла пасть колодца, которой я избегнул; но этот колодец был в темнице один.

Все это смог я различить лишь смутно и с трудом, ибо собственное мое положение за время забытья значительно изменилось. Меня уложили навзничь, во весь рост на какую-то низкую деревянную раму. Меня накрепко привязали к ней длинным ремнем вроде подпруги. Ремень много раз перевил мне тело и члены, оставляя свободной только голову и левую руку, так что я мог ценой больших усилий дотянуться до глиняной миски с едой, стоявшей подле на полу. К ужасу своему, я обнаружил, что кувшин исчез. Я сказал — «к ужасу своему». Да, меня терзала нестерпимая жажда. Мои мучители, верно, намеревались еще пуще ее распалить; в глиняной миске лежало остро приправленное мясо.

Подняв глаза, я разглядел потолок своей темницы. В тридцати или сорока футах надо мной, он состоял из тех же самых, что и стены, листов. Чрезвычайно странная фигура на одном из них приковала мое внимание. Это была Смерть, как обыкновенно ее изображают, но только вместо косы в руке она держала то, что при беглом взгляде показалось мне рисованным маятником, как на старинных часах. Однако что-то в этом механизме заставило меня вглядеться в него пристальней. Пока я смотрел прямо вверх (маятник приходился как раз надо мною), мне почудилось, что он двигается. Минуту спустя впечатление подтвердилось. Ход маятника был короткий и, разумеется, медленный. Несколько мгновений я следил за ним с некоторым страхом, но скорей с любопытством. Наконец, наскуча его унылым качаньем, я решил оглядеться.

Легкий шум привлек мой слух, я посмотрел на пол и увидел, как его пересекает полчище огромных крыс. Они лезли из щели, находившейся в моем поле зрения справа. Прямо у меня на глазах они тесным строем жадно устремлялись к мясу, привлеченные его запахом. Немало труда стоило мне отогнать их от миски.

Прошло, пожалуй, полчаса, возможно, и час (я мог лишь приблизительно определять время), прежде чем я снова взглянул вверх. То, что я увидел, меня озадачило и поразило. Размах маятника увеличился почти на целый ярд. Выросла, следственно, и его скорость. Но особенно встревожила меня

мысль о том, что он заметно *опустился*. Теперь я увидел, надо ли описывать, с каким ужасом! — что нижний конец его имеет форму серпа из сверкающей стали, длиною примерно с фут от рога до рога; рожки повернуты кверху, а нижний край острый, как лезвие бритвы; выше от лезвия серп наливался, расширялся и сверху был уже тяжелый и толстый. Он держался на плотном медном стержне, и все вместе шипело, рассекая воздух.

Я не мог более сомневаться в том, какую участь уготовила мне монашья изобретательность в пытках. Инквизиторы прознали, что мне известно о колодце; его ужасы предназначались таким дерзким ослушникам, как я; колодец был воплощенье ада, по слухам,— всех казней. Благодаря чистейшему случаю я не упал в колодец. А я знал, что внезапность страданья, захват им жертвы врасплох — непременное условие чудовищных тюремных расправ. Раз уж я сам не свалился в пропасть, меня не будут в нее толкать, не такова их дьявольская затея; а потому (выбора нет) меня уничтожат иначе, более мягко. Мягко! Я готов был улыбнуться сквозь муку, подумав о том, как мало идет к делу это слово.

Что пользы рассказывать о долгих, долгих часах нечеловеческого ужаса, когда я считал удары стального серпа! Дюйм за дюймом, удар за ударом — казалось, века проходили, пока я это замечал,— но он неуклонно спускался все ниже и ниже! Миновали дни,— быть может, много дней — и он спустился так низко, что обдал меня своим едким дыханьем. Запах остро отточенной стали забивался мне в ноздри. Я молился, я досаждал небесам своей мольбой о том, чтоб он спускался поскорей. Я сходил с ума, я рвался вверх, навстречу взмахам зловещего ятагана. Или вдруг успокаивался, лежал и улыбался своей сверкающей смерти, как дитя — редкой погремушке.

Я снова лишился чувств — ненадолго, ибо когда я очнулся, я не понял, спустился ли маятник. А быть может, надолго, ибо я сознавал присутствие злых духов, которые заметили мой обморок и могли нарочно остановить качанье. Придя в себя, я почувствовал такую, о! невыразимую слабость, будто меня долго изнуряли голодом. Несмотря на страданья, человеческая природа требует еды. Я с трудом вытянул левую руку настолько, насколько мне позволяли путы, и нащупал жалкие объедки, оставленные мне крысами. Когда я положил в рот первый кусок, в мозгу моем вдруг мелькнул обрывок мысли, окрашенной радостью, надеждой. Надежда для меня — возможно ли? Как я сказал, то был лишь обрывок мысли,—мало ли таких мелькает в мозгу, не завершаясь? Я ощутил, что мне помстилась радость, надежда, но тотчас же ощутил, как мысль о них умерла нерожденной. Тщетно пытался я додумать ее, поймать, воротить. Долгие муки почти лишили меня обычных моих мыслительных способностей. Я сделался слабоумным, идиотом.

Взмахи маятника шли под прямым углом к моему телу. Я понял, что серп рассечет меня в том месте, где сердце. Он

протрет мешковину, вернется, повторит свое дело опять... опять. Несмотря на страшную ширь взмаха (футов тридцать, а то и более) и щипящую мощь спуска, способную сокрушить и самые эти железные стены, он протрет мешковину на мне, и только! И здесь я запнулся. Дальше этой мысли я идти не посмел. Я задержался за ней, я цеплялся за нее, будто бы *так* можно было удержать спуск маятника. Я заставил себя вообразить звук, с каким серп разорвет мой балахон, тот озноб, который пройдет по телу в ответ на трение ткани. Я мучил себя этим вздором, покуда совершенно не изнемог.

Вниз — все вниз сползал он. С сумасшедшей радостью противопоставлял я скорость взмаха и скорость спуска. Вправо — влево — во всю ширь! — со скрежетом преисподней к моему сердцу, крадучись, словно тигр! Я то хохотал, то рыдал, уступая смене своих порывов.

Вниз, уверенно, непреклонно вниз! Вот он качается уже в трех дюймах от моей груди. Я безумно, отчаянно старался высвободить левую руку. Она была свободна лишь от локтя до кисти. Я только дотягивался до миски и подносил еду ко рту, и то ценою мучительных усилий. Если бы мне удалось высвободить всю руку, я бы схватил маятник и постарался его остановить. Точно так же мог бы я остановить лавину!

Вниз, непрестанно, неумолимо вниз! Я задыхался и обмирал от каждого его разлета. У меня все обрывалось внутри от каждого взмаха. Мои глаза провожали его вбок и вверх с нелепым пылом совершенного отчаяния. Я жмурился, когда он спускался, хотя смерть была бы избавленьем, о! несказанным избавленьем от мук! И все же я дрожал каждой жилкой при мысли о том, как легко спуск механизма введет острую сверкающую секиру мне в грудь. От надежды дрожал я каждой жилкой, от надежды обрывалось у меня все внутри. О, надежда,— победительница скорбей,— это она нашептывает слова утешенья обреченным даже в темницах инквизиции.

Я увидел, что еще десять — двенадцать взмахов — и сталь прямо коснется моего балахона, и оттого я вдруг весь собрался и преисполнился ясным спокойствием отчаяния. Впервые за долгие часы — или даже дни — я стал *думать*. Я сообразил, что моя подпруга, мои путы — цельные, сплошные. Меня связали одним-единственным ремнем. Где бы лезвие ни прошлось по путам, оно рассечет их так, что я сразу смогу высвободиться от них с помощью левой руки. Только как же близко мелькнет от меня сталь! Как гибельно может оказаться всякое неверное движенье! Однако мыслимо ли, что прихлебатели палача не предусмотрели такой возможности? Вероятно ли, что тело мое перевязано там, куда должен спуститься маятник? Страшась утратить слабую, и, должно быть, последнюю надежду, я все же приподнял голову, чтобы как следует разглядеть свою грудь. Подпруга обвивала мне тело и члены сплошь, но только не по ходу губительного серпа!

Едва успел я снова опустить голову, и в мозгу моем пронеслось то, что лучше всего назвать недостающей половиной

идеи об избавлении, о которой я уже упоминал и которой первая часть лишь смутно промелькнула в моем уме, когда я поднес еду к запекшимся губам. Теперь мысль сложилась до конца, слабая, едва ли здравая, едва ли ясная, но она сложилась. Отчаяние придало мне сил, и я тотчас взялся за ее осуществление.

В течение многих часов пол вокруг моего низкого ложа буквально кишел крысами. Бешеные, наглые, жадные, они пристально смотрели на меня красными глазами, будто только и ждали, когда я перестану шевелиться, чтобы тотчас сделать меня своей добычей. «К какой же пище,— думал я,— привыкли они в подземелье?»

Как ни старался я отгонять их от миски, они съели почти все ее содержимое, оставя лишь жалкие объедки. Я однообразно махал рукой над миской, и из-за этой бессознательной монотонности движения мои перестали оказывать действия на хищников. Прожорливые твари то и дело кусали меня за пальцы. И вот последними остатками жирного, остро пахучего мяса я тщательно натер свои путы там, где сумел дотянуться до них; потом я поднял руку с пола и, затаив дыханье, замер.

Сначала ненасытных животных поразила и спугнула внезапная перемена — моя новая неподвижная поза. Они отпрянули; иные метнулись обратно к щели. Но лишь на мгновенье. Не напрасно рассчитывал я на их алчность. Заметя, что я не шевелюсь, две-три самых наглых вспрыгнули на мою подставку и стали обнюхивать подпругу. Прочие будто только ждали сигнала. Новые полчища хлынули из щели. Они запрудили все мое ложе и сотнями попрыгали прямо на меня. Мерное движенье маятника ничуть им не препятствовало. Увертываясь от ударов, они занялись умащенной подпругой. Они теснились, толкались, они толпились на моем теле, все вырастая в числе. Они метались по моему горлу; их холодные пасти тыкались в мои губы; они чуть не удушили меня. Омерзение, которого не передать никакими словами, мучило меня, леденило тяжким, липким ужасом. Но еще минута — и я понял, что скоро все будет позади. Я явственно ощутил, что ремень расслабился. Значит, крысы уже перегрызли его. Нечеловеческим усилием я заставлял себя лежать *тихо*.

Нет, я не ошибся в своих расчетах, я не напрасно терпел. Наконец я почувствовал, что *свободен*. Подпруга висела на мне обрывками. Но маятник уже коснулся моей груди. Он распорол мешковину. Он разрезал белье под нею. Еще два взмаха — и острая боль пронзила меня насквозь. Но миг спасенья настал. Мановением руки я обратил в бегство своих избавителей. Продуманным движеньем — осторожно, боком, косо, медленно — я скользнул прочь из ремней так, чтобы меня не доставал ятаган. Хоть на мгновенье, но я был свободен.

Свободен! И в тисках инквизиции! Едва ступил я с деревянного ложа пыток на каменный тюремный пол, как адская машина перестала качаться, поднялась, и незримые силы унесли ее сквозь потолок. Печальный урок этот привел меня в отчаяние.

За каждым движением моим следят. Свободен! Я всего лишь избегнул одной смертной муки ради другой муки, горшей, быть может, чем сама смерть. Подумав так, я стал беспокойно разглядывать железные стены, отделявшие меня от мира. Какая-то странность — перемена, которую я не вдруг осознал,— без сомненья, случилась в темнице. На несколько минут я забылся в тревожных мыслях; я терялся в тщетных, бессвязных догадках. Тут я впервые распознал источник зеленоватого света, освещавшего камеру. Он шел из прорехи с полдюйма шириной, которая опоясывала всю темницу по низу стен, совершенно отделяя их от пола. Я пригнулся, пытаясь заглянуть в проем, разумеется, безуспешно.

Когда я распрямился, мне вдруг открылась тайна происшедшей в камере перемены. Я уже говорил, что, хотя роспись на стенах по очертаниям была достаточно четкой, краски как будто размылись и поблекли. Сейчас же они обрели и на глазах обретали пугающую, немыслимую яркость, от которой портреты духов и чертей принимали вид, непереносимый и для нервов более крепких, чем мои. Бесовские взоры с безумной, страшной живостью устремлялись на меня отовсюду, с тех мест, где только что их не было и помину, и сверкали мрачным огнем, который я, как ни напрягал воображение, не мог счесть ненастоящим.

Ненастоящим! Да ведь уже до моих ноздрей добирался запах раскаленного железа! Тюрьма наполнялась удушливым жаром. С каждым мигом все жарче горели глаза, уставившиеся на мои муки. Все гуще заливал багрец намалеванные кровавые ужасы. Я ловил ртом воздух! Я задыхался! Так вот что затеяли мои мучители! Безжалостные! О! Адские отродья! Я бросился подальше от раскаленного металла на середину камеры. При мысли о том, что огонь вот-вот спалит меня дотла, прохлада колодца показалась мне отрадой. Я метнулся к роковому краю. Я жадно заглянул внутрь. Отблески пылающей кровли высвечивали колодец до дна. И все же в первый миг разум мой отказывался принять безумный смысл того, что я увидел. Но страшная правда силой вторглась в душу, овладела ею, опалила противящийся разум. О! Господи! Чудовищно! Только не это! С воплем отшатнулся я от колодца, спрятал лицо в ладонях и горько заплакал.

Жар быстро нарастал, и я снова огляделся, дрожа, как в лихорадке. В камере случилась новая перемена, на сей раз менялась ее форма. Как и прежде, сначала я тщетно пытался понять, что творится вокруг. Но недолго терялся я в догадках. Двукратное мое спасенье подстрекнуло инквизиторскую месть, игра в прятки с Костлявой шла к концу. Камера была квадратная. Сейчас я увидел, что два железных угла стали острыми и два других, следственно, тупыми. Страшная разность все увеличивалась с каким-то глухим не то грохотом, не то стоном. Камера тотчас приняла форму ромба. Но изменение не прекращалось — да я этого и не ждал и не хотел. Я готов был прижать красные стены к груди, как покровы вечного покоя. «Смерть,—

думал я,— любая смерть, только бы не в колодце!» Глупец! Как было сразу не понять, что в колодец-то и загонит меня раскаленное железо! Разве можно выдержать его жар? И тем более устоять против его напора? Все у́же и у́же становился ромб, с быстротой, не оставлявшей времени для размышлений. В самом центре ромба и, разумеется, в самой широкой его части зияла пропасть. Я упирался, но смыкающиеся стены неодолимо подталкивали меня. И вот уже на твердом полу темницы не осталось ни дюйма для моего обожженного, корчащегося тела. Я не сопротивлялся более, но муки души вылились в громком, долгом, отчаянном крике. Вот я уже закачался на самом краю — я отвел глаза...

И вдруг — нестройный шум голосов! Громкий рев, словно множество труб! Гулкий грохот, подобный тысяче громов! Огненные стены отступили! Кто-то схватил меня за руку, когда я, теряя сознанье, уже падал в пропасть. То был генерал Лассаль.

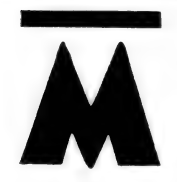
Французские войска вступили в Толедо. Инквизиция была во власти своих врагов.

5 Заказ 59

ТАЙНА МАРИ РОЖЕ [1]

(Дополнение к Убийству
на улице Морг)

> Параллельно с реальными событиями существует идеальная их последовательность. Они редко полностью совпадают. Люди и обстоятельства обычно изменяют идеальную цепь событий, а потому она кажется несовершенной, и следствия ее равно несовершенны. Так было с реформацией — взамен протестантства явилось лютеранство.
>
> *Новалис. Взгляд на мораль*



АЛО КАКОМУ ДАЖЕ САМОМУ РАССУДОЧНОМУ человеку не случалось порой со смутным волнением почти уверовать в сверхъестественное, столкнувшись с совпадением настолько поразительным, что разум отказывается признать его всего лишь игрой случая. Подобные ощущения (ибо смутная вера, о которой я говорю, никогда полностью не претворяется в мысль) редко удается до конца подавить иначе, как прибегнув к доктрине случайности или — воспользуемся специальным ее наименованием — к теории вероятности. Теория же эта является по самой своей сути чисто математической; и, таким образом, возникает парадокс — наиболее строгое и точное из всего, что дает нам наука, прилагается к теням и призракам наиболее неуловимого в области мысленных предположений.

Невероятные подробности, которые я призван теперь сделать достоянием гласности, будучи взяты в хронологической их последовательности, складываются в первую ветвь необычайных совпадений, а во второй и заключительной их ветви

---

[1] «Мари Роже» впервые была опубликована без примечаний, поскольку тогда они казались излишними; однако со времени трагедии, которая легла в основу этой истории, прошли годы, а потому появилась нужда и в примечаниях, и в небольшом вступлении, объясняющем суть дела. В окрестностях Нью-Йорка была убита молодая девушка Мэри Сесилия Роджерс, и хотя это убийство вызвало большое волнение и очень долго оставалось в центре внимания публики, его тайна еще не была раскрыта в тот момент, когда был написан и опубликован настоящий рассказ (в ноябре 1842 года). Автор, якобы описывая судьбу французской гризетки, на самом деле точно и со всеми подробностями воспроизвел основные факты убийства Мэри Роджерс, ограничиваясь параллелизмами в менее существенных деталях.

все читатели, несомненно, узнают недавнее убийство в Нью-Йорке Мэри Сесилии Роджерс.

Когда в статье, озаглавленной «Убийство на улице Морг», я год назад попытался описать некоторые примечательные особенности мышления моего друга шевалье С.-Огюста Дюпена, мне и в голову не приходило, что я когда-нибудь вновь вернусь к этой теме. Именно это описание было моей целью, и она нашла свое полное осуществление в рассказе о прихотливой цепи происшествий, которые позволили раскрыться особому таланту Дюпена. Я мог бы привести и другие примеры, но они не доказали бы ничего, кроме уже доказанного. Однако удивительный поворот недавних событий нежданно открыл мне новые подробности, которые облекаются в подобие вынужденной исповеди. После того, что мне довелось услышать совсем недавно, было бы странно, если бы я продолжал хранить молчание относительно того, что я слышал и видел задолго перед этим.

Раскрыв тайну трагической гибели мадам Л'Эспанэ и ее дочери, шевалье тотчас выбросил все это дело из головы и возвратился к привычным меланхолическим раздумьям. Его настроение вполне отвечало моему неизменному тяготению к отрешенности, и, как прежде замкнувшись в нашем тихом приюте в предместье Сен-Жермен, мы оставили Будущее на волю судьбы и предались безмятежному спокойствию Настоящего, творя грезы из окружающего нас скучного мира.

Но эти грезы время от времени нарушались. Нетрудно догадаться, что роль моего друга в драме, разыгравшейся на улице Морг, не могла не произвести значительного впечатления на парижскую полицию. У ее агентов имя Дюпена превратилось в присловье. Того простого хода рассуждений, который помог ему раскрыть тайну, он, кроме меня, не сообщил никому — даже префекту,— а потому не удивительно, что непосвященным эта история представлялась истинным чудом, и аналитический талант шевалье принес ему славу провидца. Если бы он отвечал на любопытные расспросы с достаточной откровенностью, это заблуждение скоро рассеялось бы, но душевная леность делала для него невозможным какое бы то ни было возвращение к теме, которая давно уже перестала

«Тайна Мари Роже» писалась вдали от сцены зверского убийства, и, расследуя его, автор мог пользоваться только сведениями, опубликованными в газетах. В результате от него ускользнуло многое из того, чем он мог бы воспользоваться, если бы лично побывал на месте происшествия. Тем не менее будет, пожалуй, нелишним указать, что признания двух лиц (одно из них выведено в рассказе под именем мадам Дюлюк), сделанные независимо друг от друга и много времени спустя после опубликования рассказа, полностью подтвердили не только общий вывод, но и абсолютно все основные предположения, на которых был этот вывод построен. *(Примеч. автора.)*

интересовать его самого. Вот почему взгляды полицейских постоянно устремлялись к нему и префектура вновь и вновь пыталась прибегнуть к его услугам. Одна из наиболее примечательных таких попыток была вызвана убийством молоденькой девушки по имени Мари Роже.

Это случилось года через два после жуткого события на улице Морг. Мари (поразительное совпадение ее имени и фамилии с именем и фамилией злополучной продавщицы сигар сразу бросается в глаза) была единственной дочерью вдовы Эстеллы Роже. Ее отец умер, когда она была еще младенцем, и вплоть до последних полутора лет перед убийством, о котором пойдет речь в этом повествовании, мать и дочь жили вместе на улице Паве-Сент-Андре [1]. Мадам Роже содержала пансион, а Мари ей помогала. Так продолжалось до тех пор, пока Мари не исполнилось двадцать два года — а тогда ее редкая красота привлекла внимание парфюмера, снимавшего лавку в нижнем этаже Пале-Рояля и числившего среди своих клиентов почти одних только отчаянных искателей легкой наживы, которыми кишит этот квартал. Мосье Леблан [2] отлично понимал, что присутствие красавицы Мари в его лавке может принести ему немалые выгоды, и его щедрые посулы сразу же прельстили девушку, хотя ее маменька выказала гораздо больше нерешительности.

Надежды парфюмера вполне сбылись, и его заведение благодаря чарам бойкой гризетки скоро приобрело значительную популярность. Мари уже служила у мосье Леблана около года, когда она внезапно исчезла из его лавки, повергнув своих поклонников в большое смятение. Мосье Леблан не знал, чем объяснить ее отсутствие, а мадам Роже была вне себя от тревоги и страшных опасений. Происшествие попало в газеты, и полиция уже собиралась начать серьезное расследование, как вдруг в одно прекрасное утро ровно через неделю Мари вновь появилась на своем обычном месте за прилавком, живая и здоровая, хотя как будто и погрустневшая. Официальное расследование было, конечно, немедленно прекращено, а на все расспросы мосье Леблан по-прежнему отговаривался полным неведением, мадам же Роже и Мари отвечали, что прошлую неделю она гостила у родственницы в деревне. На том дело и кончилось, а затем и вовсе изгладилось из памяти публики, тем более что девушка, желая, по-видимому, избежать назойливого внимания любопытных, вскоре навсегда покинула парфюмера и вернулась в материнский дом на улице Паве-Сент-Андре.

Примерно через три года после возвращения Мари к матери ее друзья были встревожены новым внезапным исчезновением девушки. Три дня о ней ничего не было известно.

---

[1] Нассау-стрит.
[2] Андерсон.

На четвертый день ее труп обнаружили в Сене[1] — у берега, противоположного тому, на котором находится квартал Сент-Андре, в пустынных окрестностях заставы Дюруль[2].

Столь зверское убийство (в том, что это — убийство, никаких сомнений быть не могло), молодость и красота жертвы, а главное, ее недавняя известность пробудили живейший интерес падких до сенсаций парижан. Я не припомню никакого другого происшествия, которое вызвало бы столь всеобщее и сильное волнение. В течение нескольких недель эта тема была злобой дня, заслонившей даже важнейшие политические события. Префект усердствовал больше обыкновенного, и парижская полиция, разумеется, совсем сбилась с ног.

Когда труп нашли, все были убеждены, что немедленно предпринятые поиски убийцы увенчаются самым скорым результатом. И только через неделю наконец сочли нужным предложить награду за его поимку, но даже и тогда сумма была ограничена всего лишь тысячью франками. Следствие тем временем велось весьма энергично, если не всегда разумно, очень много разных людей подверглось ни к чему не приведшим допросам, и отсутствие даже самых слабых намеков на разгадку тайны все больше и больше подогревало интерес к ней. На десятый день пришлось удвоить обещанную награду, а когда по истечении второй недели дело не сдвинулось с места и недовольство полицией, никогда не угасающее в Париже, успело несколько раз привести к уличным беспорядкам, префект лично предложил награду в двадцать тысяч франков «за изобличение убийцы» или же, если бы участников преступления оказалось несколько, «за изобличение кого-либо из убийц». В объявлении об этой награде, кроме того, содержалось обещание полного помилования любому сообщнику, который донес бы на своих соучастников; и к нему, где бы оно ни вывешивалось, присовокуплялось объявление комитета частных граждан, обещавшего добавить десять тысяч франков к сумме, назначенной префектом. Таким образом, в целом награда составляла тридцать тысяч франков: сумма неслыханная, если вспомнить более чем скромное положение девушки и то обстоятельство, что в больших городах подобные возмутительные преступления — отнюдь не редкость.

Теперь уже никто не сомневался, что тайна этого убийства будет немедленно раскрыта. И правда, были произведены два-три ареста, однако никаких улик против подозреваемых обнаружить не удалось и их пришлось тут же освободить.

Как ни удивительно, мы с Дюпеном впервые услышали об этом событии, столь взволновавшем общественное мнение, только когда миновала третья неделя после обнаружения трупа — неделя, также не бросившая никакого света на происшедшее. Мы были всецело поглощены одним исследованием

---

[1] Гудзон.
[2] Уихокен.

и более месяца не выходили из дома, не принимали посетителей и едва проглядывали политические статьи в ежедневно доставлявшейся нам газете. И первое известие об убийстве Мари Роже нам принес сам Г. Он зашел к нам днем 13 июля 18... года и просидел у нас до поздней ночи. Ему было крайне досадно, что все его усилия разыскать убийц ни к чему не привели. На карту поставлена, заявил он с чисто парижским жестом, его репутация. Более того — его честь! К нему прикованы глаза всего общества, и нет жертвы, которую он не принес бы ради раскрытия тайны. Свою несколько витиеватую речь он заключил комплиментом касательно того, что соизволил назвать «тактом» Дюпена, и обратился к моему другу с прямым и, бесспорно, щедрым предложением, о котором я не считаю себя вправе сообщить что-либо, но которое не имеет ни малейшего отношения к непосредственной теме моего повествования.

Комплимент мой друг по мере сил отклонил, но на предложение тотчас согласился, хотя его выгоды оставались пока условными. Покончив с этим, префект немедленно принялся излагать свою собственную точку зрения, уснащая объяснение многочисленными рассуждениями, касавшимися обстоятельств дела, о которых мы еще ничего не знали. Он говорил долго, проявляя, без сомнения, немалую осведомленность, я иногда осмеливался высказать скромное предположение, а дремотные часы ночи проходили один за другим. Дюпен неподвижно сидел в своем кресле, как истое воплощение почтительного внимания. На нем были очки, и, исподтишка заглядывая под их зеленые стекла, я вновь и вновь убеждался, что мой друг крепко спит,— ничем себя не выдав, он так и проспал все семь свинцово-медлительных часов, по истечении которых префект наконец удалился.

Утром я получил в префектуре полное изложение всех собранных фактов, а в газетных редакциях — экземпляры всех газет, в которых были опубликованы какие бы то ни было сведения об этой трагедии. Очищенная от всех безусловно опровергнутых выдумок, история выглядела следующим образом.

Мари Роже вышла из дома своей матери на улице Паве-Сент-Андре около девяти часов утра в воскресенье 22 июня 18... года. Уходя, она сообщила некоему мосье Жаку Сент-Эсташу [1] — и только ему,— что намерена провести день у своей тетки, которая живет на улице Дром. Узенькая, короткая, но оживленная улица Дром находится неподалеку от берега Сены, и от пансиона мадам Роже ее отделяют две с лишним мили, даже если идти кратчайшим путем. Сент-Эсташ был официальным женихом Мари и не только столовался, но и жил в пансионе. Он должен был зайти за своей невестой под вечер и проводить ее домой. Однако во второй половине дня полил сильный дождь, и, полагая, что Мари предпочтет

---

[1] Пейн.

переночевать у тетки (как она уже не раз делала при подобных обстоятельствах), он не счел нужным сдержать свое обещание. Вечером мадам Роже (больная семидесятилетняя старуха) выразила опасение, что она «уже больше никогда не увидит Мари», но тогда никто не обратил на ее слова особого внимания.

В понедельник выяснилось, что Мари вообще не заходила к тетке, и когда к вечеру она не вернулась, ее с большим запозданием принялись искать в тех местах города и окрестностей, где она могла бы оказаться. Однако узнать о ней что-то определенное удалось только на четвертый день с момента ее исчезновения. В этот день (в среду 25 июня) некий мосье Бове[1], который вместе с приятелем наводил справки о Мари в окрестностях заставы Дюруль на противоположном берегу Сены, услышал, что рыбаки только что доставили на берег труп, который плыл по реке. Увидев тело, Бове после некоторых колебаний опознал бывшую продавщицу из парфюмерной лавки. Его приятель опознал ее сразу же.

Лицо мертвой было налито темной кровью, которая сочилась изо рта. Пены, какая бывает у обыкновенных утопленников, заметно не было. На горле виднелись синяки и следы пальцев. Согнутые в локтях и скрещенные на груди руки окостенели. Пальцы правой были сжаты в кулак, пальцы левой полусогнуты. На левой кисти имелись два кольцевых рубца, как будто оставленные веревками или одной веревкой, но обвитой вокруг руки несколько раз. На правой кисти имелись ссадины, так же как и на всей спине — особенно в области лопаток. Чтобы доставить труп на берег, рыбаки захлестнули его веревкой, но она никаких рубцов не оставила. Шея была сильно вздута. На теле не было заметно ни порезов, ни синяков, причиненных ударами. Шея была перехвачена обрывком кружев, затянутым так туго, что складки кожи совершенно скрывали его от взгляда. Он был завязан узлом, находившимся под левым ухом. Одного этого было достаточно, чтобы вызвать смерть. Протокол медицинского осмотра не оставлял ни малейших сомнений в целомудрии покойной. Она, указывалось в нем, подверглась грубому насилию. Состояние трупа в момент его обнаружения позволяло легко опознать его.

Одежда была сильно изорвана и приведена в полнейший беспорядок. Из верхней юбки от подола к талии была вырвана полоса дюймов в двенадцать шириной, но не оторвана совсем, а трижды обвернута вокруг талии и закреплена на спине скользящим узлом. Вторая юбка была из тонкого муслина, и от нее была оторвана полоса шириной дюймов в восемнадцать — оторвана полностью и очень аккуратно. Эта полоса муслина была свободно обвернута вокруг шеи и завязана неподвижным узлом. Поверх этой муслиновой полосы и обрывка кружев проходили ленты шляпки. Эти ленты были

[1] Кроммелин.

завязаны не бантом, как их завязывают женщины, а морским узлом.

После опознания труп против обыкновения не был увезен в морг (это сочли излишней формальностью), а поспешно погребен неподалеку от того места, где его вытащили на берег. Благодаря усилиям Бове дело, насколько это было возможно, замяли, и прошло несколько дней, прежде чем оно привлекло внимание публики. Затем, однако, им занялась еженедельная газета [1], труп был эксгумирован и вновь подвергнут осмотру, но ничего, помимо вышеописанного, обнаружено не было. Правда, на этот раз платье, шляпку и прочее предъявили матери и знакомым покойной, и они без колебаний опознали в них одежду, в которой девушка ушла из дома в то утро.

Тем временем возбуждение публики росло с каждым часом. Несколько человек было арестовано, но отпущено. Главное подозрение падало на Сент-Эсташа, и вначале он не сумел достаточно убедительно объяснить, как он провел роковое воскресенье. Однако вскоре он представил мосье Г. в письменном виде точные сведения о том, где и когда он был в этот день, подкрепленные надежными свидетельскими показаниями. По мере того как дни проходили, не принося никаких новых открытий, по городу начали распространяться тысячи противоречивых слухов, а журналисты принялись строить всевозможные догадки и предположения. Среди этих последних наибольший интерес вызвало утверждение, будто Мари Роже жива, а из Сены был извлечен труп какой-то другой несчастной девушки. Я считаю своим долгом познакомить читателя с отрывками из статьи, содержавшей вышеуказанное предположение и опубликованной в «Этуаль» [2] — газете достаточно солидной.

«Мадемуазель Роже ушла из материнского дома утром в воскресенье 22 июня 18... года, объявив, что намерена навестить тетку или какую-то другую родственницу, проживающую на улице Дром. С этого момента, насколько удалось установить, ее никто не видел. Она исчезла бесследно, и ее судьба остается неизвестной... До сих пор не нашлось ни одного свидетеля, который видел бы ее в тот день после того, как за ней закрылась дверь материнского дома... Итак, хотя мы не можем утверждать, что Мари Роже пребывала в мире живых после девяти часов утра воскресенья 22 июня, у нас есть неопровержимые доказательства, что до этого часа она была жива и здорова. В среду в двенадцать часов дня в Сене у заставы Дюруль был обнаружен женский труп. Это произошло — даже если предположить, что Мари Роже бросили в реку не позже чем через три часа после того, как она ушла из дому,— всего лишь через трое суток после ее ухода, через трое суток час в час. Однако было бы чистейшей нелепостью

---

[1] Нью-йоркская «Меркюри».
[2] Нью-йоркская «Бразер Джонатан».

считать, будто убийство (если она действительно была убита) могло совершиться настолько быстро после ее ухода, что убийцы успели бросить тело в реку до полуночи. Те, кто творит столь гнусные преступления, предпочитают ночной мрак свету дня... Другими словами, если тело, найденное в реке, это действительно тело Мари Роже, оно могло пробыть в воде не более двух с половиной или — с большой натяжкой — ровно трех суток. Как показывает весь прошлый опыт, тела утопленников или тела жертв убийства, брошенные в реку вскоре после наступления смерти, всплывают, только когда процесс разложения зайдет достаточно далеко, то есть не ранее, чем через шесть — десять дней. Даже в тех случаях, когда такой труп всплывает ранее пяти-шести дней, так как над ним выстрелили из пушки, он вскоре вновь опускается на дно, если его не успеют извлечь из воды. Итак, мы должны задать себе вопрос, что в этом случае вызвало отклонение от обычных законов природы? ...Если же изуродованное тело пролежало на берегу до ночи со вторника на среду, в этом месте должны были бы отыскаться какие-нибудь следы убийц. Кроме того, представляется сомнительным, чтобы труп всплыл так скоро, даже если его бросили в реку через два дня после убийства. И далее, весьма маловероятно, чтобы злодеи, совершившие убийство, вроде предполагающегося здесь, бросили тело в воду, не привязав к нему предварительно какого-нибудь груза, когда принять подобную предосторожность не составило бы ни малейшего труда».

По мнению автора статьи, этот труп должен был пробыть в воде «не каких-то трое суток, а впятеро дольше», поскольку разложение зашло так далеко, что Бове не сразу его опознал. Однако этот довод был полностью опровергнут. Затем в статье говорилось:

«Так каковы же факты, ссылаясь на которые мосье Бове утверждает, будто убитая — без сомнения, Мари Роже? Он разорвал рукав платья убитой и теперь заявляет, что видел особые приметы, вполне его удовлетворившие. Широкой публике, конечно, представляется, что под этими особыми приметами подразумеваются шрамы или родинки. На самом же деле он потер руку и обнаружил — волоски! На наш взгляд, трудно найти менее определенную примету, и убедительна она не более, чем ссылка на то, что в рукаве обнаружилась рука! В этот вечер мосье Бове не вернулся в пансион, а в семь часов послал мадам Роже известие, что расследование касательно ее дочери все еще продолжается. Если даже допустить, что преклонный возраст и горе мадам Роже не позволяли ей самой побывать там (а допустить это очень нелегко!), то, несомненно, должен был найтись кто-то, кто счел бы необходимым поспешить туда и принять участие в расследовании, если они были уверены, что это действительно тело Мари. Но никто туда не отправился. Обитателям дома на улице Паве-Сент-Андре вообще ничего не было сказано, и они даже не слыхали о том, что произошло. Мосье Сент-Эсташ, поклон-

ник и жених Мари, живший в пансионе ее матери, показал под присягой, что про обнаружение тела своей нареченной он узнал только на следующее утро, когда к нему в спальню вошел мосье Бове и рассказал ему о событиях прошлого вечера. Нам кажется, что, учитывая характер новости, она была принята весьма спокойно и хладнокровно».

Вот так газета стремилась создать впечатление, что близкие Мари оставались равнодушными и бездеятельными — картина, несовместимая с предположением, будто они верили, что найден действительно ее труп. Эти инсинуации вкратце сводились к следующему: Мари при пособничестве своих друзей покинула город по причинам, бросающим тень на ее добродетель, и когда из Сены был извлечен труп, имевший некоторое сходство с исчезнувшей девушкой, указанные друзья воспользовались этим, чтобы внушить всем мысль, будто она мертва. Однако «Этуаль» опять излишне поторопилась. Выяснилось, что равнодушие и бездеятельность целиком относятся к области вымыслов, что старушка действительно была очень слаба и волнение лишило ее последних сил, что Сент-Эсташ не только не выслушал это известие с полным хладнокровием, но совсем обезумел от горя, и мосье Бове, увидя его отчаяние, убедил кого-то из его родственников остаться с ним и помешать ему отправиться на эксгумацию. Более того, хотя «Этуаль» объявила, что труп был вторично погребен на общественный счет, что близкие Мари Роже наотрез отказались оплатить даже очень дешевые похороны и что никто из них не присутствовал на церемонии,— хотя, повторяю, «Этуаль» утверждала все это для подкрепления впечатления, которое она стремилась создать у своих читателей, каждое из перечисленных утверждений было решительным образом опровергнуто. В одном из последующих номеров этой газеты была предпринята попытка бросить подозрение на самого Бове. Редактор в своей статье заявил:

«И вот все изменяется. Нам сообщают, что однажды, когда в доме мадам Роже находилась мадам Б., мосье Бове, собиравшийся уходить, сообщил ей, что они ждут жандарма и что она, мадам Б., не должна ничего говорить жандарму до его возвращения, а предоставить все объяснения ему... В настоящий момент, насколько можно заключить, мосье Бове хранит в своей голове все обстоятельства дела. Без мосье Бове буквально нельзя и шагу ступить, ибо, куда ни поворачиваешь, обязательно натыкаешься на него... По какой-то причине он твердо решил не позволять никому другому принимать участие в расследовании и, как утверждают родственники мужского пола, он оттер их в сторону самым странным образом. Он, как кажется, всячески старался воспрепятствовать тому, чтобы родственники увидели труп».

Нижеследующий факт как будто подтверждает подозрения, брошенные на Бове этой статьей. За несколько дней до исчезновения девушки какой-то посетитель, оставшись один в конторе Бове, заметил в замочной скважине розу, а на висев-

шей поблизости грифельной доске было написано «Мари».

Общее мнение, однако, насколько мы могли судить по газетам, склонялось к тому, что Мари стала жертвой шайки бандитов, которые увезли ее на тот берег реки, надругались над ней и убили. Однако «Коммерсьель»[1], газета весьма влиятельная, всячески оспаривала это предположение. Я приведу несколько абзацев с ее страниц.

«Мы убеждены, что следствие все это время в той мере, в какой оно занималось заставой Дюруль, шло по ложному следу. Невозможно предположить, чтобы кто-нибудь, столь известный публике, как это молодая особа, мог пройти незамеченным три квартала, а увидевшие ее люди не забыли бы об этом, так как ею интересовались все, кому она была известна. И вышла она из дома в час, когда улицы были полны народа... Прежде чем она достигла бы заставы Дюруль или улицы Дром, ее неизбежно узнали бы два десятка прохожих, и все же не нашлось ни одного свидетеля, который видел бы ее после ухода из дому, и, кроме сообщения о выраженных ею намерениях, мы не располагаем никакими доказательствами того, что она действительно покинула материнский дом именно тогда. Ее платье было разорвано, полоса материи была обмотана вокруг ее тела и завязана так, что труп можно было нести, точно узел. Если убийство произошло возле заставы Дюруль, не было бы никаких причин проделывать все это. То обстоятельство, что тело было обнаружено в реке неподалеку от заставы, вовсе не показывает, где именно оно было брошено в воду... От одной из нижних юбок злосчастной девушки был оторван кусок длиной в два фута и шириной в фут, и из него была устроена повязка, проходившая под ее подбородком и затянутая узлом у затылка. Проделано это, возможно, было для того, чтобы помешать ей кричать, и сделали это субъекты, не располагающие носовыми платками».

Однако за день-два до появления у нас префекта полиция получила важные сведения, которые, по-видимому, опровергли большую часть рассуждений «Коммерсьель». Два мальчика, сыновья некоей мадам Дюлюк, гуляя в лесу неподалеку от заставы Дюруль, обнаружили в густом кустарнике сооруженное из трех-четырех больших камней сиденье со спинкой и приступкой для ног. На верхнем камне лежала белая нижняя юбка, на втором — шелковый шарф. Поблизости были затем найдены зонтик, перчатки и носовой платок. На носовом платке была вышита метка «Мари Роже». На ветвях колючих кустов висели лоскутки материи. Земля была утоптана, кусты поломаны — все там свидетельствовало об отчаянной борьбе. Далее, в изгородях, находящихся между этой чащей и рекой, были обнаружены проломы, а следы на почве показывали, что тут волочили что-то тяжелое.

---

[1] Нью-йоркская «Джорнел оф коммерс».

Еженедельник «Солей» [1], повторяя мнение всей парижской прессы, оценил эти находки следующим образом:

«Все эти вещи, несомненно, пролежали там не менее трех-четырех недель; под действием дождя они проплесневели насквозь и слиплись от плесени. Вокруг выросла трава, а кое-где стебли проросли и сквозь них. Шелк на зонтике был толстым, но складки его склеились, а верхняя сложенная часть настолько проплесневела и сгнила, что, когда его раскрыли, он весь расползся... Лоскутки, вырванные из платья колючками, имели в ширину примерно три дюйма, а в длину — шесть. Один оказался куском нижней оборки со штопкой, а другой был вырван из юбки гораздо выше оборки. Они выглядели так, словно были оторваны, и висели на терновнике в футе над землей... Не может быть никаких сомнений, что место, где совершилось это гнусное преступление, наконец найдено».

Это открытие помогло получить новые сведения. Мадам Дюлюк показала, что она содержит небольшой трактир на берегу Сены неподалеку от заставы Дюруль. Места вокруг пустынные, можно даже сказать — глухие. Добраться туда от Парижа можно только на лодке. Их облюбовало для воскресных развлечений городское отребье. В роковое воскресенье примерно в три часа дня в трактир зашла молодая девушка, которую сопровождал смуглый молодой человек. Они пробыли там некоторое время, а потом ушли, направившись к расположенному по соседству густому лесу. Мадам Дюлюк хорошо заметила платье девушки, потому что оно напомнило ей платье одной ее недавно скончавшейся родственницы. Особенно хорошо она рассмотрела шарф. Вскоре после ухода молодой пары в трактир ввалилась компания хулиганов, которые вели себя очень буйно, не заплатили за то, что съели и выпили, ушли в том же направлении, какое избрали молодой человек и девушка, вернулись в трактир, когда начало смеркаться, и переправились на другой берег как будто в большой спешке.

В тот же вечер, вскоре после того как совсем стемнело, мадам Дюлюк и ее старший сын слышали женские крики неподалеку от трактира. Крики были очень громкими, но вскоре оборвались. Мадам Д. опознала не только шарф, но и платье, которое было на трупе. Кучер омнибуса, по фамилии Валанс [2], теперь также показал, что видел в это воскресенье, как Мари переправлялась через Сену в обществе смуглого молодого человека. Он, Валанс, знал Мари и ошибиться не мог. Предметы, найденные в чаще, все были опознаны родственниками Мари.

Сведения, которые я таким образом извлек по просьбе Дюпена из газетных статей, включали, кроме вышеперечисленных, только один факт — но факт этот представлялся весьма многозначительным. После того как в чаще были обнаружены шарф и прочие вещи, неподалеку от того места, которое те-

---

[1] Филадельфийская «Сатердей ивнинг пост».
[2] Адам.

перь все считали местом убийства, было обнаружено безжизненное или почти безжизненное тело Сент-Эсташа, жениха Мари. Возле валялся пустой флакон — на ярлычке было написано «опиум». Дыхание Сент-Эсташа указывало, что он действительно принял этот яд. Он умер, не приходя в сознание. В кармане у него была найдена записка: коротко упомянув о своей любви к Мари, он сообщал, что намерен наложить на себя руки.

— Мне, разумеется, незачем говорить вам,— сказал Дюпен, внимательно прочитав мои заметки,— что это куда более запутанное дело, чем убийство на улице Морг, от которого оно отличается в одном очень важном отношении, так как представляет собой хотя и зверски-жестокое, но ординарное преступление. В нем нет ничего выходящего за рамки обычного. Заметьте, что по этой причине все полагали, будто раскрыть его окажется нетрудно, тогда как именно его заурядность и составляет главный камень преткновения. Вначале ведь даже не сочли нужным назначить награду. Мирмидоняне префекта сразу же представили себе, как и почему могло быть совершено это гнусное преступление. Их воображение было способно нарисовать способ — много способов — его совершения, а также и побудительный мотив — много мотивов. И потому, что какие-то из этих способов и этих мотивов могли оказаться подлинными, им представилось само собой разумеющимся, что один из них и окажется подлинным. Однако легкость, с какой возникали эти различные предположения, и их правдоподобность свидетельствовали о том, что правильное решение найти будет не только не просто, но, наоборот, очень трудно. Я не раз замечал, что в поисках истины логика нащупывает свой путь по отклонениям от обычного и заурядного и что в случаях, подобных этому, следует спрашивать не «что произошло?», а «что произошло необыкновенного, такого, чего не случалось прежде?» Ведя следствие в доме мадам Л'Эспанэ [1], агенты Г. растерялись из-за необычности случившегося, в то время как верно направленный интеллект именно в этой необычности усмотрел бы залог успеха; и тот же самый интеллект с глубоким отчаянием убедился бы в видимой заурядности обстоятельств исчезновения продавщицы парфюмерных товаров, хотя подчиненные префекта как раз в ней увидели обещание легкой победы.

В деле мадам Л'Эспанэ и ее дочери мы с самого начала твердо знали, что речь идет об убийстве. Возможность самоубийства исключалась безусловно. Здесь самоубийство также исключается. Вид трупа, обнаруженного неподалеку от заставы Дюруль, не оставляет никаких сомнений в этом важном вопросе. Однако высказывается предположение, что труп этот — не труп Мари Роже, за поимку убийцы или убийц которой назначена награда и которой касается наш уговор с префек-

[1] См.: «Убийство на улице Морг».

том. Мы оба прекрасно знаем этого господина. И знаем, что слишком доверять ему не следует. Если мы начнем наше расследование с трупа и, отыскав убийцу, тем не менее установим, что это труп какой-то другой женщины, а не Мари, или если мы сразу предположим, что Мари жива и отыщем ее — отыщем целой и невредимой,— то в обоих случаях наши труды пропадут даром, поелику мы имеем дело с мосье Г. Поэтому в наших собственных интересах, если не в интересах правосудия, мы должны с самого начала удостовериться, что найденный в Сене труп — это действительно труп пропавшей Мари Роже.

Доводы «Этуаль» произвели впечатление на публику, да и сама газета убеждена в их неопровержимости, о чем свидетельствует первая строка одной из напечатанных в ней заметок, посвященных делу Мари Роже. «Несколько утренних газет,— начинается эта заметка,— обсуждают исчерпывающую статью в номере «Этуаль» от понедельника». На мой взгляд, эта статья исчерпывающе доказывает только рвение ее автора. Вообще следует помнить, что наши газеты думают главным образом о том, как создать сенсацию, а не о том, как способствовать обнаружению истины. Последнее становится их задачей, только если это способствует достижению первой и главной их цели. Когда печать всего лишь следует общему мнению (каким бы обоснованным оно ни было), она не обеспечивает себе успеха у толпы. Большинство людей считает мудрецом только того, кто высказывает предположение, идущее вразрез с принятыми представлениями. В логических рассуждениях, не менее чем в литературе, наибольшим и незамедлительным успехом пользуется эпиграмма, и в обоих случаях она стоит меньше всего.

Я хочу сказать, что предположение, будто Мари Роже еще жива, было подсказано «Этуаль» неожиданностью и мелодраматичностью подобной идеи, а вовсе не ее правдоподобием — и по той же причине она нашла столь благосклонный прием у публики. Давайте разберем по пунктам рассуждения этой газеты, освободив их от той бессвязности и непоследовательности, с какой они изложены в статье.

Прежде всего ее автор стремится доказать, что между исчезновением Мари и обнаружением в реке плывущего трупа прошло слишком мало времени, а потому это не мог быть ее труп. Для достижения своей цели он стремится елико возможно сократить этот интервал. Такое опрометчивое стремление заставляет его сразу же пустить в ход абсолютно безосновательное предположение. «Было бы чистейшей нелепостью считать,— утверждает он,— будто убийство (если она действительно была убита) могло совершиться настолько быстро после ее ухода, что убийцы успели бросить тело в реку до полуночи». Мы немедленно задаем естественный вопрос: почему? Почему было бы нелепостью предположить, что девушку убили через пять минут после того, как она вышла из дома? Убийства случались во всякое время суток. Но если бы это убийство

произошло в течение воскресенья в любую минуту между девятью часами утра и до без четверти двенадцать ночи, убийцы все-таки успели бы «бросить тело в реку до полуночи». Следовательно, произвольная предпосылка автора статьи, в сущности, сводится к тому, что убийство вообще в воскресенье не произошло, а если мы позволим «Этуаль» исходить из такой предпосылки, то должны будем прощать ей любые вольности. Фраза, начинающаяся словами: «Было бы чистейшей нелепостью считать...» — и т. д., независимо от того, в каком виде она появилась на страницах «Этуаль», была порождена следующей мыслью своего творца: «Было бы чистейшей нелепостью считать, будто убийство (если речь действительно идет об убийстве) могло совершиться настолько быстро после ухода девушки из дома, что убийцы успели бросить тело в реку до полуночи; было бы нелепостью, утверждаем мы, предположить все это и в то же время предположить (как мы твердо решили сделать), что тело было брошено в реку только после полуночи»,— фраза достаточно непоследовательная, но далеко не столь абсурдная, как та, которая появилась в статье.

— Если бы,— продолжал Дюпен,— я хотел просто опровергнуть именно это место в рассуждениях «Этуаль»,— то мог бы спокойно ограничиться уже сказанным. Однако нас интересует не «Этуаль», а истина. Рассматриваемая фраза в ее настоящем виде имеет лишь одно содержание, и это содержание я изложил с полной беспристрастностью, но нам важно, не ограничиваясь только словами, проникнуть в мысль, которую эти слова явно должны были выразить, хотя и не выразили. Журналист хотел сказать, что, независимо от того, утром, днем или вечером в воскресенье было совершено это убийство, убийцы вряд ли осмелились бы доставить труп к реке раньше полуночи. И именно в этих словах прячется та произвольная предпосылка, которую я ставлю ему в упрек. Он без каких-либо оснований исходит из предположения, будто убийство было совершено в таком месте и при таких обстоятельствах, что труп обязательно надо было доставлять к реке. А ведь оно могло произойти на берегу или даже на самой реке — тогда труп мог быть брошен в воду в любое время суток, так как это был бы наиболее легкий и естественный способ избавиться от него. Вы, конечно, понимаете, что я вовсе не считаю наиболее вероятной именно эту возможность и не высказываю своего мнения. Пока еще я не касаюсь реальных фактов дела, а только хочу предостеречь вас против самого тона предположения «Этуаль», обратив ваше внимание на то, что они с самого начала носят характер ex-parte[1].

И вот, предписав ограничение, удобное для ее собственных предвзятых идей, предположив, что этот труп, если он был трупом Мари, мог пробыть в воде лишь очень незначительное время, газета заявляет:

---

[1] Односторонний, предвзятый *(лат.)*.

«Как показывает весь прошлый опыт, тела утопленников или тела жертв убийства, брошенные в воду вскоре после наступления смерти, всплывают, только когда процесс разложения зайдет достаточно далеко, то есть не ранее, чем через шесть — десять дней. Даже в тех случаях, когда такой труп всплывает ранее пяти-шести дней, так как над ним выстрелили из пушки, он вскоре вновь опускается на дно, если его не успеют извлечь из воды».

С этими утверждениями безмолвно согласились все парижские газеты, за исключением «Монитер» [1], которая пытается опровергнуть лишь то место, которое относится к «утопленникам», ссылаясь на пять-шесть случаев, когда тела заведомых утопленников всплывали до истечения срока, указанного «Этуаль». Однако в этой попытке «Монитер» опровергнуть общее утверждение «Этуаль» ссылками на конкретные противоречащие ему примеры есть что-то глубоко нефилософское. Сошлись «Монитер» не на пять, а на пятьдесят трупов, всплывших через двое-трое суток, все равно эти пятьдесят примеров следовало бы считать лишь исключением из правила, установленного «Этуаль», до тех пор, пока не было бы доказано, что само это правило неверно. А если признавать правило («Монитер» же его не отрицает и только указывает на исключения), то рассуждения «Этуаль» сохраняют полную силу, поскольку они касаются всего лишь вероятности того, что труп всплыл до истечения трех суток; и эта вероятность будет свидетельствовать в пользу «Этуаль» до тех пор, пока количество примеров, на которые по-детски ссылаются противники ее выводов, не возрастет до той степени, когда уже можно будет говорить о противоположном правиле.

Как вы могли заметить, все рассуждения касательно этого пункта должны строиться так, чтобы опровергнуть указанное правило, а для этой цели нам следует рассмотреть его рациональную основу. Начнем с того, что в среднем человеческое тело немногим тяжелее или легче воды Сены; другими словами, удельный вес человеческого тела в обычных условиях примерно равен удельному весу пресной воды, которую вытесняет это тело. Тела тучных, дородных людей с тонкими костями и тела подавляющего большинства женщин легче, чем тела худощавых крупнокостных мужчин; а на удельный вес речной воды оказывает влияние наличие морской воды, поступающей в реки с приливной волной. Но даже отбросив это наличие морской воды, все-таки можно утверждать, что даже в пресной воде при отсутствии дополнительных причин тонут лишь немногие человеческие тела. Упавший в реку человек почти никогда не пойдет ко дну, если он позволит весу своего тела прийти в соответствие с весом вытесненной им воды — другими словами, если он погрузится в воду почти целиком. Для людей, не умеющих плавать, наиболее правильной будет вертикальная позиция идущего человека, причем

[1] Нью-йоркская «Коммершиэл адвертайзер».

голову следует откинуть и погрузить в воду так, чтобы над ней оставались только рот и нос. Приняв подобную позу, вы обнаружите, что без всяких усилий и труда держитесь у самой поверхности. Однако совершенно очевидно, что вес человеческого тела и воды, которую оно вытесняет, находятся лишь в весьма хрупком равновесии, так что достаточно ничтожного пустяка, чтобы оно нарушилось в ту или иную сторону. Например, рука, поднятая над водой и тем самым лишенная ее поддержки, представляет собой добавочный вес, которого достаточно, чтобы голова ушла под воду целиком, тогда как случайно схваченный даже небольшой кусок дерева позволит вам приподнять голову и оглядеться. Человек, не умеющий плавать, обычно начинает биться в воде, вскидывает руки и старается держать голову, как всегда, прямо. В результате рот и ноздри оказываются под водой, которая при попытке вздохнуть проникает в легкие. Кроме того, большое ее количество попадает в желудок, и все тело становится тяжелее настолько, насколько вода тяжелее воздуха, наполнявшего эти полости прежде. Как правило, этой разницы достаточно для того, чтобы человек пошел ко дну, но только не в тех случаях, когда речь идет о людях с тонкими костями и излишком жира на теле. Такие люди, и утонув, продолжают держаться на поверхности.

Труп, опустившийся на дно реки, останется там до тех пор, пока по какой-то причине его вес опять не станет меньше веса вытесняемой им воды. Это может быть связано с разложением или с чем-либо еще. В процессе разложения образуется газ, расширяющий клетки в тканях и все полости, что придает мертвым телам ту вздутость, которая производит столь жуткое впечатление. Когда такое расширение приводит к заметному увеличению объема трупа без соответствующего увеличения его массы или веса, он становится легче вытесняемой им воды и всплывает. Однако процесс разложения определяется множеством факторов, он убыстряется или замедляется по множеству причин — тут могут играть роль жара и холод, количество растворенных в воде минеральных веществ, большая или меньшая глубина, наличие или отсутствие течения, температура тела, а также и состояние здоровья человека перед смертью. Таким образом, совершенно очевидно, что мы не можем даже приблизительно указать срок всплытия трупа в результате разложения. В некоторых условиях это произойдет менее чем через час, а в других — не произойдет вовсе. Есть химикалии, способные полностью и навсегда предохранить животные ткани от гниения,— к ним, например, принадлежит двухлористая ртуть. Однако и помимо разложения в желудке в результате брожения растительной массы (или же в других полостях по другим причинам) может образовываться — и обычно образуется — газ, который вызывает расширение тела, достаточное для того, чтобы оно всплыло на поверхность. Пушечный выстрел просто производит сильную вибрацию, которая либо высвобождает труп из ила — и он всплывает, потому что

был уже почти готов всплыть, либо разрушает какую-то часть уже сгнившей клеточной ткани, препятствовавшей расширению полостей под воздействием газа.

Итак, ознакомившись с философской основой этого предмета, мы с ее помощью легко можем проверить справедливость утверждения «Этуаль». «Как показывает весь прошлый опыт,— заявляет эта газета,— тела утопленников или тела жертв убийства, брошенные в реку вскоре после наступления смерти, всплывают, только когда процесс разложения зайдет достаточно далеко, то есть не ранее, чем через шесть — десять дней. Даже в тех случаях, когда такой труп всплывает ранее пяти-шести дней, так как над ним выстрелили из пушки, он вскоре вновь опускается на дно, если его не успевают извлечь из воды».

Теперь весь этот абзац выглядит мешаниной натяжек и несуразностей. Весь прошлый опыт отнюдь не показывает, что телу утопленника обязательно требуется шесть — десять дней, прежде чем оно разложится настолько, чтобы всплыть. И наука, и практический опыт свидетельствуют, что период, предшествующий всплытию, должен быть самым неопределенным — каковым он и является. Если же труп всплывет в результате выстрела из пушки, то он «опускается вновь на дно, если его не успеют извлечь из воды» не «вскоре», а только тогда, когда разложение продвинется настолько далеко, что образовавшийся в теле газ найдет выход наружу. Но я хотел бы обратить ваше внимание на различие, сделанное между «телами утопленников» и «телами жертв убийства, брошенных в реку вскоре после наступления смерти». Хотя автор признает это различие, он тем не менее относит и те и другие тела к одной категории. Я уже объяснил, как именно тело тонущего приобретает больший удельный вес, чем вода, и показал вам, что такой человек не утонул бы, если бы не начал бить руками, высовывая их из воды, и не захлебывался бы, пытаясь вздохнуть, в результате чего в его легкие вместо воздуха попадает вода. Но тело, «брошенное в реку вскоре после наступления смерти», рук не вскидывает и не захлебывается. Следовательно, в этом случае труп, как правило, вообще не утонет — факт, о котором «Этуаль», по-видимому, не осведомлена. Только когда разложение зайдет очень далеко, когда в значительной мере обнажатся кости, только тогда, но не ранее, он скроется под водой.

Так как же должны мы теперь оценивать довод, что найденный труп — это не труп Мари Роже, ибо он плыл по реке, хотя со времени исчезновения девушки прошло всего три дня? Если бы она утонула, то, будучи женщиной, могла вообще не пойти ко дну, а если и пошла, то ее тело могло всплыть меньше чем через сутки. Но ведь никто не высказывает предположения, будто она утонула, а раз ее бросили в воду уже мертвой, тот факт, что тело плыло по реке, ни о каком сроке не говорит: оно и не должно было опускаться на дно.

Но, утверждает «Этуаль», «если изуродованное тело проле-

жало на берегу до ночи со вторника на среду, в этом месте должны были бы отыскаться какие-нибудь следы убийц». Здесь в первый момент трудно распознать, куда клонит автор. На самом же деле он хочет предвосхитить возможное возражение против его теории — а именно, что тело оставили лежать двое суток на берегу, где оно разлагалось быстро, быстрее, чем под водой. Он предполагает, что в этом случае оно могло бы всплыть уже в среду, и считает, что всплыть оно могло только при подобных обстоятельствах. А поэтому он торопится показать, что на берегу его не оставляли, ибо тогда «в этом месте должны были бы отыскаться какие-нибудь следы убийц». Полагаю, ваша улыбка вызвана столь неожиданной причинной связью. Вам непонятно, каким образом одна лишь длительность пребывания трупа на берегу могла способствовать умножению следов, оставленных убийцами. Непонятно это и мне.

«И далее, весьма маловероятно,— продолжает наша газета,— чтобы злодеи, совершившие убийство вроде предполагающегося здесь, бросили тело в воду, не привязав к нему предварительно какого-нибудь груза, когда принять подобную предосторожность не составило бы никакого труда». Заметьте, какая смехотворная путаница мыслей! Никто — ни даже «Этуаль» — не оспаривает, что женщина, чей труп был извлечен из Сены, была убита. Признаки насильственной смерти слишком уж очевидны. Наш автор ставит себе всего лишь одну цель: убедить читателей, что эта убитая — не Мари. Он стремится доказать не то, что не была убита женщина, чей труп найден, а что не была убита Мари. Однако этот его довод может служить только доказательством первого. Перед нами труп, к которому не привязано никакого груза. Убийцы, бросая его в воду, обязательно привязали бы к нему груз. Отсюда следует, что убийцы его в воду не бросали. Больше ничего подобный аргумент не доказывает — если он вообще что-либо доказывает. Вопрос о личности убитой даже не затрагивается, а «Этуаль» пускается тут в сложные рассуждения всего лишь для того, чтобы опровергнуть собственное признание, которое было сделано несколькими строчками выше: «Мы твердо убеждены,— говорится в них,— что найденное тело — несомненно, труп убитой женщины».

И это — отнюдь не единственный случай, когда наш автор невольно опровергает сам себя даже только в этой части своих рассуждений. Он, как я уже говорил, несомненно ставит себе целью елико возможно сократить промежуток между исчезновением Мари и обнаружением трупа. Тем не менее он настойчиво подчеркивает, что с той минуты, когда девушка вышла из материнского дома, ее никто не видел. «Итак,— говорит он,— мы не можем утверждать, что Мари Роже пребывала в мире живых после девяти часов утра воскресенья 22 июня». Поскольку его довод явно ex-parte, ему следовало бы по меньшей мере вовсе не упоминать об этом обстоятельстве, так как вышеупомянутый промежуток заметно сокра-

тился бы, если бы кто-нибудь видел Мари в понедельник или, например, во вторник, и, согласно его собственным рассуждениям, вероятность того, что был найден труп именно красавицы-гризетки, заметно уменьшилась бы. Очень забавно наблюдать, как «Этуаль» настойчиво обращает внимание своих читателей на эту подробность в глубокой уверенности, что таким образом она подкрепляет общий ход своих рассуждений.

Теперь перечитайте ту часть статьи, где рассказывается о том, как труп был опознан Бове. В вопросе о волосках «Этуаль» проявила большую неуклюжесть. Мосье Бове, не будучи идиотом, при опознании трупа вряд ли привел бы в качестве доказательства просто волоски на руке. Волоски есть на любой руке. Неопределенность выражения, употребленного «Этуаль», искажает слова свидетеля. Он, без сомнения, указал на какое-то своеобразие этих волосков — особый цвет, густоту, длину или расположение.

«Ее нога,— пишет газета,— была маленькой, как и тысячи других женских ног. Ее подвязка не может служить серьезным доказательством, как и ботинки,— ведь ботинки и подвязки продаются тысячами одинаковых пар. То же можно сказать о цветах на ее шляпе. Мосье Бове особенно упирает на то, что застежка на подвязке переставлена. Это просто ничего не значит, так как женщины почти всегда предпочитают, купив подвязки, затем подогнать их дома, нежели примерять подвязки в лавке перед покупкой». Трудно предположить, что автор утверждает это серьезно. Если бы мосье Бове, разыскивая Мари, нашел труп женщины, сложением и внешностью схожей с исчезнувшей девушкой, он имел бы все основания (вообще не рассматривая одежды) счесть, что его поиски увенчались успехом. А если, кроме общего сходства, он обнаружил бы на руке умершей те своеобразные волоски, которые видел на руке Мари, его уверенность с полным правом могла бы возрасти в степени, прямо пропорциональной необычности этой приметы. Если ноги Мари были маленькими и ноги трупа — тоже, уверенность в том, что это труп именно Мари, возросла бы не в арифметической, но в геометрической прогрессии. Добавьте ко всему этому ботинки, такие же, какие были на ней в день исчезновения, и пусть даже эти ботинки «продаются тысячами одинаковых пар», вы доведете вероятность уже почти до степени абсолютной несомненности. То, что само по себе не является точной приметой, теперь благодаря своему месту в целом ряду других признаков становится почти неопровержимым доказательством. Добавьте еще цветы на шляпе, такие же, какие носила исчезнувшая девушка, и опознание можно считать полным. Достаточно было бы и одного цветка. Но что, если их два, или три, или больше? Каждый из них не просто дополняет нашу уверенность, но стократ ее умножает. А теперь обнаружим на покойнице такие же подвязки, какие носила живая девушка,— и всякие дальнейшие поиски становятся просто нелепыми. Но оказывается, застежки на этих подвязках были пе-

реставлены, чтобы подогнать их по ноге,— точно так, как Мари затянула свои подвязки незадолго до ухода. После этого сомневаться может только сумасшедший или лицемер. Эластичная природа подвязок уже указывает на необычность такой перестановки застежки. Если предмет способен укорачиваться сам, то дополнительное его укорачивание по необходимости не может не быть редким. То, что подвязки Мари потребовали такой переделки, было случайностью в самом строгом смысле слова. Одних этих подвязок было бы вполне достаточно, чтобы точно установить ее личность. Но ведь на трупе не просто нашли подвязки исчезнувшей девушки, или ее ботинки, или ее шляпку, или цветы с ее шляпки, не просто оказалось, что ноги убитой такие же маленькие, или что у нее такие же волоски на руке, или что она напоминает Мари сложением и внешностью,— нет, труп имел все эти приметы до единой. Если бы удалось доказать, что редактор «Этуаль» при таких обстоятельствах все же продолжает искренне сомневаться в личности убитой, его можно было бы объявить сумасшедшим и без заключения медицинской комиссии. Он решил, что будет очень хитро с его стороны прибегнуть к профессиональному языку адвокатов, которые по большей части удовлетворяются повторением прямолинейных юридических понятий. Кстати, многое из того, что суды отказываются считать доказательствами, является для острого ума наиболее убедительным доказательством. Ибо суд руководствуется общими принципами, определяющими, что составляет доказательство, а что — нет, то есть руководствуется признанными, записанными в кодексах принципами и не склонен отступать от них в конкретных случаях. Несомненно, такое неуклонное следование принципу и полное игнорирование противоречащих ему исключений в конечном счете представляет собой верный способ обнаружения максимума поддающейся обнаружению истины. Следовательно, в целом такая практика вполне философически оправдана, однако верно и то, что она приводит ко множеству индивидуальных ошибок [1].

Что касается инсинуаций, направленных против Бове, вы, конечно, отбросите их без долгих размышлений. Истинный характер этого господина вам, разумеется, уже ясен. Это романтичный и не очень умный любитель совать нос в чужие дела. Каждый человек подобного типа в действительно серьез-

---

[1] «Теория, опирающаяся на качества какого-либо предмета, препятствует тому, чтобы он раскрывался согласно его целям; а тот, кто располагает явления, исходя из их причин, перестает оценивать их согласно их результатам. Посему юриспруденция любой страны показывает, что закон, едва он становится наукой и системой, перестает быть правосудием. Нетрудно убедиться в ошибках, к которым слепая преданность принципу классификации приводила обычное право, проследив, как часто законодательным органам приходилось вмешиваться и восстанавливать справедливость, которую оно успевало утратить» (Лендор). *(Примеч. автора.)*

ных случаях обычно ведет себя так, что вызывает подозрение у излишне проницательных или нерасположенных к нему людей. Мосье Бове (как вытекает из ваших заметок) имел личную беседу с редактором «Этуаль» и задел его самолюбие, настаивая на том, что труп, вопреки теории редактора, все-таки и без всяких сомнений труп Мари Роже. «Он,— говорит газета,— упрямо утверждает, что это — труп Мари, но не может сослаться в подтверждение ни на какие более убедительные для других приметы, кроме тех, которые мы уже обсудили». Не возвращаясь к вопросу о том, что «более убедительные для других приметы» найти вообще невозможно, надо указать на следующее: в подобного рода делах человек вполне может быть твердо убежден сам и в то же время не располагать никакими доводами, убедительными для других. Впечатление, которое вы храните о личности того или иного человека, очень трудно поддается определению. Каждый человек узнает своих знакомых, но весьма редко кто бывает способен логически объяснить, каким образом он их узнает. Редактор «Этуаль» не имеет права обижаться на мосье Бове за его нерассуждающую уверенность.

Связанные с ним подозрительные обстоятельства куда легче объяснить, исходя из моего представления о нем как о романтическом любителе совать нос в чужие дела, чем из виновности, которую обиняком пытается ему приписать автор статьи. Если мы будем исходить из более милосердного предположения, то легко поймем и розу в замочной скважине, и «Мари» на грифельной доске, и «оттирание в сторону родственников мужского пола», и нежелание, чтобы они увидели труп, и предостережение, с которым он обратился к мадам Б., указывая, что ей не следует ничего говорить жандарму до его (Бове) возвращения, и, наконец, его твердую решимость «не позволять никому другому принимать участие в расследовании». Мне представляется безусловным, что Бове был поклонником Мари, что она с ним кокетничала и что он стремился внушить всем, будто пользуется ее особым доверием и расположением. Больше я ничего об этом говорить не стану, а поскольку факты полностью опровергают утверждение «Этуаль» относительно равнодушия матери Мари и других ее родственников — равнодушия, которое ставило бы под сомнение искренность их убеждения, что найден действительно труп Мари,— мы будем далее исходить из того, что вопрос об установлении личности убитой разрешен к полному нашему удовлетворению.

— А что вы думаете,— спросил я,— о предположениях «Коммерсьель»?

— Я думаю, что по своему духу они заслуживают значительно большего внимания, чем все прочие мнения, высказанные об этом деле. Выводы из предпосылок философски верны и остроумны, однако по меньшей мере в двух случаях предпосылки опираются на неточные наблюдения. «Коммерсьель» дает понять, что Мари неподалеку от дома ее матери схва-

тила шайка негодяев. «Невозможно предположить,— настаивает газета,— чтобы кто-нибудь, столь известный публике, как эта молодая особа, мог пройти незамеченным три квартала». Такую мысль мог высказать лишь мужчина, коренной парижанин, видный член общества, который, как правило, ходит только по определенным улицам в деловой части города. Он по опыту знает, что ему редко удается пройти пять кварталов от своей конторы без того, чтобы его кто-нибудь не узнал и не заговорил с ним. Он знает обширность своих знакомств и, сравнивая собственную известность с известностью продавщицы из парфюмерной лавки, не обнаруживает существенной разницы, а потому тут же приходит к заключению, что и ее на улице должны узнавать не реже, чем его. Но так могло бы быть только, если бы она, подобно ему, ходила одним и тем же неизменным путем в пределах четко ограниченной части города. Он проходит туда и обратно в определенные часы, и его маршрут пролегает по улицам, где ему на каждом шагу встречаются люди, интересующиеся им из-за общности их занятий. Мари же в своих прогулках вряд ли придерживалась какого-либо определенного маршрута. А в данном случае наиболее вероятным будет предположение, что она избрала путь, как можно более отличавшийся от обычных. Сопоставление, которое, как мы полагаем, подразумевала «Коммерсьель», оказалось бы справедливым, только если бы два сопоставляемых индивида прошли через весь город. В этом случае, при условии равной обширности круга их знакомств, были бы равны и их шансы на равное число встреч со знающими их людьми. Я же считаю не только возможным, но и гораздо более вероятным, что Мари могла в любое заданное время проследовать по какому-либо из многочисленных путей, соединяющих ее жилище и жилище ее тетки, не встретив ни единого человека, который был бы ей известен или которому была бы известна она. Рассматривая этот вопрос наиболее полно и правильно, мы должны все время помнить о колоссальном несоответствии между кругом знакомств даже самого известного парижанина и всем населением Парижа.

Если предположение «Коммерсьель» тем не менее еще сохраняет некоторую силу, нам следует вспомнить час, в который Мари вышла из дома. «И она вышла из дома в час,— утверждает «Коммерсьель»,— когда улицы были полны народа». Однако дело обстояло по-другому. Это произошло в девять часов утра. Действительно, в девять часов утра улицы бывают полны народа в любой день недели, кроме воскресенья. В воскресенье же в девять часов утра горожане обычно бывают дома, собираясь идти в церковь. Любой наблюдательный человек, несомненно, замечал особую пустынность городских улиц в воскресное утро с восьми до десяти часов. Между десятью и одиннадцатью часами их действительно заполняют прохожие, но не ранее, не в час, о котором идет речь.

Наблюдательность изменила «Коммерсьель» и в другом

случае. «От одной из нижних юбок злосчастной девушки,— указывает газета,— был оторван кусок длиной в два фута и шириной в фут. Из него была устроена повязка, проходившая под ее подбородком и затянутая узлом у затылка. Проделано это, возможно, было для того, чтобы помешать ей кричать, и сделали это субъекты, не располагающие носовыми платками». Насколько это предположение основательно само по себе, мы рассмотрим позже, но во всяком случае под «субъектами, не располагающими носовыми платками», автор подразумевает бродяг самого низшего разбора. Однако именно у них всегда бывают платки, даже у тех, у кого и рубашки нет. Вероятно, вы заметили, что за последние годы платки превратились в обязательную принадлежность всего городского отребья.

— А как следует оценить статью в «Солей»?— спросил я.

— Очень жаль, что ее сочинитель не родился попугаем — в этом случае он, несомненно, стал бы самым знаменитым попугаем на свете. Он всего-навсего повторяет отдельные положения из того, что уже было высказано кем-то другим, разыскивая их с похвальным трудолюбием на страницах чужих газет. «Все эти вещи, несомненно, пролежали там не менее трех-четырех недель, и не может быть никаких сомнений, что место, где совершилось это гнусное преступление, наконец найдено». Факты, которые тут вновь перечисляет «Солей», моих сомнений отнюдь не рассеивают, и подробнее мы о них поговорим позднее, в связи с еще одним аспектом этой темы.

А пока нам следует заняться другими вопросами. Вы, несомненно, обратили внимание на чрезвычайную небрежность осмотра трупа. Да, конечно, личность убитой была установлена достаточно быстро, но многое осталось невыясненным. Был ли труп ограблен? Надела ли убитая, выходя из дому, какие-нибудь дорогие украшения? А если да, то были ли они найдены на ее теле? На эти весьма важные вопросы материалы расследования не дают никакого ответа, без внимания остались и другие, столь же существенные моменты. Мы должны попробовать сами восполнить эти пробелы. Необходимо заново рассмотреть роль Сент-Эсташа. У меня нет против него никаких подозрений, но нам следует действовать систематически. Мы придирчиво проверим его письменное показание о том, где и когда он был в то воскресенье. Такого рода показания нередко оказываются весьма ненадежными. Но если мы не обнаружим в них никаких противоречий, то больше Сент-Эсташем заниматься не будем. Однако его самоубийство, хотя оно и усугубило бы подозрения против него в случае, если бы нам удалось доказать лживость этих показаний, вполне объяснимо, если они верны, а потому из-за него нам незачем изменять обычные методы анализа.

Я предлагаю пока не заниматься непосредственно самим трагическим событием, а сосредоточить наше внимание на предшествовавших и сопутствовавших ему обстоятельствах.

Одна из частых и отнюдь не наименьших ошибок подобного рода расследований заключается в том, что расследуется только самый факт, а все опосредствованно или косвенно с ним связанное полностью игнорируется. Суды совершают значительный промах, ограничивая рассмотрение улик и свидетельских показаний лишь теми, связь которых с делом представляется непосредственной и очевидной. Однако, как не раз показывал прошлый опыт и как всегда покажет истинная философия, значительная, если не подавляющая часть истины раскрывается через обстоятельства, на первый взгляд совершенно посторонние. Именно дух, если не буква этого принципа, лежит в основе решимости современной науки опираться на непредвиденное. Но, возможно, вам непонятны мои слова. История накопления человеческих знаний непрерывно доказывает одно: наибольшим числом самых ценных открытий мы обязаны сопутствующим, случайным или непредвиденным обстоятельствам, а потому в конце концов при обзоре перспектив на будущее стало необходимым отводить не просто большое, но самое большое место будущим изобретениям, которые возникнут благодаря случайности и вне пределов предполагаемого и ожидаемого. Теперь стало несовместимым с философией строить прогнозы грядущего, исходя только из того, что уже было. Случай составляет признанную часть таких построений. Мы превращаем случайность в предмет точных исчислений. Мы подчиняем непредвиденное и невообразимое научным математическим формулам.

Как я уже говорил, наибольшая часть истины была открыта благодаря побочным обстоятельствам; и в соответствии с духом принципа, стоящего за этим фактом, я в данном случае перенесу расследование с истоптанной и до сей поры неплодородной почвы самого события на обстоятельства, ему сопутствовавшие. Вы будете проверять истинность показаний, подтверждающих, где и когда был в то воскресенье Сент-Эсташ, а я тем временем проштудирую газеты не столь целенаправленно, как сделали это вы. Пока мы лишь произвели предварительную разведку, но будет весьма странно, если широкое ознакомление с прессой, которое я намерен предпринять, не откроет какие-нибудь второстепенные подробности, которые в свою очередь подскажут нам, в каком направлении надо вести расследование.

Выполняя поручение Дюпена, я скрупулезно изучил вышеупомянутые показания и убедился в их истинности, а следовательно, и в невиновности Сент-Эсташа. Тем временем мой друг с тщанием, которое представлялось мне совершенно излишним, просматривал одну газетную подшивку за другой. Через неделю он положил передо мной следующие выдержки:

«Примерно три с половиной года назад волнение, весьма напоминающее нынешнее, было вызвано исчезновением той же самой Мари Роже из парфюмерной лавки мосье Леблана в

Пале-Рояль. Однако неделю спустя она вновь появилась за своим прилавком, живая и невредимая, хотя, правда, чуть более бледная, чем прежде. Мосье Леблан и ее мать заявили, что она просто уезжала к какой-то подруге в деревню, и дело быстро замяли. Мы полагаем, что и нынешнее исчезновение вызвано сходной причиной и что по истечении недели или, быть может, месяца мы снова увидим ее среди нас».

(«Вечерняя газета» [1], *понедельник 23 июня*)

«Одна из вечерних газет сослалась вчера на первое таинственное исчезновение мадемуазель Роже. Известно, что ту неделю, пока ее не было в лавке мосье Леблана, она провела в обществе молодого морского офицера, имеющего репутацию кутилы и повесы. Полагают, что вследствие ссоры она, к счастью, вернулась домой вовремя. Нам известно имя этого Лотарио, находящегося в настоящее время в Париже, но по понятным причинам мы не предаем его гласности».

(«Меркюри» [2], *вторник 24 июня, утренний выпуск*)

«Позавчера в окрестностях нашего города было совершено возмутительнейшее преступление. Некий господин в сумерках нанял шестерых молодых людей, которые катались на лодке по Сене, перевезти его с женой и дочерью через реку. Когда лодка причалила к противоположному берегу, трое пассажиров высадились и успели отойти на такое расстояние, что река скрылась из виду, но тут дочь заметила, что забыла в лодке зонтик. Она вернулась за ним, но негодяи схватили ее, заткнули ей рот кляпом, вывезли на середину реки, учинили над ней зверское насилие и в конце концов высадили на берег примерно там же, где она вошла в лодку со своими родителями. Преступники скрылись, но полиция напала на их след, и кое-кто из них скоро будет арестован».

(«Утренняя газета» [3], *25 июня*)

«Мы получили несколько писем, цель которых — доказать, что виновником недавнего зверского преступления был Менэ [4], но поскольку после официального расследования он был полностью оправдан, а доводы этих наших корреспондентов продиктованы более желанием обнаружить преступника, нежели фактами, мы не считаем возможным опубликовать их».

(«Утренняя газета», *28 июня*)

---

[1] Нью-йоркская «Экспресс».
[2] Нью-йоркская «Геральд».
[3] Нью-йоркская «Курьер энд инквайрер».
[4] Менэ был одним из тех, кого вначале арестовали по подозрению, но затем отпустили за полным отсутствием улик.

Мы получили несколько гневных писем, по-видимому, принадлежащих перу разных лиц, которые дышат уверенностью, что злополучная Мари Роже стала жертвой одной из многочисленных бандитских шаек, которые по воскресеньям наводняют окрестности города. Это предположение полностью соответствует нашему собственному мнению. Несколько позже мы попробуем найти место для некоторых из этих писем на наших страницах».

(«Вечерняя газета»[1], *вторник 30 июня*)

«В понедельник один из лодочников, служащих в налоговом управлении, заметил пустую лодку, плывущую вниз по Сене. Паруса лежали свернутыми на дне лодки. Лодочник отбуксировал ее к своей пристани. На следующее утро ее забрали оттуда без ведома местного начальства. Ее руль находится в конторе пристани».

(«Дилижанс»[2], *вторник 26 июня*)

Я прочел эти разнообразные выдержки, и они не только показались мне совершенно не связанными между собой, но я не мог вообразить, какое отношение они имели к делу, которым мы занимались. И я стал ждать объяснений Дюпена.

— Пока,— сказал он,— я не намерен останавливаться на первой и второй вырезках. Я дал их вам главным образом для того, чтобы показать всю степень непростительной небрежности нашей полиции, которая, насколько я понял из слов префекта, даже не потрудилась хотя бы навести справки об этом морском офицере. А ведь утверждать, что между первым и вторым исчезновением Мари невозможно хотя бы предположительно усмотреть никакой связи, по меньшей мере глупо. Допустим, что первое бегство из дома закончилось ссорой и обманутая девушка вернулась к матери. Теперь мы готовы рассмотреть второе бегство (если нам известно, что это именно бегство) скорее как свидетельство того, что обманщик возобновил свои ухаживания, чем как результат новых предложений кого-то еще,— нам легче счесть его возобновлением старого романа после примирения, чем началом нового. Десять шансов против одного, что прежний возлюбленный, однажды уже уговоривший Мари бежать с ним, уговорил ее снова, а не нашелся кто-то другой, кто обратился к ней с таким же предложением. И тут разрешите мне привлечь ваше внимание к тому факту, что время, миновавшее между первым, несомненным, бегством и вторым, предполагаемым, лишь на несколько месяцев превышает обычный срок дальнего плаванья наших

---

[1] «Нью-Йорк ивнинг пост».
[2] Нью-йоркская «Стандард».

военных кораблей. Быть может, соблазнитель в первый раз не сумел привести в исполнение свое низкое намерение, так как должен был уйти в море, и, едва вернувшись, вновь приступил к осуществлению своего незавершенного гнусного плана — во всяком случае, не завершенного им самим? Об этом нам ничего не известно.

Однако вы возразите, что во втором случае бегства с любовником не было. Безусловно так — но возьмемся ли мы утверждать, что оно и не предполагалось? Кроме Сент-Эсташа и, быть может, Бове, у Мари, насколько нам известно, не было признанных поклонников, ухаживавших за ней открыто и с честными намерениями. Ни о ком другом мы не находим никаких упоминаний. Так кто же этот тайный возлюбленный, о котором родственники (во всяком случае, большинство из них) не знают ничего, но с которым Мари встречается утром в воскресенье и которому она так доверяет, что без опасения остается в его обществе до тех пор, пока вечерний сумрак не окутывает пустынные рощи неподалеку от заставы Дюруль? Кто этот тайный возлюбленный, спрашиваю я, о ком, во всяком случае, большинство родственников ничего не знает? И что означает странное пророчество мадам Роже, произнесенное утром в воскресенье после ухода Мари? Это ее «боюсь, я уже больше никогда не увижу Мари»?

Но если мы не можем вообразить, что мадам Роже знала о предполагаемом бегстве, то разве непозволительно будет допустить, что сама девушка такие планы строила? Уходя, она сказала, что идет навестить тетку, и попросила Сент-Эсташа зайти за ней вечером на улицу Дром. На первый взгляд это обстоятельство как будто опровергает мое предположение. Однако поразмыслим. Точно известно, что она с кем-то встретилась и что она отправилась с этим человеком за реку, оказавшись в окрестностях заставы Дюруль в три часа дня, то есть через несколько часов после ухода из дома. Но, согласившись отправиться туда с этим неизвестным (неважно, ради какой цели, с ведома или без ведома матери), Мари не могла не подумать о том, как она объяснит свой уход, а также об удивлении ее нареченного, Сент-Эсташа, и о подозрениях, которые его охватят, когда, явившись за ней в назначенный час на улицу Дром, он узнает, что она там даже не появлялась, а затем, воротившись в пансион с этой тревожной вестью, не найдет ее и там. Конечно, она не могла не подумать обо всем этом. Она должна была предвидеть отчаяние Сент-Эсташа и подозрения, которые ее исчезновение вызовет у всех. После такой эскапады ей было бы трудно вернуться домой, но мысль об этом не стала бы ее смущать, если, допустим, она с самого начала не собиралась возвращаться в дом матери.

Мы можем предположить, что она рассуждала примерно так: «Я должна встретиться с таким-то человеком, чтобы бежать с ним — или ради какой-то другой цели, известной мне одной. Надо устроить так, чтобы мне не помешали, надо

выиграть время, чтобы избежать погони, а потому я скажу, что собираюсь провести день у тетушки на улице Дром, и попрошу Сент-Эсташа, чтобы он не заходил за мной, пока не стемнеет. Таким образом, до начала вечера мое отсутствие ни у кого не вызовет ни беспокойства, ни подозрений, и я выиграю времени больше, чем любым другим способом. Если я попрошу Сент-Эсташа зайти за мной, когда стемнеет, он раньше туда не явится, но если я не скажу ему ничего, то выиграю времени гораздо меньше, так как меня будут ждать дома в более ранний час и мое отсутствие скорее вызовет тревогу. Если бы я собиралась вернуться — если бы я хотела только прогуляться с тем человеком,— то я не попросила бы Сент-Эсташа зайти за мной, поскольку в этом случае он наверняка узнал бы, что я его обманула, тогда как мне ничего не стоило бы скрыть от него это, если бы я ничего ему не сказала, вернулась бы домой до сумерек, а потом объявила бы, что была в гостях у тетушки на улице Дром. Но раз я вообще не намерена возвращаться — во всяком случае, не ранее чем через несколько недель или же только после принятия некоторых мер предосторожности,— мне следует думать лишь о том, как выиграть побольше времени, и ни о чем другом».

Как вы указываете в своих заметках, с самого начала общее мнение касательно этого печального происшествия склонялось к тому, что Мари Роже стала жертвой шайки хулиганов. Ну а при определенных обстоятельствах общее мнение не следует игнорировать. Когда оно возникает само собой — когда оно появляется строго самопроизвольно,— его следует рассматривать как аналогию той интуиции, которой бывают наделены гениальные люди. И в девяноста девяти случаях из ста я соглашусь с ним. Но необходимо твердо знать, что оно никем и ничем не подсказано. Это мнение должно быть строго мнением самого общества, но такое различие часто бывает довольно трудно уловить и объяснить. В данном случае я вижу, что это «общее мнение» о шайке возникло из-за сходного случая, который подробно описан в третьем из моих извлечений. Весь Париж неистовствует из-за того, что найден труп Мари — молодой, красивой девушки, уже привлекавшей к себе внимание публики. На трупе обнаружены следы насилия, и он был вытащен из реки. Но тут же становится известно, что тогда же или примерно тогда же, когда была убита Мари Роже, другая девушка подверглась такому же надругательству, как и покойная, хотя и с менее трагическими последствиями, попав в лапы шайки молодых негодяев. Стоит ли удивляться, что достоверные сведения о возмутительном преступлении подействовали на общественное мнение и в связи с другим преступлением, о котором ничего достоверного пока не известно? Общественное мнение искало виновных, и они были услужливо подсказаны ему обстоятельствами другой драмы! Ведь Мари нашли в реке — в той же самой, на которой разыгралась эта вторая драма. Связь этих двух событий на первый взгляд представляется абсолютно

очевидной, и было бы поразительно, если бы публика не заметила этого сходства и не ухватилась за него. Однако в действительности подобное преступление скорее доказывает, что второе, совершенное примерно в то же время, носило совсем иной характер. Если бы оказалось, что пока одна шайка мерзавцев в таком-то месте совершала чрезвычайно редкое по гнусности преступление, еще одна такая же шайка в тех же окрестностях того же города при таких же обстоятельствах, прибегнув к таким же ухищрениям, творила точно такую же гнусность точно в то же время,— это вышло бы за пределы вероятного и могло бы называться чудом! А ведь общественное мнение, сложившееся под воздействием внушения, требует, чтобы мы поверили именно в эту невероятную цепь совпадений.

Прежде чем идти дальше, поговорим о предполагаемом месте убийства — о чаще неподалеку от заставы Дюруль. Эта чаща, хотя и густая, находится возле проезжей дороги. В ее глубине были найдены три-четыре больших камня, сложенные в виде сиденья, со спинкой и подножкой. На верхнем камне была найдена белая нижняя юбка, на втором — шелковый шарф. Там же были обнаружены зонтик, перчатки и носовой платок. На носовом платке была метка «Мари Роже». На ветках вокруг висели лоскутки платья. Земля была истоптана, кусты переломаны, и повсюду виднелись признаки отчаянной борьбы.

Какую бы важность ни придавали газеты этим находкам, с каким бы единодушием ни было решено, что место преступления наконец обнаружено, тем не менее есть немало веских причин для сомнения. Я могу верить или не верить, что преступление было совершено именно там, но существуют весьма веские причины для сомнения. Если бы, как предположила «Коммерсьель», преступление совершилось где-то неподалеку от улицы Паве-Сент-Андре, его участники, если они остались в Париже, естественно, пришли бы в ужас оттого, что внимание публики оказалось направленным в верную сторону, и у людей определенного умственного склада немедленно возникло бы стремление что-то предпринять, чтобы отвлечь это внимание. А поскольку чаща у заставы Дюруль уже вызывала некоторые подозрения, это могло подсказать им мысль подбросить вещи девушки в то место, где они и были затем найдены. Вопреки убеждению «Солей» нет никаких реальных доказательств того, что вещи пролежали в чаще более трех-четырех дней, тогда как многие косвенные данные свидетельствуют, что они не могли бы остаться там незамеченными в течение тех двадцати суток, которые протекли между роковым воскресеньем и вечером, когда их обнаружили мальчики. «Под действием дождя,— утверждает «Солей», повторяя другие газеты,— они проплесневели насквозь и слиплись от плесени. Вокруг них выросла трава, а кое-где стебли проросли и сквозь них. Шелк зонтика был толстым, но складки его склеились, а верхняя, сложенная часть настолько проплесневела и сгнила, что, когда ее раскрыли, он весь расползся». Что касается травы, которая «выросла вокруг них», и стеблей, «кое-где проросших и сквозь них», то

эти факты могли быть почерпнуты только из рассказа, а следовательно, из впечатлений двух маленьких мальчиков, так как эти мальчики унесли все найденные ими вещи домой и никто третий в чаще их не видел. Однако в такую теплую и влажную погоду, какая стояла со времени убийства, трава порой вырастает на два-три дюйма в сутки. Зонтик, положенный среди молодой травки, через неделю может быть уже полностью скрыт от взгляда ее вытянувшимися стеблями. Ну а плесень, на которую редактор «Солей» ссылается с таким упорством, что в двух-трех фразах, процитированных мной, он трижды ее упоминает,— неужели этот господин и правда не знает, какова ее природа? Неужели ему надо объяснять, что это одна из разновидностей грибов, а грибам свойственно вырастать и сгнивать на протяжении двадцати четырех часов?

Таким образом, мы сразу видим, что наиболее торжественно преподносимое свидетельство пребывания этих вещей в чаще «не менее трех-четырех недель» абсолютно ничем этого факта не доказывает. С другой стороны, очень трудно поверить, что эти вещи могли пролежать в указанной чаще дольше недели, то есть дольше, чем от одного воскресенья до другого. Людям, знакомым с окрестностями Парижа, хорошо известно, насколько трудно отыскать там укромное местечко — разве только в большом отдалении от предместий. В этих лесках и рощах просто нельзя вообразить не только уединенного уголка, но даже такого, который посещался бы не очень часто. Пусть-ка любитель природы, прикованный своими обязанностями к пыли и жаре этой огромной столицы, пусть-ка такой человек попробует даже в будний день утолить свою жажду одиночества среди окружающих ее прелестных естественных пейзажей. Их очарование ежеминутно будет нарушаться голосом, а то и появлением какого-нибудь бродяги или же веселящейся компании городских оборванцев. И он тщетно будет искать уединения в гуще деревьев и кустов. Именно там собираются неумытые в наибольшем числе, именно эти храмы подвергаются наибольшему поруганию. И с тоской в сердце такой скиталец устремится назад в оскверненный Париж, ибо в этом средоточии скверны она все же менее бросается в глаза. Но если окрестности города столь многолюдны в будние дни, насколько больше переполнены они народом в воскресенье! Именно тогда, освободившись на день от необходимости трудиться или же на тот же срок лишившись возможности совершать обычные преступления, подонки города устремляются за его черту не из любви к сельской природе, которую они в глубине души презирают, но чтобы освободиться от уз и запретов, налагаемых на них обществом. Их манит не столько чистый воздух и зелень деревьев, сколько отсутствие какого-либо надзора. Где-нибудь в придорожном трактире или под пологом лесной листвы, вдали от чужих глаз, они в компании собутыльников предаются тому, что сходит у них за веселье — дикому разгулу, порождению безнаказанности и спиртных напитков. И повторяя, что в любой

чаще под Парижем означенные вещи могли бы пролежать никем не замеченные дольше, чем от воскресенья до воскресенья, только если бы произошло чудо, я утверждаю лишь то, с чем не может не согласиться любой непредубежденный наблюдатель.

К тому же существует достаточно других оснований подозревать, что вещи эти были подброшены в чащу у заставы с целью отвлечь внимание от настоящего места преступления. И в первую очередь я хотел бы, чтобы вы заметили, какого числа были найдены вещи. Сопоставьте это число с числом, которым помечено мое пятое извлечение из газет. Вы обнаружите, что открытие это последовало почти немедленно за сообщением вечерней газеты о полученных ею «гневных письмах». Эти письма, различавшиеся по содержанию и, по-видимому, исходившие от разных лиц, все клонили к одному и тому же, а именно — называли виновниками преступления шайку негодяев и указывали на заставу Дюруль как на место, где оно было совершено. Разумеется, никак нельзя считать, что мальчики отправились в чащу и отыскали там вещи Мари Роже вследствие этих писем и того внимания, которое они к себе привлекли; однако может представляться и представляется вполне вероятным, что мальчики не отыскали этих вещей раньше, так как раньше этих вещей в чаще не было, и что их оставили там, только когда газета сообщила о письмах (или же незадолго до этого), сами же виновные авторы указанных писем.

Эта чаща — очень своеобразная чаща, весьма и весьма своеобразная. Она чрезвычайно густа. А внутри между стенами кустов находятся необычные камни, образующие сиденье со спинкой и подножкой. И эта-то чаща, такая необычная, находилась совсем рядом, всего в нескольких сотнях шагов, от жилища мадам Дюлюк, чьи сыновья имели обыкновение обшаривать все соседние кусты, собирая кору сасафрасса. Можно ли будет назвать неразумным пари, если я поставлю тысячу франков против одного, что не проходило дня, чтобы хотя бы один из этих мальчуганов не забирался в тенистую естественную беседку и не восседал на каменном троне? Те, кто откажутся предложить такое пари, либо никогда сами не были мальчиками, либо забыли свое детство. И я повторяю: почти невозможно понять, как эти вещи могли бы пролежать в чаще больше двух дней и остаться незамеченными; а поэтому есть достаточно оснований заподозрить, что, вопреки дидактичному невежеству «Солей», они были подброшены туда, где их нашли, относительно недавно.

Однако существуют еще более веские основания полагать, что их именно подбросили,— куда более веские, чем все, о чем я упоминал до сих пор. Позвольте мне теперь указать вам на чрезвычайно искусственное расположение вещей. На верхнем камне лежала белая нижняя юбка, на втором — шелковый шарф, а вокруг были разбросаны зонтик, перчатки и носовой платок с меткой «Мари Роже». Именно такое распо-

ложение им, естественно, придал бы не слишком умный человек, желая разбросать эти вещи естественно. На самом же деле это выглядит далеко не естественно. Было бы уместнее, если бы все они валялись на земле и были бы истоптаны. В тесноте этой полянки юбка и шарф едва ли остались бы лежать на камнях, если там шла какая-то борьба — их обязательно смахнули бы на землю. «Земля была утоптана, кусты поломаны — все там свидетельствовало об отчаянной борьбе»,— утверждает газета, однако юбка и шарф были аккуратно разложены, словно на полках. «Лоскутки, вырванные из платья колючками, имели в ширину примерно три дюйма, а в длину — шесть. Один оказался куском нижней оборки со штопкой. Они выглядели так, словно были оторваны». Здесь «Солей» случайно употребила весьма подозрительный глагол. Действительно, судя по описанию, эти лоскутки кажутся оторванными — но сознательно, человеческой рукой. Лишь в чрезвычайно редких случаях колючка «отрывает» лоскут от подобной одежды. Эти ткани по самой своей природе таковы, что колючка или гвоздь, запутавшиеся в них, рвут их под прямым углом, образуя две перпендикулярные друг к другу прорехи, сходящиеся там, где колючка вонзилась в ткань, но трудно вообразить «оторванный» таким способом лоскуток. Мне этого видеть не приходилось. Да и вам тоже. Для того чтобы оторвать лоскуток такой ткани, необходимо почти в любом случае приложить две отдельные силы, действующие в разных направлениях. Если ткань имеет два края — если, например, вы захотите оторвать полоску от носового платка,— тогда, и только тогда, достаточно будет приложения одной силы. Но в данном случае речь идет о платье, имеющем один край. Чтобы колючки вырвали лоскут где-то выше, где нет краев, необходимо чудо, а одна колючка вообще этого сделать не может. Но даже и у нижнего края для этого требуется не меньше двух колючек, причем они должны действовать в двух сильно различающихся направлениях. Но и это относится лишь к неподрубленному краю ткани. Если же он подрублен, то опять-таки ничего подобного произойти не может. Итак, мы видим, сколько существует серьезных, почти непреодолимых препятствий к тому, чтобы лоскуток был «вырван» просто «колючками», а нас просят поверить, что было вырвано несколько лоскутков! Причем «один оказался куском нижней оборки»! А второй «был вырван из юбки гораздо выше оборки», то есть колючки не оторвали его от края, а вырвали из внутренней части ткани! Да, человека, отказывающегося поверить в это, вполне можно извинить, но, взятые в целом, эти улики все же дают, пожалуй, меньше оснований для подозрения, чем одно-единственное поразительное обстоятельство, а именно — тот факт, что вещи вообще были оставлены среди кустов убийцами, у которых хватило хладнокровия унести труп. Однако вы поймете меня неверно, если предположите, будто моя цель — доказать, что преступление не было совершено в этой чаще. Оно могло произойти там, или же, что вероятнее,

6 Заказ 59

какая-то несчастная случайность привела к нему под кровлей мадам Дюлюк, но этот факт имеет второстепенное значение. Мы пытаемся установить, не где было совершено убийство, а кто его совершил. Мои рассуждения, несмотря на их обстоятельность, имели только целью, во-первых, показать всю нелепость решительных и опрометчивых выводов «Солей» и, во-вторых, что гораздо важнее, наиболее естественным путем подвести вас к вопросу о том, было ли убийство совершено шайкой или нет.

Мы возобновим рассмотрение этого вопроса, кратко коснувшись отвратительных подробностей, сообщенных полицейским врачом на следствии. Достаточно сказать, что его опубликованное заключение, касающееся числа преступников, вызвало заслуженные насмешки всех видных анатомов Парижа, как неверное и абсолютно безосновательное. Конечно, он не предположил ничего невозможного, но никаких реальных оснований для такого предположения у него не было. Однако нельзя ли найти достаточных оснований для какого-нибудь другого предположения?

Займемся теперь «следами отчаянной борьбы». Позвольте мне спросить, свидетельством чего были сочтены эти следы? Свидетельством присутствия шайки. Но разве на самом деле они не свидетельствуют совсем об обратном? Какая борьба могла завязаться — какая борьба, настолько яростная и длительная, что она оставила «следы» повсюду,— между слабой беззащитной девушкой и предполагаемой шайкой негодяев? Да они просто схватили бы ее, и все было бы кончено в одно мгновение и без всякого шума. У жертвы не хватило бы сил вырваться из их грубых рук, и она оказалась бы в полной их власти. Но помните одно: доводы против того, что местом преступления является именно эта чаща, в подавляющем большинстве справедливы, только если считать, что преступников было несколько. Если же предположить, что насильник был один, то тогда — и только тогда — можно представить себе такую яростную и упорную борьбу, которая оставила бы пресловутые «следы».

И еще одно. Я уже упомянул, насколько подозрительным представляется тот факт, что вещи вообще были оставлены там, где их нашли. Почти невозможно вообразить, что их случайно забыли в чаще. У преступников достало хладнокровия (так, по крайней мере, считается) унести труп, и тем не менее улики куда более очевидные, чем сам труп (который мог вскоре быть изуродован разложением до неузнаваемости), оставляются на месте преступления — я имею в виду носовой платок с именем и фамилией убитой. Если это произошло случайно, то такая случайность исключает шайку. Она могла произойти, только если преступник был один. Будем рассуждать. Человек совершил убийство. Он стоит один перед трупом своей жертвы. Он испытывает глубокий ужас, глядя на неподвижное тело. Бурная вспышка страстей угасла, и его сердцем овладевает естественный страх перед содеянным. Его не подбадри-

вает присутствие сообщников. Он здесь один с убитой. Он трепещет и не знает, как поступить. Но труп необходимо как-то скрыть. Он тащит мертвое тело к реке и оставляет в чаще другие свидетельства своей вины, так как унести все сразу было бы очень трудно или даже вообще невозможно, но он полагает, что вернуться за остальным будет легко. Однако, пока он пробирается к реке, его страх удесятеряется. Со всех сторон до него доносятся звуки, свидетельствующие о близости людей. Много раз он слышит — или ему чудится, что он слышит,— шаги непрошеного свидетеля. Даже огни города пугают его. Но вот после долгих, исполненных ужаса остановок он достигает реки и избавляется от своей жуткой ноши — быть может, воспользовавшись для этого лодкой. Но какой страх перед воздаянием может понудить одинокого убийцу вернуться теперь по трудной и опасной тропе в чащу, полную ужасных воспоминаний? Ни за какие сокровища мира он не решится пойти туда еще раз, чем бы это ему ни грозило. Он не мог бы вернуться, даже если бы хотел. Сейчас он думает только об одном: бежать отсюда, бежать как можно скорее. Он навсегда поворачивается спиной к этим страшным кустам и обращается в паническое бегство.

Ну а если бы там действовала шайка? Их многочисленность придала бы им уверенности — закоренелым негодяям ее вообще не занимать стать. Подобные же шайки составляются именно из закоренелых негодяев. Их многочисленность, повторяю я, избавила бы их от растерянности и слепого ужаса, парализующего рассудок одинокого убийцы, о котором я говорил. Если бы не спохватился первый, второй, даже третий из них, четвертый исправил бы их промах. Они ничего не оставили бы в кустах, потому что легко могли бы унести все сразу. Возвращаться им не было бы нужды.

Теперь вспомните, что из верхней юбки, надетой на трупе, была вырвана от подола к талии «полоса дюймов в двенадцать шириной, но не оторвана совсем, а трижды обернута вокруг талии и закреплена на спине скользящим узлом». Сделано это было несомненно для того, чтобы облегчить переноску трупа. Но зачем нескольким мужчинам могло понадобиться такое приспособление? Троим-четверым было бы проще и удобнее нести тело за руки и за ноги. Такая «ручка» могла понадобиться только человеку, которому предстояло перетаскивать тело одному, а это подводит нас к тому обстоятельству, что «в изгородях, находившихся между этой чащей и рекой, были обнаружены проломы, а следы на почве указывали, что тут волочили что-то тяжелое». Но неужели несколько мужчин стали бы ломать изгородь, чтобы протащить сквозь нее труп, когда им ничего не стоило бы в одно мгновение перекинуть его через любую ограду? Неужели несколько мужчин стали бы волочить тело по земле, оставляя следы-улики?

И тут нам следует обратиться к одному из замечаний «Коммерсьель», о котором я уже говорил. «От одной из нижних юбок злосчастной девушки был оторван кусок длиной

в два фута и шириной в фут, и из него была устроена повязка, проходившая под подбородком и затянутая узлом у затылка. Проделано это, возможно, было для того, чтобы помешать ей кричать, и сделали это субъекты, не располагающие носовыми платками».

Я уже указывал, что бродяги, воры и другие темные личности всегда имеют при себе носовой платок. Но теперь меня интересует другое. Платок, брошенный в чаще, неопровержимо доказывает, что не отсутствие носового платка побудило бы преступника воспользоваться этой повязкой для цели, которую ему приписала «Коммерсьель»; и предназначалась повязка отнюдь не для того, чтобы «помешать ей кричать» — для этого ведь он располагал гораздо более надежным средством. Однако в протоколе осмотра трупа говорится о полосе муслина, «свободно обвернутой вокруг шеи и завязанной неподвижным узлом». Это — довольно неопределенное описание, но оно существенно отличается от того, что мы находим в «Коммерсьель». Полоса шириной в восемнадцать дюймов, пусть даже муслиновая, представляет собой довольно крепкую веревку, если скрутить ее в продольном направлении. А она была скручена именно так. Я делаю из этого следующий вывод: одинокий убийца протащил труп несколько десятков шагов (в чаще у заставы или в другом месте — значения не имеет), держа его на весу за повязку, закрепленную скользящим узлом на талии жертвы, но обнаружил, что такая ноша слишком тяжела для него. Он решил дальше волочить ее — следы на земле свидетельствуют, что труп именно волочили. Для этого необходимо привязать веревку к шее жертвы или к ее ногам. Шея представляется ему более удобной, так как подбородок не даст веревке соскользнуть. Тут убийца, несомненно, подумал о повязке, уже охватывающей пояс жертвы. Но чтобы воспользоваться ею, надо распутать скользящий узел, размотать ее и оторвать от корсажа. Проще оторвать еще одну такую полосу ткани от нижней юбки. Он отрывает такую полосу, завязывает ее на шее мертвой девушки и волочит свою жертву к реке. Тот факт, что была использована «повязка», которую можно было изготовить только ценой определенных усилий и задержки, причем она довольно плохо отвечала своему назначению, ясно показывает, что прибегнуть к ней пришлось под давлением каких-то обстоятельств в тот момент, когда носового платка рядом уже не было, то есть, как мы уже предположили, когда убийца выбрался из чащи (если все произошло именно там) и находился на полпути между чащей и рекой.

Однако, скажете вы, показания мадам Дюлюк (!) не оставляют никаких сомнений, что в час, когда было совершено убийство, или примерно в этот час неподалеку от чащи бродила какая-то шайка. Да, конечно. Вполне возможно, что в момент трагедии или примерно в то же время неподалеку от заставы Дюруль шлялось даже полдесятка шаек вроде описанной мадам Дюлюк. Но шайка, привлекшая к себе особое

внимание благодаря довольно запоздалым и весьма подозрительным показаниям мадам Дюлюк,— это единственная шайка, которая, по словам этой честной и щепетильной дамы, ела ее пироги и пила ее пиво, не побеспокоившись заплатить за них. Et hinc illae irae? [1]

Но что именно показала мадам Дюлюк? «В трактир ввалилась компания хулиганов, которые вели себя очень буйно, не заплатили за то, что съели и выпили, ушли в том же направлении, какое избрали молодой человек и девушка, вернулись в трактир, когда начинало смеркаться, и переправились на другой берег как будто в большой спешке».

Эта «большая спешка» могла представиться мадам Дюлюк особенно большой потому, что она оплакивала судьбу своих пирогов и пива и, возможно, все еще таила слабую надежду получить причитающиеся ей деньги. Иначе почему она с такой настойчивостью указывает на их «большую спешку», хотя уже начинало смеркаться? Неужели следует удивляться, что даже эта буйная компания спешила вернуться домой? Ведь собиралась гроза, приближалась ночь, а им еще предстояло переправиться через широкую реку в маленьких лодках.

Я говорю — «приближалась ночь», так как еще не стемнело. Ведь неприличная торопливость этих «хулиганов» оскорбила трезвый взор мадам Дюлюк, когда только-только начинало смеркаться. Однако нам сообщают, что в тот же самый вечер мадам Дюлюк и ее старший сын «слышали женские крики неподалеку от трактира». Какими же словами мадам Дюлюк обозначила тот час вечера, когда раздались эти крики? Она их услышала «после того, как совсем стемнело». Но «совсем стемнело» означает полную темноту, а «начинало смеркаться» подразумевает дневной свет. Следовательно, шайка покинула окрестности заставы Дюруль до того, как мадам Дюлюк услышала (?) крики. Но, хотя во всех сообщениях о показаниях мадам Дюлюк эти обозначения времени неизменно приводятся именно в тех словах, которые я повторил сейчас в беседе с вами, пока еще ни газеты, ни полицейские агенты не обратили внимания на грубое противоречие, которое в них содержится.

Я приведу еще только один довод против предположения, что в деле замешана шайка, но этот один довод, на мой взгляд, неопровержим. Раз за поимку преступников предложена большая награда и обещано полное прощение тому, кто их выдаст, среди членов такой шайки уж непременно нашелся бы предатель. Каждый член шайки, оказавшись в подобном положении, не столько думает о награде или о возможности избежать кары, сколько опасается предательства со стороны своих сообщников. Он торопится донести на них первым, чтобы другой не успел донести на него. И то, что тайна остается нераскрытой, вернее всего свидетельствует о том, что это — действительно тайна. Подробности этого гнусного преступления

[1] Не отсюда ли этот гнев? *(лат.)*.

известны только одному человеку — или, в крайнем случае, двум людям — и богу.

Теперь подведем итоги скудных, но, во всяком случае, верных выводов из нашего долгого анализа. Он показал нам, что либо в трактире мадам Дюлюк произошел несчастный случай, либо в чаще у заставы Дюруль было совершено убийство, причем совершил его любовник покойной девушки или, во всяком случае, ее близкий и тайный знакомый. Про него мы знаем, что он — «смуглый» молодой человек. Эта смуглота, пресловутый «скользящий узел», а также «морской узел», которым были завязаны ленты шляпки, указывают на моряка. Его отношения с покойной — разбитной, но разборчивой девушкой — позволяют сделать вывод, что он не мог быть простым матросом. Это подтверждается и хорошо написанными гневными письмами, адресованными в газеты. Обстоятельства первого бегства, упомянутые «Меркюри», заставляют связать этого моряка с тем «морским офицером», который, как известно, один раз уже увлек несчастную девушку на гибельный путь.

И здесь весьма уместно вспомнить о том, что этот смуглый молодой человек до сих пор никак не заявил о себе. Я немного отвлекусь и замечу, что он смугл до черноты — эта смуглость настолько необычна, что и Валанс, и мадам Дюлюк обратили внимание только на нее и никаких других его примет не указали. Но почему этот молодой человек исчез? Может быть, шайка его убила? Но в этом случае почему сохранились только следы убийства девушки? Естественно предположить, что убить их должны были бы в одном и том же месте. И где его труп? Убийцы скорее всего избавились бы от них обоих одинаковым способом. Но можно предположить, что он жив и не хочет обнаружить себя, опасаясь обвинения в убийстве. Такое соображение имеет определенный вес сейчас, на этом позднем этапе, поскольку свидетели видели его с Мари, но в то время, когда произошло убийство, оно не имело никакой силы. Ни в чем не повинный человек поспешил бы сообщить о случившемся и помог бы розыску преступника. Такое поведение было бы самым разумным. Его видели в обществе убитой. Он переехал с ней через реку на открытом пароме. Даже идиот понял бы, что обличение убийц было бы наиболее верным и к тому же единственным способом очистить себя от подозрений. А предположить, что вечером в воскресенье он был и неповинен в совершенном преступлении и ничего о нем не знал, невозможно. Однако только в этом случае он, если он остался жив, мог бы не объявить об убийстве и не обличить убийц.

А какими средствами мы располагаем, чтобы узнать истину? Мы обнаружим, что средства эти умножаются и становятся все более верными по мере того, как мы будем продвигаться в нужном направлении. Давайте до конца выясним все подробности первого побега. Давайте познакомимся со всеми обстоятельствами жизни этого «офицера», узнаем, где

он сейчас и где находился в час убийства. Давайте тщательно сравним все письма, присланные в вечернюю газету с целью обвинить в преступлении шайку. Затем сравним эти письма — их стиль и почерк — с письмами, которые ранее присылались в утреннюю газету и содержали столь настойчивые обвинения по адресу Менэ. После чего сравним все эти письма с какими-нибудь письмами «офицера». Попробуем вновь допросить мадам Дюлюк, ее сыновей и кучера омнибуса, чтобы узнать другие приметы «смуглого молодого человека». Искусно составленные вопросы непременно помогут кому-нибудь из вышеперечисленных свидетелей вспомнить такую примету (или еще что-нибудь), хотя сейчас он даже не отдает себе отчета, что ему что-то известно. И давайте проследим лодку, которая утром в понедельник была найдена плывущей вниз по Сене, а затем еще до обнаружения трупа кем-то забрана — без ведома начальника пристани и без руля. Соблюдая необходимые предосторожности и действуя настойчиво, мы, без всяких сомнений, разыщем эту лодку, потому что ее не только может опознать лодочник, доставивший ее к пристани, но еще и потому, что в наших руках находится ее руль. Человек, которому нечего опасаться, не оставит на произвол судьбы руль от парусной лодки. И тут я кстати задам вопрос. О найденной лодке не было дано никакого объявления. Она была отбуксирована к пристани и на следующее утро уже исчезла. Но каким образом ее владелец или наниматель к утру вторника без помощи объявления уже узнал, куда отогнали лодку, найденную в понедельник? Этого нельзя объяснить, не предположив какой-нибудь связи с соответствующим ведомством, какого-нибудь обмена мелкими новостями на основе общих интересов.

Когда я описывал, как убийца один волок свою жертву к реке, я уже упоминал, что затем он, возможно, воспользовался лодкой. Теперь мы можем считать, что тело Мари Роже действительно было брошено в реку с лодки. Произойти иначе это не могло. Кто рискнул бы оставить труп на мелководье у берега? Странные рубцы на спине и плечах жертвы заставляют вспомнить о шпангоутах на дне лодки. Подтверждается это предположение еще и тем, что труп был брошен в воду без груза. Если бы его бросали в воду с берега, к нему обязательно привязали бы груз. Такой недосмотр убийцы мы можем объяснить, только предположив, что второпях он забыл захватить с собой в лодку что-нибудь подходящее. Когда он выбрасывал тело за борт, то, конечно, обнаружил свой недосмотр, но уже не мог его исправить. Он готов был пойти на любой риск, лишь бы не возвращаться к этому проклятому берегу. Избавившись от своего жуткого балласта, убийца, без сомнения, поспешил к городу. Там он выпрыгнул на какую-нибудь темную пристань. Но лодка? Привязал ли он ее? Нет, он слишком торопился, чтобы тратить время на привязывание лодки. Кроме того, он почувствовал бы, что, привязывая ее к пристани, тем самым оставляет там страшную улику против себя. Ему, естественно, хотелось избавиться от

всего, что было связано с его преступлением. Он не только сам бежал без оглядки от этой пристани, но никак не мог оставить там лодку. Конечно же, он пустил ее плыть по течению. Последуем и дальше за игрой нашего воображения. Утром негодяй с ужасом узнает, что лодку поймали и отвели туда, где он имеет обыкновение бывать чуть ли не ежедневно, туда, где он, возможно, обязан бывать по долгу службы. В эту же ночь, не посмев взять из конторы руль, он забирает лодку. Итак, где теперь находится эта лодка, лишенная руля? Вот что нам надо узнать прежде всего. Первые сведения о ней будут нашим первым шагом к верному успеху. Эта лодка с быстротой, которая удивит даже нас самих, приведет нас к тому, кто плыл на ней в полночь этого рокового воскресенья. Одно подтверждение последует за другим, и убийца будет обнаружен.

(По причинам, которые мы не будем называть, но которые многие наши читатели поймут без всяких объяснений, мы взяли на себя смелость изъять из врученной нам рукописи подробности того, как были использованы немногочисленные улики, обнаруженные Дюпеном. Мы считаем необходимым лишь вкратце сообщить, что цель была достигнута и что префект добросовестно, хотя и с большой неохотой, выполнил условия своего договора с шевалье. Статья мистера По завершается следующим образом.— *Ред.* [1])

Само собой разумеется, что я говорю тут только о совпадениях и ни о чем другом. Того, что я сказал об этом выше, должно быть достаточно. В моем собственном сердце нет веры в сверхъестественное. Ни один мыслящий человек не станет отрицать двоицы — Природы и ее Бога. Бесспорно и то, что последний, творя первую, может по своей воле управлять ею и изменять ее. Я говорю — «по своей воле», ибо речь здесь идет о воле, а не о власти, как это предполагает безумие логики. Конечно, Всевышний может менять свои законы, но мы оскорбляем его, выдумывая необходимость такого изменения. Эти законы с самого начала были созданы так, чтобы обнять любые возможности, какие только таило в себе будущее. Для Бога все — только ТЕПЕРЬ.

И я повторяю, что рассматриваю все, о чем здесь шла речь, только как совпадения. И далее: вдумываясь в мой рассказ, нетрудно усмотреть, что между судьбой злополучной Мэри Сесилии Роджерс — насколько эта судьба известна — и историей некой Мари Роже вплоть до определенного момента существует параллелизм, поразительная точность которого приводит в смущение рассудок. Да, усмотреть это нетрудно. Но не следует полагать, будто я продолжил грустную историю Мари после упомянутого выше момента и проследил весь путь раскрытия тайны ее смерти с задней мыслью, желая намекнуть на дальнейшие совпадения или даже давая понять, что меры, принятые в Париже для обнаружения убийцы хо-

[1] Из журнала, в котором впервые была напечатана эта статья.

рошенькой гризетки, или меры, опирающиеся на сходный анализ, привели бы и здесь к таким же результатам.

Ведь следует помнить, что при таком ходе рассуждений даже самое крохотное различие в фактах того и другого случая могло бы привести к колоссальному просчету, потому что тут обе цепи событий начали бы расходиться. Точно так же в арифметике ошибка, сама по себе ничтожнейшая, в ходе вычислений после ряда умножений может дать результат, чрезвычайно далекий от истинного. К тому же не следует забывать, что та самая теория вероятности, на которую я ссылался, налагает запрет на всякую мысль о продолжении такого рода параллелизма — налагает с решительностью, находящейся в прямой зависимости от длительности и точности уже установленного параллелизма. Это — одна из тех аномалий, которые, хотя и чаруют умы, далекие от математики, тем не менее полностью постижимы только для математиков. Например, обычного читателя почти невозможно убедить, что при игре в кости двукратное выпадение шестерки делает почти невероятным выпадение ее в третий раз и дает все основания поставить против этого любую сумму. Заурядный интеллект не может этого воспринять, он не может усмотреть, каким образом два броска, принадлежащие уже прошлому, могут повлиять на бросок, существующий еще пока только в будущем. Возможность выпадения шестерки кажется точно такой же, как и в любом случае — то есть зависящей только от того, как именно будет брошена кость. И это представляется настолько очевидным, что всякое возражение обычно встречается насмешливой улыбкой, а отнюдь не выслушивается с почтительным вниманием. Суть скрытой тут ошибки — грубейшей ошибки — я не могу объяснить в пределах места, предоставленного мне здесь, а людям, искушенным в философии, никакого объяснения и не потребуется. Тут достаточно будет сказать, что она принадлежит к бесконечному ряду ошибок, которые возникают на пути Разума из-за его склонности искать истины в частностях.

ЗОЛОТОЙ ЖУК

Глядите! Хо! Он пляшет, как безумный.
Тарантул укусил его...

«Все не правы»



НОГО ЛЕТ ТОМУ НАЗАД МНЕ ДОВЕЛОСЬ близко познакомиться с неким Вильямом Леграном. Он происходил из старинной гугенотской семьи и был прежде богат, но неудачи, следовавшие одна за другой, довели его до нищеты. Чтобы избегнуть унижений, связанных с потерей богатства, он покинул Новый Орлеан, город своих предков, и поселился на Сэлливановом острове, поблизости от Чарлстона в Южной Каролине.

Это очень странный остров. Он тянется в длину мили на три и состоит почти что из одного морского песка. Ширина его нигде не превышает четверти мили. От материка он отделен едва заметным проливом, вода в котором с трудом пробивает себе путь сквозь тину и густой камыш — убежище болотных курочек. Деревьев на острове мало, и растут они плохо. Настоящего дерева не встретишь совсем. На западной оконечности острова, где возвышается форт Моултри и стоит несколько жалких строений, заселенных в летние месяцы городскими жителями, спасающимися от лихорадки и чарлстонской пыли,— можно увидеть колючую карликовую пальму. Зато весь остров, если не считать этого мыса на западе и белой, твердой как камень, песчаной каймы на взморье, покрыт частой зарослью душистого мирта, столь высоко ценимого английскими садоводами. Кусты его достигают нередко пятнадцати двадцати футов и образуют сплошную чащу, наполняющую воздух тяжким благоуханием и почти непроходимую для человека.

В сокровенных глубинах миртовой чащи, ближе к восточной, удаленной от материка оконечности острова, Легран соорудил себе хижину, где и обитал, когда я, по воле случая, с ним познакомился. Знакомство вскоре перешло в дружбу. Многое в характере отшельника внушало интерес и уважение. Я увидел, что он отлично образован и наделен недюжинными способностями, но вместе с тем заражен мизантропией и страдает от болезненного состояния ума, впадая попере-

менно то в восторженность, то в угрюмость. У Леграна было немало книг, но он редко к ним обращался. Он предпочитал охотиться и ловить рыбу или же бродить по прибрежному песку и миртовым зарослям в поисках раковин и насекомых. Его коллекции насекомых позавидовал бы Сваммердам. В этих странствиях Леграна обычно сопровождал старый негр Юпитер. Он был отпущен на волю еще до разорения семьи; однако ни угрозами, ни посулами Юпитера нельзя было убедить, что он лишился неотъемлемого, как он полагал, права следовать повсюду за своим «масса Виллом». Возможно, впрочем, что родные Леграна, обеспокоенные его психической неуравновешенностью, поддерживали это упорство в Юпитере, чтобы не оставить беглеца без всякого попечения.

Зимы на широте Сэлливанова острова редко бывают очень суровыми, и в осеннее время почти никогда не приходится разводить огонь в помещении. В средних числах октября 18... года выдался, однако, необычайно холодный день. Перед самым заходом солнца я пробрался сквозь вечнозеленые заросли к хижине моего друга, которого не видел уже несколько недель. Я жил в Чарлстоне, в девяти милях от острова, и удобства сообщения в те дни далеко отставали от нынешних. Добравшись до хижины, я постучал, как обычно, и, не получив ответа, разыскал в тайном месте ключ, отомкнул замок и вошел. В камине пылал славный огонь. Это было неожиданно и весьма кстати. Я сбросил пальто, опустился в кресло поближе к потрескивавшим поленьям и стал терпеливо ждать возвращения хозяев.

Они пришли вскоре после наступления темноты и сердечно меня приветствовали. Юпитер, улыбаясь до ушей, стал хлопотать по хозяйству, приготовляя на ужин болотных курочек. У Леграна был очередной приступ восторженности — не знаю, как точнее именовать его состояние. Он нашел двустворчатую раковину, какой не встречал ранее, и, что еще более радовало его, выследил и с помощью Юпитера поймал жука, неизвестного, по его словам, доселе науке. Он сказал, что завтра хочет услышать мое суждение об этом жуке.

— А почему не сегодня? — спросил я, потирая руки у огня и мысленно посылая к чертям всех жуков на свете.

— Если бы я знал, что вы здесь! — воскликнул Легран.— Но ведь мы так давно не виделись. Как я мог угадать, что именно сегодня вечером вы к нам пожалуете? Когда мы с Юпитером шли домой, то повстречали лейтенанта Дж. из форта, и я по какой-то глупости отдал ему на время жука. Так что сейчас жука не достанешь. Переночуйте, и мы пошлем за ним Юпа, как только взойдет солнце. Это просто восторг.

— Что? Восход солнца?

— К черту солнце! Я — о жуке! Он ослепительно золотой, величиной с крупный лесной орех, и на спине у него три пятнышка, черных как смоль. Два круглых повыше и одно продолговатое книзу. А усики и голову...

— Где же там олово, масса Вилл, послушайте-ка меня,—

вмешался Юпитер,— жук весь золотой, чистое золото, внутри и снаружи; только вот пятна на спинке. Такого тяжелого жука я еще в жизни не видел.

— Допустим, что все это так, и жук из чистого золота,— сказал Легран, как мне показалось, более серьезным тоном, чем того требовали обстоятельства,— но почему же, Юп, мы должны из-за этого есть пережаренный ужин? Действительно, жук таков,— продолжал он, обращаясь ко мне,— что я почти готов согласиться с Юпитером. Надкрылья излучают яркий металлический блеск — в этом вы сами сможете завтра же убедиться. Пока что я покажу вам, каков он на вид.

Легран сел за столик, где было перо и чернильница. Бумаги не оказалось. Он поискал в ящике, но и там ничего не нашел.

— Не беда,— промолвил он наконец,— обойдусь этим.— Он вытащил из жилетного кармана очень грязный клочок бумаги и, взяв перо, стал бегло набрасывать свой рисунок. Пока он был этим занят, я продолжал греться; озноб мой еще не прошел. Легран закончил рисунок и протянул его мне, не поднимаясь со стула. В эту минуту послышался громкий лай и царапанье у входной двери. Юпитер распахнул ее, и огромный ньюфаундленд Леграна ворвался в комнату и бурно меня приветствовал, положив свои лапы мне прямо на плечи; я подружился с ним еще в прежние посещения. Когда пес утих, я взглянул на бумагу, которую все это время держал в руке, и, по правде сказать, был немало озадачен рисунком моего друга.

— Что же,— сказал я, наглядевшись на него вдосталь,— это действительно странный жук. Признаюсь, совершеннейшая новинка, никогда ничего подобного не видывал. По-моему, больше всего этот жук походит на череп, каким его принято изображать на эмблемах. Да что там походит!.. Форменный череп!

— Череп? — отозвался Легран.— Пожалуй, что так, в особенности на моем рисунке. Общая форма овальная. Два черных пятнышка сверху напоминают глазницы, не так ли? А нижнее удлиненное пятнышко можно счесть за оскал черепа.

— Может быть, что и так, Легран,— сказал я ему,— но рисовальщик вы слабый. Я подожду судить о жуке, пока не увижу его собственными глазами.

— Как вам угодно,— отозвался он с некоторой досадой,— но, по-моему, я рисую недурно, по крайней мере, я привык так считать. У меня были отличные учителя, и позволю себе заметить, чему-то я должен был у них научиться.

— В таком случае вы дурачите меня, милый друг,— сказал я ему.— Вы нарисовали довольно порядочный череп, готов допустить даже, хотя я и полный профан в остеологии, что вы нарисовали замечательный череп, и если ваш жук на самом деле похож на него, это самый поразительный жук на свете. Жук с такой внешностью должен вызывать суеверное чувство. Я не сомневаюсь, что вы назовете его Scarabaeus caput ho-

minis [1] или как-нибудь еще в этом роде; естественная история полна подобных наименований. Хорошо, а где же у него усики?

— Усики? — повторил Легран, которого наш спор почему-то привел в дурное расположение духа.— Разве вы их не видите? Я нарисовал их в точности, как в натуре. Думаю, что большего вы от меня не потребуете.

— Не стоит волноваться,— сказал я,— может быть, вы их и нарисовали, Легран, но я их не вижу.— И я отдал ему рисунок без дальнейших замечаний, не желая сердить его. Я был удивлен странным оборотом, который приняла эта история. Раздражение Леграна было мне непонятно. На его рисунке не было никаких усиков, и жук как две капли воды походил на череп.

Он с недовольным видом взял у меня бумагу и уже скомкал ее, намереваясь, видимо, бросить в огонь, когда что-то в рисунке вдруг завладело его вниманием. Легран сперва залился яркой краской, потом стал белее мела. Некоторое время он разглядывал свой рисунок, словно изучая его. Потом встал и, забрав свечу со стола, пересел на сундук в другом конце комнаты. Там он снова уставился на бумагу, поворачивая ее то так, то эдак, однако хранил молчание. Хотя его поведение было довольно странным, я счел за лучшее тоже молчать; как видно, он погружался в свое угрюмое настроение. Легран достал из кармана бумажник, тщательно спрятал туда рисунок, затем положил бумажник в бюро и замкнул его там на ключ. Он как будто очнулся, но прежнее оживление уже не вернулось к нему. Он не был мрачен, но его мысли где-то блуждали. Рассеянность Леграна все возрастала, и мои попытки развлечь его не имели успеха. Я думал сперва заночевать в гостях, как бывало уже не раз, но, считаясь с настроением хозяина, решил вернуться домой. Легран меня не удерживал; однако, прощаясь, пожал мне руку сердечнее обыкновенного.

По прошествии месяца, в течение которого я не имел ни малейших сведений о Легране, меня посетил в Чарлстоне Юпитер. Я никогда не видел старого добряка-негра таким удрученным, и меня охватила тревога: уж не случилось ли чего с моим другом?

— Ну, Юп,— сказал я,— что там у вас? Как поживает твой господин?

— По чести говоря, масса, он нездоров.

— Нездоров? Ты пугаешь меня! На что он жалуется?

— В том-то и штука! Ни на что он не жалуется. Но он очень болен.

— Очень болен, Юпитер? Что же ты сразу мне не сказал? Лежит в постели?

— Где там лежит! Его и с собаками не догонишь! В том-то и горе! Ох, болит у меня душа! Бедный мой масса Вилл!..

[1] Жук — человеческая голова *(лат.)*.

— Юпитер, я хочу все-таки знать, в чем у вас дело. Ты сказал, что хозяин твой болен. Не говорил он тебе, что у него болит?

— Вы не серчайте, масса. Не знаю, что с ним стряслось. А я вот спрошу вас, почему масса Вилл ходит весь день, уставившись в землю, а сам белый, как гусь? И почему он все время считает?

— Что он делает?

— Считает да цифры пишет, таких чудных цифр я отроду не видал. Страх за него берет. Смотрю за ним в оба, глаз не спускаю. А вчера проворонил, он убежал, солнце еще не вставало, и пропадал до ночи. Я вырезал толстую палку, хотел отлупить его, когда он придет, да пожалел, старый дурак, уж очень он грустный вернулся...

— Как? Что? Отлупить его?.. Нет, Юпитер, не будь слишком суров с беднягой, не бей его, он этого не перенесет. Скажи лучше вот что: как ты считаешь, что послужило причиной болезни твоего господина или, вернее, этого странного поведения? Не приключилось ли с ним что дурное после того, как я приходил к вам?

— После того, как вы приходили, масса, ничего такого не приключилось. В тот самый день приключилось.

— Что? О чем ты толкуешь?

— Известно, масса, о чем! О жуке!

— О чем?

— О жуке. Я так думаю, что золотой жук укусил масса Вилла в голову.

— Золотой жук укусил его? Эка напасть!

— Вот-вот, масса, очень большая пасть, и когти тоже здоровые. В жизни не видел такого жука, бьет ногами, как лошадь, и кусает все, что ему подвернется. Масса Вилл схватил его да и выронил, тут же выронил, вот тогда жук наверно и укусил его. А мне морда этого жука не понравилась, и я сразу решил — голыми руками брать его ни за что не стану. Поднял я клочок бумаги да в бумагу и завернул его, а край бумаги в пасть ему сунул, вот что я сделал!

— Значит, ты действительно думаешь, что твоего хозяина укусил жук и это причина его болезни?

— Ничего я не думаю — точно вам говорю. Если бы его не укусил золотой жук, разве ему снилось бы золото? Я много кое-чего слыхал про таких золотых жуков.

— А откуда ты знаешь, что ему снится золото?

— Откуда я знаю? Да он говорит про это во сне. Вот откуда я знаю.

— Хорошо, Юп, может быть, ты и прав. Ну а каким же счастливым обстоятельствам я обязан чести твоего сегодняшнего визита?

— О чем это вы толкуете, масса?

— Ты привез мне какое-нибудь послание от господина Леграна?

— Нет, масса. Но он приказал передать вам вот это.

И Юпитер вручил мне записку следующего содержания:

«Дорогой N!
Почему вы совсем перестали бывать у нас? Неужели вы приняли близко к сердцу какую-нибудь очередную мою brusquerie? [1] Нет, это, конечно, не так.

За время, что мы не виделись с вами, у меня появилась забота. Хочу рассказать вам о ней, но не знаю, как браться за это, да и рассказывать ли вообще.

Последние дни я был не совсем здоров, и старина Юп вконец извел меня своим непрошеным попечением. Вчера, представьте, он приготовил огромнейшую дубину, чтобы побить меня за то, что я ускользнул от него и прогулял весь день solus [2] в горах на материке. Кажется, только нездоровье спасло меня от неожиданной взбучки.

Со времени нашей встречи ничего нового в моей коллекции не прибавилось.

Если у вас есть хоть какая-нибудь возможность, приезжайте вместе с Юпитером. Очень прошу вас. Мне нужно увидеться с вами сегодня же вечером по важному делу. Поверьте, что это дело великой важности. Ваш, как всегда,

Вильям Легран»

Что-то в тоне этой записки сразу вселило в меня тревогу. Весь ее стиль был так непохож на Леграна. Что взбрело ему в голову? Какая новая блажь завладела его необузданным воображением? Что за «дело великой важности» могло быть у него, у Леграна? Рассказ Юпитера не предвещал ничего доброго. Я опасался, что неотвязные мысли о постигшем его несчастье надломили рассудок моего друга. Не колеблясь, я решил тотчас же ехать вместе с негром.

Когда мы пришли к пристани, я увидел на дне лодки, на которой нам предстояло плыть, косу и лопаты, как видно, совсем новые.

— Это что, Юп? — спросил я.

— Коса и еще две лопаты, масса.

— Ты совершенно прав. Но откуда они взялись?

— Масса Вилл приказал мне купить их в городе, и я отдал за них чертову уйму денег.

— Во имя всего, что есть таинственного на свете, зачем твоему «масса Виллу» коса и лопаты?

— Зачем — я не знаю, и черт меня побери, если он сам знает. Все дело в жуке!

Видя, что от Юпитера толку сейчас не добьешься и что все его мыслительные способности парализованы этим жуком, я вскочил в лодку и поднял парус. Сильный попутный ветер быстро пригнал нас в опоясанную скалами бухточку к северу от форта Моултри, откуда нам оставалось до хижины около двух миль. Мы пришли в три часа пополудни. Легран ожидал

---

[1] Резкость *(фр.)*.
[2] Один *(лат.)*.

нас с видимым нетерпением. Здороваясь, он крепко стиснул мне руку, и эта нервическая горячность вновь пробудила и усилила мои недавние опасения. В лице Леграна сквозила какая-то мертвенная бледность, запавшие глаза сверкали лихорадочным блеском. Осведомившись о его самочувствии и не зная, о чем еще говорить, я спросил, получил ли он от лейтенанта Дж. своего золотого жука.

— О да! — ответил он, заливаясь ярким румянцем.— На другое же утро! Ничто не разлучит меня теперь с этим жуком. Знаете ли вы, что Юпитер был прав?

— В чем Юпитер был прав? — спросил я, и меня охватило горестное предчувствие.

— Жук — из чистого золота!

Он произнес эти слова с полной серьезностью. Я был глубоко потрясен.

— Этот жук принесет мне счастье,— продолжал Легран, торжествующе усмехаясь,— он вернет мне утраченное родовое богатство. Что ж удивительного, что я его так ценю? Он ниспослан самой судьбой и вернет мне богатство, если только я правильно пойму его указания. Юпитер, пойди принеси жука!

— Что? Жука, масса? Не буду я связываться с этим жуком. Несите его сами.

Легран поднялся с важным видом и вынул жука из застекленного ящика, где он хранил его.

Жук был действительно великолепен. В научной ценности находки Леграна не могло быть сомнений — натуралисты в то время еще не знали таких жуков. На спинке виднелись с одной стороны два черных округлых пятнышка, и ниже с другой — еще одно, подлиннее. Надкрылья были удивительно твердыми и блестели действительно как полированное золото. Тяжесть жука была тоже весьма необычной. Учитывая все это, можно было не так уж строго судить Юпитера. Но как мог Легран разделять суждение Юпитера, оставалось для меня неразрешимой загадкой.

— Я послал за вами,— начал Легран торжественным тоном, когда я кончил осмотр,— я послал за вами, чтобы испросить совета и вашей помощи для уяснения воли Судьбы и жука...

— Дорогой Легран,— воскликнул я, прерывая его,— вы совсем больны, вам надо лечиться. Ложитесь сейчас же в постель, и я побуду с вами несколько дней, пока вам не станет полегче. Вас лихорадит.

— Пощупайте мне пульс,— сказал он.

Я пощупал ему пульс и вынужден был признать, что никакой лихорадки у него не было.

— Бывают болезни и без лихорадки. Послушайтесь на этот раз моего совета. Прежде всего в постель. А затем...

— Вы заблуждаетесь,— прервал он меня.— Я совершенно здоров, но меня терзает волнение. Если вы действительно желаете мне добра, помогите мне успокоиться.

— А как это сделать?

— Очень просто. Мы с Юпитером собираемся в экспедицию на материк, в горы, и нам нужен верный помощник. Вы единственный, кому мы полностью доверяем. Ждет нас там успех или же неудача, все равно это волнение во мне сразу утихнет.

— Я буду счастлив, если смогу быть полезным,— ответил я,— но, скажите, этот дурацкий жук имеет какое-нибудь отношение к вашей экспедиции в горы?

— Да!

— Если так, Легран, я отказываюсь принимать участие в вашей нелепой затее.

— Жаль! Очень жаль! Нам придется идти одним.

Идти одним! Он действительно сумасшедший!

— Погодите! Сколько времени вы намереваетесь пробыть там?

— Должно быть, всю ночь. Мы выйдем сию же минуту и к восходу солнца вернемся домой, что бы там ни было.

— А вы поклянетесь честью, что, когда ваша прихоть будет исполнена и вся эта затея с жуком (боже правый!) благополучно закончится, вы вернетесь домой и станете слушаться меня, как если бы я был вашим домашним врачом?

— Да. Обещаю. Скорее в путь! Время не ждет!

С тяжелым сердцем решился я сопровождать моего друга. Было около четырех часов дня, когда мы пустились в путь — Легран, Юпитер, собака и я. Юпитер нес косу и лопаты; он настоял на этом не от избытка любезности или же прилежания, но, как я полагаю, из страха доверить эти орудия своему господину. Вид у него был преупрямый. «Чертов жук!» — вот единственное, что я услышал от него за все путешествие. Мне поручили два потайных фонаря. Легран нес жука. Жук был привязан к концу шнура, и Легран крутил его на ходу, как заклинатель. Когда я заметил это новое явное доказательство безумия моего друга, я с трудом удержался от слез. Тем не менее я пока решил ни в чем не перечить Леграну и ждать случая, когда я смогу предпринять какие-либо энергичные меры. Я попытался несколько раз завязать беседу о целях похода, но безуспешно. Уговорив меня идти вместе с ним и довольный этим, Легран, видимо, не хотел больше вести никаких разговоров и на все мои расспросы отвечал односложно: «Увидим!»

Дойдя до мыса, мы сели в ялик и переправились на материк. Потом взобрались по высокому берегу и, взяв направление на северо-запад, углубились в дикий, пустынный край, где, казалось, никогда не ступала нога человека. Легран уверенно вел нас вперед, лишь изредка останавливаясь и сверяясь с ориентирами, которые, видимо, заприметил, посещая эти места до того.

Так мы шли часа два, и на закате перед нами открылась угрюмая местность, еще более мрачная, чем все, что мы видели до сих пор. Это был род плато, раскинувшегося у под-

ножья почти неприступного склона и поросшего лесом от низу до самого верха. Склон был усеян громадными валунами, которые, казалось, не падали вниз, в долину, лишь потому, что деревья преграждали им путь. Глубокие расселины пересекали плато во всех направлениях и придавали пейзажу еще большую дикость.

Плоскогорье, по которому мы поднимались, сплошь поросло ежевикой. Вскоре стало ясно, что без косы нам сквозь заросли не пробраться. По приказу Леграна Юпитер стал выкашивать для нас тропинку к тюльпановому дереву необыкновенной высоты, которое стояло, окруженное десятком дубов, и далеко превосходило и эти дубы, и вообще все деревья, какие мне приходилось когда-либо видеть, раскидистой кроной, величавой красотой листвы и царственностью общих очертаний. Когда мы пришли наконец к цели, Легран обернулся к Юпитеру и спросил, сможет ли он взобраться на это дерево. Старик был сперва озадачен вопросом и ничего не ответил. Потом, подойдя к лесному гиганту, он обошел ствол кругом, внимательно вглядываясь. Когда осмотр был закончен, Юпитер сказал просто:

— Да, масса! Еще не выросло такого дерева, чтобы Юпитер не смог на него взобраться.

— Тогда не мешкай и лезь, потому что скоро станет темно и мы ничего не успеем сделать.

— Высоко залезть, масса? — спросил Юпитер.

— Взбирайся вверх по стволу, пока я не крикну... Эй, погоди. Возьми и жука!

— Жука, масса Вилл? Золотого жука? — закричал негр, отшатываясь в испуге.— Что делать жуку на дереве? Будь я проклят, если его возьму.

— Слушай, Юпитер, если ты, здоровенный рослый негр, боишься тронуть это безвредное мертвое насекомое, тогда держи его так, на шнурке, но если ты вовсе откажешься взять жука, мне придется, как это ни грустно, проломить тебе голову вот этой лопатой.

— Совсем ни к чему шуметь, масса,— сказал Юпитер, как видно, пристыженный и ставший более сговорчивым.— Всегда вы браните старого негра. А я пошутил, и только! Что я, боюсь жука? Подумаешь, жук!

И, осторожно взявшись за самый конец шнура, чтобы быть от жука подальше, он приготовился лезть на дерево.

Тюльпановое дерево, или Liriodendron Tulipiferum,— великолепнейшее из деревьев, произрастающих в американских лесах. В юном возрасте оно отличается необыкновенно гладким стволом и выгоняет ветви лишь на большой высоте. Однако, по мере того как оно стареет, кора на стволе становится неровной и узловатой, а вместе с тем появляются короткие сучья. Так что задача, стоявшая перед Юпитером, казалась невыполнимой только на первый взгляд. Крепко обняв огромный ствол коленями и руками, нащупывая пальцами босых ног неровности коры для упора и раза два счастливо

избежав падения, Юпитер добрался до первой развилины ствола и, видимо, считал свою миссию выполненной. Главная опасность действительно была позади, но Юпитер находился на высоте в шестьдесят или семьдесят футов.

— Куда мне лезть дальше, масса Вилл? — спросил он.

— По толстому суку вверх, вон с той стороны,— ответил Легран.

Негр тотчас повиновался, лезть было, должно быть, нетрудно. Он подымался все выше, и скоро его коренастая фигура исчезла из виду, потерявшись в густой листве. Потом послышался голос как будто издалека:

— Сколько еще лезть?

— Где ты сейчас? — спросил Легран.

— Высоко, высоко! — ответил негр.— Вижу верхушку дерева, а дальше — небо.

— Поменьше гляди на небо и слушай внимательно, что я тебе скажу. Посмотри теперь вниз и сочти, сколько всего ветвей на суку, на который ты влез. Сколько ветвей ты миновал?

— Одна, две, три, четыре, пять. Подо мной пять ветвей, масса.

— Поднимись еще на одну.

Вскоре Юпитер заверил нас, что он добрался до седьмой ветви.

— А теперь, Юп,— закричал Легран, вне себя от волнения,— ты полезешь по этой ветви, пока она будет тебя держать! А найдешь что-нибудь, крикни.

Если у меня еще оставались какие-либо сомнения по поводу помешательства моего друга, то теперь их не стало. Увы, он был сумасшедший! Следовало подумать о том, как доставить его домой. Пока я терялся в мыслях, опять послышался голос Юпитера:

— По этой ветви я боюсь дальше лезть. Она почти вся сухая.

— Ты говоришь, что она сухая, Юпитер? — закричал Легран прерывающимся голосом.

— Да, масса, мертвая, готова для того света.

— Боже мой, что же делать? — воскликнул Легран, как видно, в отчаянии.

— Что делать? — откликнулся я, обрадованный, что наступил мой черед сказать свое слово.— Вернуться домой и сразу в постель. Будьте умницей, уже поздно, и к тому же вы мне обещали.

— Юпитер! — закричал он, не обращая на мои слова никакого внимания.— Ты слышишь меня?

— Слышу, масса Вилл, как не слышать!

— Возьми нож. Постругай эту ветвь. Может быть, она не очень гнилая.

— Она, конечно, гнилая,— ответил негр немного спустя,— да не такая гнилая. Пожалуй, я немного продвинусь вперед. Но только один.

— Что это значит? Разве ты и так не один?

— Я про жука. Жук очень, очень тяжелый. Если я брошу его вниз, я думаю, одного старого негра этот сук выдержит.

— Старый плут! — закричал Легран с видимым облегчением.— Не городи вздора! Если ты бросишь жука, я сверну тебе шею. Эй, Юпитер, ты слышишь меня?

— Как не слышать, масса? Нехорошо так ругать бедного негра.

— Так вот, послушай! Если ты проберешься еще немного вперед, осторожно, конечно, чтобы не грохнуться вниз, и если ты будешь держать жука, я подарю тебе серебряный доллар, сразу, как только ты спустишься.

— Хорошо, масса Вилл, лезу,— очень быстро ответил Юпитер,— а вот уже и конец.

— Конец ветви? — вскричал Легран.— Ты правду мне говоришь, ты на конце ветви?

— Не совсем на конце, масса... Ой-ой-ой! Господи боже мой! Что это здесь на дереве?

— Ну? — крикнул Легран, очень довольный.— Что ты там видишь?

— Да ничего, просто череп. Кто-то забыл свою голову здесь на дереве, и вороны склевали все мясо.

— Ты говоришь — череп?! Отлично! А как он там держится? Почему он не падает?

— А верно ведь, масса! Сейчас погляжу. Что за притча такая! Большой длинный гвоздь. Череп прибит гвоздем.

— Теперь, Юпитер, делай в точности, что я скажу. Слышишь меня?

— Слышу, масса.

— Слушай меня внимательно! Найди левый глаз у черепа.

— Угу! Да! А где же у черепа левый глаз, если он вовсе безглазый?

— Ох, какой ты болван, Юпитер! Знаешь ты, где у тебя правая рука и где левая?

— Знаю, как же не знать, левой рукой я колю дрова.

— Правильно. Ты левша. Так вот, левый глаз у тебя с той стороны, что и рука. Ну, сумеешь теперь отыскать левый глаз у черепа, то место, где был левый глаз?

Юпитер долго молчал, потом он сказал:

— Левый глаз у черепа с той стороны, что и рука у черепа? Но у черепа нет левой руки... Что ж, на нет и суда нет! Вот я нашел левый глаз. Что мне с ним делать?

— Пропусти сквозь него жука и спусти его вниз, сколько хватит шнура. Только не урони.

— Пропустил, масса Вилл. Это самое плевое дело — пропустить жука через дырку. Смотрите-ка!

Во время этого диалога Юпитер был скрыт листвой дерева. Но жук, которого он спустил вниз, виднелся теперь на конце шнурка. Заходящее солнце еще освещало возвышенность, где мы стояли, и в последних его лучах жук сверкнул, как полированный золотой шарик. Он свободно свисал между вет-

вей дерева, и если б Юпитер сейчас отпустил шнурок, тот упал бы прямо к нашим ногам. Легран быстро схватил косу и расчистил участок диаметром в девять — двенадцать футов, после чего он велел Юпитеру отпустить шнурок и слезать поскорее вниз..

Забив колышек точно в том месте, куда упал жук, мой друг вытащил из кармана землемерную ленту. Прикрепив ее за конец к стволу дерева, как раз напротив забитого колышка, он протянул ее прямо, до колышка, после чего, продолжая разматывать ленту и отступая назад, отмерил еще пятьдесят футов. Юпитер с косой в руках шел перед ним, срезая кусты ежевики. Дойдя до нужного места, Легран забил еще один колышек и, принимая его за центр, очистил круг диаметром примерно в четыре фута. Потом он дал по лопате мне и Юпитеру, сам взял лопату и приказал нам копать.

Откровенно скажу, я не питаю склонности к такого рода забавам даже при свете дня; теперь же спускалась ночь, а я и так изрядно устал от нашей прогулки. Всего охотнее я отказался бы. Но мне не хотелось противоречить моему бедному другу и тем усугублять его душевное беспокойство. Так что выхода не было. Если бы я мог рассчитывать на помощь Юпитера, то, ничуть не колеблясь, применил бы сейчас силу и увел бы безумца домой. Но я слишком хорошо знал старого негра и понимал, что ни при каких обстоятельствах он не поддержит меня против своего господина. Что до Леграна, мне стало теперь ясно, что он заразился столь обычной у нас на Юге манией кладоискательства и что его и без того пылкое воображение было подстегнуто находкой жука и еще, наверное, упрямством Юпитера, затвердившего, что найденный жук — «из чистого золота».

Подобные мании могут легко подтолкнуть к помешательству неустойчивый разум, особенно если они находят себе пищу в тайных стремлениях души. Я вспомнил слова моего бедного друга о том, что жук вернет ему родовое богатство. Я был раздосадован и вместе с тем глубоко огорчен. В конце концов я решил проявить добрую волю (поскольку не видел иного выхода) и принять участие в поисках клада, чтобы быстрейшим и самым наглядным образом убедить моего фантазера в беспочвенности его замысла.

Мы зажгли фонари и принялись рыть с усердием, которое заслуживало лучшего применения. Свет струился по нашим лицам, и я подумал, что мы втроем образуем весьма живописную группу и что случайный путник, который наткнется на нас, должен будет преисполниться странных мыслей и подозрений.

Так мы копали не менее двух часов. Мы сохраняли молчание, и нас смущал только лай собаки, которая выказывала необычайный интерес к нашей работе. Этот лай становился все более настойчивым, и мы начали опасаться, как бы он не привлек какого-нибудь бродягу, расположившегося по соседству на отдых. Точнее, боялся Легран; я был бы только

доволен, если бы смог при содействии постороннего человека вернуть домой моего путешественника. Разбушевавшегося пса утихомирил Юпитер, проявив при этом немалую изобретательность. Он вылез из ямы с решительным видом и стянул ему пасть своими подтяжками, после чего, хмуро посмеиваясь, снова взялся за лопату.

После двухчасовых трудов мы вырыли яму глубиной в пять футов, однако никаких признаков клада не было видно. Мы приостановились, и я стал надеяться, что комедия подходит к концу. Однако Легран, хотя и расстроенный, как я мог заметить, отер пот со лба и снова взялся за работу. Яма уже имела четыре фута в диаметре и занимала всю площадь очерченного Леграном круга. Теперь мы расширили этот круг, потом углубили яму еще на два фута. Результаты остались все теми же. Мой золотоискатель, которого мне было жаль от души, наконец вылез из ямы и принялся медленно и неохотно натягивать свой сюртук, который сбросил перед началом работы. В каждой черточке его лица сквозило горькое разочарование. Я молчал, Юпитер по знаку своего господина стал собирать инструменты. Потом он снял с собаки свой самодельный намордник, и мы двинулись в путь, домой, не произнеся ни слова.

Не успели пройти мы и десятка шагов, как Легран с громким проклятием повернулся к негру и крепко схватил его за ворот. Пораженный Юпитер разинул рот, выпучил глаза и, уронив лопаты, упал на колени.

— Каналья,— с трудом промолвил Легран сквозь сжатые зубы,— проклятый черный негодяй, отвечай мне немедленно, отвечай без уверток, где у тебя левый глаз?

— Помилуй бог, масса Вилл, вот у меня левый глаз, вот он! — ревел перепуганный Юпитер, кладя руку на правый глаз и прижимая его изо всей мочи, словно страшась, что его господин вырвет ему этот глаз.

— Так я и думал! Я знал! Ура! — закричал Легран, отпуская негра. Он исполнил несколько сложных танцевальных фигур, поразивших его слугу, который, поднявшись на ноги и словно окаменев, переводил взгляд с хозяина на меня и с меня опять на хозяина.

— За дело! — сказал Легран.— Вернемся! Мы еще выиграем эту игру! — И он повел нас обратно к тюльпановому дереву.

— Ну, Юпитер,— сказал Легран, когда мы снова стояли втроем у подножья дерева,— говори: как был прибит этот череп к ветке, лицом или наружу?

— Наружу, масса, так чтоб вороны могли клевать глаза без хлопот.

— Теперь говори мне, в какой ты глаз опустил жука — в тот или этот? — И Легран тронул пальцем сперва один глаз Юпитера и потом другой.

— В этот самый, масса, в левый, как вы велели! — Юпитер указывал пальцем на правый глаз.

— Отлично, начнем все сначала!

С этими словами мой друг, в безумии которого, как мне показалось, появилась теперь некоторая система, вытащил колышек, вбитый им ранее на месте падения жука, и переставил его на три дюйма к западу. Снова связав землемерной лентой колышек со стволом дерева, он отмерил еще пятьдесят футов до новой точки, отстоявшей от нашей ямы на несколько ярдов.

Мы очертили еще раз круг, несколько большего диаметра, чем предыдущий, и снова взялись за лопаты.

Я смертельно устал, но хотя и сам еще не отдавал себе в том отчета, прежнее отвращение к работе у меня почему-то исчезло. Каким-то неясным образом я стал испытывать к ней интерес, более того, меня охватило волнение. В нелепом поведении Леграна сквозило что-то похожее на предвидение, на продуманный план, и это, вероятно, оказало на меня свое действие. Продолжая усердно копать, я ловил себя несколько раз на том, что и сам со вниманием гляжу себе под ноги, в яму, словно тоже ищу на дне ее мифическое сокровище, мечта о котором свела с ума моего бедного друга. Мы трудились уже часа полтора, и эти странные прихоти мысли овладевали мной все настойчивее, когда нас опять всполошил отчаянный лай нашего пса. Если раньше он лаял из озорства или же из каприза, то теперь его беспокойство было нешуточным. Он не дался Юпитеру, когда тот опять хотел напялить ему намордник, и, прыгнув в яму, стал яростно разгребать лапами землю. Через пять-шесть секунд он отрыл два человеческих скелета, а вернее, груду костей, перемешанных с обрывками полуистлевшей шерстяной материи и металлическими пуговицами. Еще два удара лопатой — и мы увидели широкое лезвие испанского ножа и несколько монет, золотых и серебряных.

При виде монет Юпитер предался необузданной радости, но на лице его господина выразилось сильнейшее разочарование. Он умолял нас, однако, не прекращать работу. Не успел он вымолвить эту просьбу, как я оступился и тут же упал ничком, зацепившись ногой за большое железное кольцо, прикрытое рыхлой землей.

Теперь работа пошла уже не на шутку. Лихорадочное напряжение, испытанное за эти десять минут, я не решусь сравнить ни с чем в своей жизни. Мы отрыли продолговатый деревянный сундук, прекрасно сохранившийся. Необыкновенная твердость досок, из которых он был сколочен, наводила на мысль, что дерево подверглось химической обработке, вероятно, было пропитано двухлористой ртутью. Сундук был длиною в три с половиной фута, шириной в три фута и высотой — в два с половиной. Он был надежно окован железными полосами и обит заклепками. Перекрещиваясь, железные полосы покрывали сундук, образуя как бы решетку. С боков сундука под самую крышку было ввинчено по три железных кольца, всего шесть колец, так что за него могли взять-

ся разом шесть человек. Взявшись втроем, мы сумели только что сдвинуть сундук с места. Стало ясно, что унести такой груз нам не под силу. По счастью, крышка держалась лишь на двух выдвижных болтах. Дрожащими руками, не дыша от волнения, мы выдернули болты. Мгновение, и перед нами предстало сокровище. Когда пламя фонарей осветило яму, от груды золота и драгоценных камней взметнулся блеск такой силы, что мы были просто ослеплены.

Чувства, с которыми я взирал на сокровища, не передать словами. Прежде всего я, конечно, был изумлен. Легран, казалось, изнемогал от волнения и почти не разговаривал с нами. Лицо Юпитера на минуту стало смертельно бледным, если можно говорить о бледности применительно к черноте негра. Он был словно поражен громом. Потом он упал на колени и, погрузив по локоть в сокровища свои голые руки, блаженно застыл в этой позе, словно был в теплой ванне. Наконец, глубоко вздохнув, он произнес примерно такую речь:

— И все это сделал золотой жук! Милый золотой жук, бедный золотой жучок. А я-то его обижал, я бранил его! И не стыдно тебе, старый негр? Отвечай!..

Я оказался вынужденным призвать их обоих — и слугу и господина — к порядку; нужно было забрать сокровище. Спускалась ночь, до рассвета нам предстояло доставить его домой. Мы не знали, как взяться за дело, голова шла кругом, и много времени ушло на раздумья. Наконец мы извлекли из сундука две трети его содержимого, после чего, тоже не без труда, вытащили сундук из ямы. Вынутые сокровища мы спрятали в ежевичных кустах и оставили под охраной нашего пса, которому Юпитер строго-настрого приказал ни под каким видом не двигаться с места и не разевать пасти до нашего возвращения. Затем мы подняли сундук и поспешно двинулись в путь. Дорога была нелегкой, но к часу ночи мы благополучно пришли домой. Слишком измученные, чтобы идти обратно,— ведь и человеческая выносливость имеет предел,— мы закусили и дали себе отдых до двух часов; после чего, захватив три больших мешка, отыскавшихся, к нашему счастью, тут же на месте, мы поспешили назад. Около четырех часов — ночь уже шла на убыль — мы подошли к тюльпановому дереву, разделили остатки добычи на три примерно равные части, бросили ямы как есть, незасыпанными, снова пустились в путь и сложили драгоценную ношу в хижине у Леграна, когда первый слабый проблеск зари осветил восток над кромкою леса.

Мы изнемогали от тяжкой усталости, но внутреннее волнение не оставляло нас. Проспав три-четыре часа беспокойным сном, мы, словно уговорившись заранее, поднялись и стали рассматривать наши сокровища.

Сундук был наполнен до самых краев, и мы потратили весь этот день и большую часть ночи, перебирая сокровища. Они были свалены как попало. Видно было, что их бросали

в сундук не глядя. После тщательной разборки выяснилось, что доставшееся нам богатство даже значительнее, чем нам показалось с первого взгляда. Одних золотых монет, исчисляя стоимость золота по тогдашнему курсу, было не менее чем на четыреста пятьдесят тысяч долларов. Серебра там не было вовсе, одно только золото, иностранного происхождения и старинной чеканки — французское, испанское и немецкое, несколько английских гиней и еще какие-то монеты, нам совсем незнакомые. Попадались тяжелые большие монеты, стертые до того, что нельзя было прочитать на них надписи. Американских не было ни одной. Определить стоимость драгоценностей было труднее. Бриллианты изумили нас своим размером и красотой. Всего было сто десять бриллиантов, и среди них ни одного мелкого. Мы нашли восемнадцать рубинов удивительного блеска, триста десять превосходных изумрудов, двадцать один сапфир и один опал. Все камни были, как видно, вынуты из оправ и брошены в сундук небрежной рукой. Оправы же, перемешанные с другими золотыми вещами, были сплющены молотком, видимо, для того, чтобы нельзя было опознать драгоценности. Кроме того, что я перечислил, в сундуке было множество золотых украшений, около двухсот массивных колец и серег; золотые цепочки, всего тридцать штук, если не ошибаюсь; восемьдесят три тяжелых больших распятия; пять золотых кадильниц огромной ценности; большая золотая чаша для пунша, изукрашенная виноградными листьями и вакхическими фигурами искусной ювелирной работы; две рукоятки от шпаг с изящными чеканными украшениями и еще много мелких вещиц, которые я не в силах сейчас припомнить. Общий вес драгоценностей превышал триста пятьдесят английских фунтов. Я уж не говорю о часах, их было сто девяносто семь штук, и трое из них стоили не менее чем по пятьсот долларов. Часы были старинной системы, и ржавчина разрушила механизмы, но украшенные драгоценными камнями золотые крышки были в сохранности. В эту ночь мы оценили содержимое нашего сундука в полтора миллиона долларов. В дальнейшем, когда мы продали драгоценные камни и золотые изделия (некоторые безделушки мы сохранили на память), оказалось, что наша оценка клада была слишком скромной.

Когда наконец мы завершили осмотр и владевшее нами необычайное волнение чуть-чуть поутихло, Легран, который видел, что я сгораю от нетерпения и жажду получить разгадку этой поразительной тайны, принялся за рассказ, не упуская ни малейшей подробности.

— Вы помните,— сказал он,— тот вечер, когда я показал вам свой беглый набросок жука. Вспомните также, как я был раздосадован, когда вы сказали, что мой рисунок походит на череп. Вначале я думал, что вы просто шутите; потом я припомнил, как характерно расположены пятнышки на спинке жука, и решил, что ваше замечание не столь уж нелепо. Все же насмешка ваша задела меня — я считаюсь недурным

рисовальщиком. Потому, когда вы вернули мне этот клочок пергамента, я вспылил и хотел скомкать его и швырнуть в огонь.

— Клочок бумаги, вы хотите сказать,— заметил я.

— Нет! Я сам так думал вначале, но как только стал рисовать, обнаружилось, что это тонкий-претонкий пергамент. Как вы помните, он был очень грязен. Так вот, комкая его, я ненароком взглянул на рисунок, о котором шла речь. Представьте мое изумление, когда я тоже увидел изображение черепа на том самом месте, где только что нарисовал вам жука. В первую минуту я растерялся. Я ведь отлично знал, что сделанный мною рисунок не был похож на тот, который я увидел сейчас, хотя в их общих чертах и можно было усмотреть нечто сходное. Я взял свечу и, усевшись в другом конце комнаты, стал исследовать пергамент более тщательно. Перевернув его, я тотчас нашел свой рисунок, совершенно такой, каким он вышел из-под моего пера. Близость этих изображений на двух сторонах пергамента была поистине странной. На обороте пергамента, в точности под моим рисунком жука, был нарисован череп, который напоминал моего жука и размером и очертаниями! Невероятное совпадение на минуту ошеломило меня. Это обычное следствие такого рода случайностей. Рассудок силится установить причинную связь явлений и, потерпев неудачу, оказывается на время как бы парализованным. Когда я пришел в себя, меня осенила вдруг мысль, которая была еще удивительнее, чем то совпадение, о котором я говорю. Я совершенно ясно, отчетливо помнил, что, когда я рисовал своего жука, на пергаменте не было никакого другого рисунка. Я был в этом совершенно уверен потому, что, отыскивая для рисунка местечко почище, поворачивал пергамент то одной, то другой стороной. Если бы череп там был, я бы, конечно, его заметил. Здесь таилась загадка, которую я не мог объяснить. Впрочем, скажу вам, уже тогда, в этот первый момент, где-то в далеких тайниках моего мозга чуть мерцало, подобное светлячку, то предчувствие, которое столь блистательно подтвердила вчера наша ночная прогулка. Я встал, спрятал пергамент в укромное место и отложил все дальнейшие размышления до того, как останусь один.

Когда вы ушли и Юпитер крепко уснул, я приступил к более методическому исследованию стоявшей передо мною задачи. Прежде всего я постарался восстановить обстоятельства, при которых пергамент попал ко мне в руки. Мы нашли жука на материке, в миле к востоку от острова и поблизости от линии прилива. Когда я схватил жука, он меня укусил, и я его сразу выронил. Юпитер, прежде чем взять упавшего возле него жука, стал с обычной своей осторожностью искать листок или еще что-нибудь, чем защитить свои пальцы. В ту же минуту и он и я, одновременно, увидели этот пергамент; мне показалось тогда, что это бумага. Пергамент лежал полузарытый в песке, только один уголок его торчал на поверхности. Поблизости я приметил остов корабельной шлюпки.

Видно, он пролежал здесь немалый срок, потому что от деревянной обшивки почти ничего не осталось.

Итак, Юпитер поднял пергамент, завернул в него золотого жука и передал его мне. Вскоре мы собрались домой. По дороге мы встретили лейтенанта Дж., я показал ему нашу находку, и он попросил у меня позволения взять жука с собой в форт. Я согласился, он быстро сунул жука в жилетный карман, оставив пергамент мне. Лейтенант поспешил воспользоваться моим разрешением и спрятал жука, быть может боясь, что я передумаю; вы ведь знаете, как горячо он относится ко всему, что связано с естествознанием. Я, в свою очередь, сунул пергамент в карман совсем машинально.

Вы помните, когда я подсел к столу, чтобы нарисовать жука, у меня не оказалось бумаги. Я заглянул в ящик, но и там ничего не нашел. Я стал рыться в карманах, рассчитывая отыскать какой-нибудь старый конверт, и нащупал пергамент. Я описываю с наивозможнейшей точностью, как пергамент попал ко мне: эти обстоятельства имеют большое значение.

Можете, если хотите, считать меня фантазером, но должен сказать, что уже в ту минуту я установил некоторую связь событий. Я соединил два звена длинной логической цепи. На морском побережье лежала шлюпка, неподалеку от шлюпки пергамент — не бумага, заметьте, пергамент, на котором был нарисован череп. Вы, конечно, спросите, где же здесь связь? Я отвечу, что череп — всем известная эмблема пиратов. Пираты, вступая в бой, поднимали на мачте флаг с изображением черепа.

Итак, я уже сказал, то была не бумага — пергамент. Пергамент сохраняется очень долго, то, что называется вечно. Его редко используют для ординарных записей уже потому, что писать или рисовать на бумаге гораздо легче. Это рождало мысль, что череп на нашем пергаменте был неспроста, а с каким-то особым значением. Я обратил внимание и на формат пергамента. Один уголок листа был по какой-то причине оборван, но первоначально пергамент был удлиненным. Это был лист пергамента, предназаченный для памятной записи, которую следует тщательно, долго хранить.

— Все это так,— прервал я Леграна,— но вы ведь сами сказали, что, когда рисовали жука на пергаменте, там не было черепа. Как же вы утверждаете, что существует некая связь между шлюпкой и черепом, когда вы сами свидетель, что этот череп был нарисован (один только бог знает кем!) уже после того, как вы нарисовали жука?

— А! Здесь-то и начинается тайна. Хотя должен сказать, что разгадка ее в этой части не составила для меня большого труда. Я не давал своим мыслям сбиться с пути, логика же допускала только одно решение. Рассуждал я примерно так. Когда я стал рисовать жука, на пергаменте не было никаких признаков черепа. Я кончил рисунок, передал его вам и пристально за вами следил, пока вы мне не вернули

пергамент. Следовательно, не вы нарисовали там череп. Однако помимо вас нарисовать его было некому. Значит, череп вообще нарисован не был. Откуда же он взялся?

Тут я постарался припомнить с полной отчетливостью решительно все, что случилось в тот вечер. Стояла холодная погода (о, редкий, счастливый случай!), в камине пылал огонь. Я разогрелся от быстрой ходьбы и присел у стола. Ну а вы пододвинули свое кресло еще ближе к камину. В ту же минуту, как я передал вам пергамент и вы стали его разглядывать, вбежал Волк, наш ньюфаундленд, и бросился вас обнимать. Левой рукой вы гладили пса, стараясь его отстранить, а правую руку с пергаментом опустили между колен, совсем близко к огню. Я побоялся даже, как бы пергамент не вспыхнул, и хотел уже вам об этом сказать, но не успел, потому что вы тут же подняли руку и стали снова его разглядывать. Когда я представил в памяти всю картину, то сразу уверился, что череп возник на пергаменте под влиянием тепла.

Вы, конечно, слыхали, что с давних времен существуют химические составы, при посредстве которых можно тайно писать и на бумаге и на пергаменте. Запись становится видимой под влиянием тепла. Растворите цафру в «царской водке» и разведите потом в четырехкратном объеме воды, чернила будут зелеными. Растворите кобальтовый королек в нашатырном спирте — они будут красными. Ваша запись вскоре исчезнет, но появится вновь; если вы прогреете бумагу или пергамент вторично.

Я стал тщательно рассматривать изображение черепа на пергаменте. Наружный контур рисунка — я имею в виду очертания его, близкие к краю пергамента,— выделялся отчетливее. Значит, действие тепла было либо малым, либо неравномерным. Я тотчас разжег огонь и стал нагревать пергамент над пылающим жаром. Вскоре очертания черепа проступили более явственно; когда же я продолжил свой опыт, то по диагонали от черепа в противоположном углу пергамента стала обозначаться фигура, которую я сперва принял за изображение козы. Более внимательное изучение рисунка убедило меня, что это козленок.

— Ха-ха-ха! — рассмеялся я.— Конечно, Легран, я не вправе смеяться над вами, полтора миллиона долларов не тема для шуток, но прибавить еще звено к вашей логической цепи вам здесь не удастся. Пират и коза несовместны. Пираты не занимаются скотоводством; это — прерогатива фермеров.

— Но я же сказал вам, что это была не коза.

— Не коза, так козленок, не вижу большой разницы.

— Большой я тоже не вижу, но разница есть,— ответил Легран,— сопоставьте два слова kid (козленок) и Kidd! Доводилось ли вам читать или слышать о капитане Кидде? Я сразу воспринял изображение животного как иероглифическую подпись, наподобие рисунка в ребусе. «Подпись» я говорю потому, что козленок был нарисован на нашем пергаменте именно в том самом месте, где ставится подпись. А изобра-

жение черепа в противоположном по диагонали углу в свою очередь наводило на мысль о печати или гербе. Но меня обескураживало отсутствие главного — текста моего воображаемого документа.

— Значит, вы полагали, что между печатью и подписью будет письмо?

— Да, в этом роде. Сказать по правде, мною уже овладевало непобедимое предчувствие огромной удачи. Почему, сам не знаю. Это было, быть может, не столько предчувствие, сколько самовнушение. Представьте, глупая шутка Юпитера, что жук — из чистого золота, сильно подействовала на меня. К тому же эта удивительная цепь случайностей и совпадений!.. Ведь все события пришлись на тот самый день, выпадающий, может быть, раз в году, когда мы топим камин. А ведь без камина и без участия нашего пса, который явился как раз в нужный момент, я никогда не узнал бы о черепе и никогда не стал бы владельцем сокровищ.

— Хорошо, что же дальше?

— Вы, конечно, знаете, что есть множество смутных преданий о кладах, зарытых Киддом и его сообщниками где-то на атлантическом побережье. В основе этих преданий, конечно, лежат факты. Предания живут с давних пор и не теряют своей живучести; на мой взгляд, это значит, что клад до сих пор не найден. Если бы Кидд сперва спрятал сокровище, а потом пришел и забрал его, едва ли предания дошли бы до нас все в той же устойчивой форме. Заметьте, предания рассказывают лишь о поисках клада, о находке в них нет ни слова. Но если бы пират отрыл сокровище, толки о нем затихли бы. Мне всегда казалось, что какая-нибудь случайность, скажем, потеря карты, где было обозначено местонахождение клада, помешало Кидду найти его и забрать. О несчастье Кидда разведали другие пираты, без того никогда не узнавшие бы о зарытом сокровище, и их бесплодные поиски, предпринятые наудачу, и породили все эти предания и толки, которые разошлись по свету и дожили до нашего времени. Доводилось вам слышать хоть раз, чтобы в наших местах кто-нибудь отыскал действительно ценный клад?

— Нет, никогда.

— А ведь всякий знает, что Кидд владел несметным богатством. Итак, я сделал вывод, что клад остался в земле. Не удивляйтесь же, что во мне родилась надежда, граничившая с уверенностью, что столь необычным путем попавший ко мне пергамент укажет мне путь к сокровищу Кидда.

— Что вы предприняли дальше?

— Я снова стал нагревать пергамент, постепенно усиливая огонь, но это не дало мне ничего нового. Тогда я решил, что, быть может, мешает грязь, наросшая на пергаменте. Я осторожно обмыл его теплой водой. Затем положил его на железную сковороду, повернув вниз той стороной, где был нарисован череп, и поставил сковороду на уголья. Через несколько минут, когда сковорода накалилась, я вынул перга-

мент и с невыразимым восторгом увидел, что кое-где на нем появилась знаки, напоминавшие цифры и расположенные в строку. Я снова положил пергамент на сковороду и подержал еще над огнем. Тут надпись выступила вся целиком — сейчас я вам покажу.

Легран разогрел пергамент и дал его мне. Между черепом и козленком, грубо начертанные чем-то красным, стояли такие знаки:

53‡‡+305)) 6*; 4826) 4‡.); 4‡.); 806*, 48+8‖60)), 85;;] 8*;
:‡*8+83(88)5*+; 46(;88*96*? ;8)*‡(;485) :5*+2:*‡(; 4956*
2(5*=4) 8‖8*; 4069285);) 6+8) 4‡‡;1‡9; 4
8081; 8:8‡1; 48+85; 4) 485+528806*81
(‡9; 48; (88; 4(‡? 34; 48) 4‡; 161;: 188‡?;

— Что ж! — сказал я, возвращая Леграну пергамент,— меня это не подвинуло бы ни на шаг. За все алмазы Голконды я не возьмусь решать подобную головоломку.

— И все же,— сказал Легран,— она не столь трудна, как может сперва показаться. Эти знаки, конечно,— шифр; иными словами, они скрывают словесную запись. Кидд, насколько мы можем о нем судить, не сумел бы составить истинно сложную криптограмму. И я сразу решил, что передо мной примитивный шифр, но притом такой, который незатейливой фантазии моряка должен был показаться совершенно непостижимым.

— И что же, вы сумели найти решение?

— С легкостью! В моей практике встречались шифры в тысячу раз сложнее. Я стал заниматься подобными головоломками благодаря обстоятельствам моей жизни и особым природным склонностям и пришел к заключению, что едва ли разуму человека дано загадать такую загадку, которую разум другого его собрата, направленный должным образом, не смог бы раскрыть. Прямо скажу, если текст зашифрован без грубых ошибок и документ в приличной сохранности, я больше ни в чем не нуждаюсь; последующие трудности для меня просто не существуют.

Прежде всего, как всегда в этих случаях, возникает вопрос о языке криптограммы. Принцип решения (в особенности это относится к шифрам простейшего типа) в значительной мере зависит от языка. Выяснить этот вопрос можно только одним путем, испытывая один язык за другим и постепенно их исключая, пока не найдешь решение. С нашим пергаментом такой трудности не было; подпись давала разгадку. Игра словами kid и Kidd возможна лишь по-английски. Если б не это, я начал бы поиски с других языков. Пират испанских морей скорее всего избрал бы для тайной записи французский или испанский язык. Но я уже знал, что криптограмма написана по-английски.

Как видите, текст криптограммы идет в сплошную строку. Задача намного была бы проще, если б отдельные слова были

выделены просветами. Я начал тогда бы с анализа и сличения более коротких слов, и как только нашел бы слово из одной буквы (например, местоимение *я* или союз *и*), я почел бы задачу решенной. Но просветов в строке не было, и я принялся подсчитывать однотипные знаки, чтобы узнать, какие из них чаще, какие реже встречаются в криптограмме. Закончив подсчет, я составил такую таблицу:

Знак	8	встречается	34	раза
»	;	»	27	раз
»	4	»	19	»
»	)	»	16	»
»	⌗	»	15	»
»	*	»	14	»
»	5	»	12	»
»	6	»	11	»
»	+	»	8	»
»	1	»	7	»
»	0	»	6	»
»	9 и 2	»	5	»
Знак	: и 3	встречается	4	раза
»	?	»	3	»
»	‖	»	2	»
»	= и]	»	1	раз.

В английской письменной речи самая частая буква — *e*. Далее идут в нисходящем порядке a, o, i, d, h, n, r, s, t, u, y, c, f, g, l, m, w, b, k, p, q, x, z. Буква *e*, однако, настолько часто встречается, что трудно построить фразу, в которой она не занимала бы господствующего положения.

Итак, уже сразу у нас в руках путеводная нить. Составленная таблица, вообще говоря, может быть очень полезна, но в данном случае она нам понадобится лишь в начале работы. Поскольку знак 8 встречается в криптограмме чаще других, мы примем его за букву *e* английского алфавита. Для проверки нашей гипотезы взглянем, встречается ли этот знак дважды подряд, потому что в английском, как вам известно, буква *e* очень часто удваивается, например, в словах meet, или fleet, speed или seed, seen, been, agree и так далее. Хотя криптограмма невелика, знак 8 стоит в нем дважды подряд не менее пяти раз.

Итак, будем считать, что 8 — это *e*. Самое частое слово в английском — определенный артикль the. Посмотрим, не повторяется ли у нас сочетание из трех знаков, расположенных в той же последовательности, и оканчивающееся знаком 8. Если такое найдется, это будет, по всей вероятности, определенный артикль. Приглядевшись, находим не менее семи раз сочетание из трех знаков ; 4 8. Итак, мы имеем право предположить, что знак ; — это буква t, а 4 — h; вместе с тем подтверждается, что 8 действительно *e*. Мы сделали важный шаг вперед.

То, что мы расшифровали целое слово, потому так существенно, что позволяет найти границы других слов. Для примера возьмем предпоследнее из сочетаний этого рода; 4 8. Идущий сразу за 8 знак ; будет, как видно, начальной буквой нового слова. Выписываем, начиная с него, шесть знаков подряд. Только один из них нам незнаком. Обозначим теперь знаки буквами и оставим свободное место для неизвестного знака:

t.eeth

Ни одно слово, начинающееся на t и состоящее из шести букв, не имеет в английском языке окончания th, в этом легко убедиться, подставляя на свободное место все буквы по очереди. Потому мы отбрасываем две последние буквы как посторонние и получаем:

t.ee

Для заполнения свободного места можно снова взяться за алфавит. Единственным верным прочтением этого слова будет:

tree (дерево).

Итак, мы узнали еще одну букву — t, она обозначена знаком (, и мы можем теперь прочитать два слова подряд:

the tree.

Немного дальше находим уже знакомое нам сочетание ; 4 8. Примем его опять за границу нового слова и выпишем целый отрывок, начиная с двух расшифрованных нами слов. Получаем такую запись:

the tree; 4(‡?34 the

Заменим уже известные знаки буквами:

the tree thr‡?3h the

А неизвестные знаки точками:

the tree thr...h the

Нет никакого сомнения, что неясное слово — through (через). Это открытие дает нам еще три буквы — *o*, *u* и g, обозначенные в криптограмме знаками‡? и 3.

Внимательно вглядываясь в криптограмму, находим вблизи от ее начала группу знакомых нам знаков:

83(88),

которое читается так: egree. Это, конечно, слово degree (гра-

дус) без первой буквы. Теперь мы знаем, что буква *д* обозначена знаком +.

Вслед за словом degree, через четыре знака, встречаем такую группу:

;46 (; 88*

Заменим, как уже делали раз, известные знаки буквами, а неизвестные точками:

th.rtee

Сомнения нет, перед нами слово thirteen (тринадцать). К известным нам буквам прибавились i и n, обозначенные в криптограмме знаками 6 и *.

Криптограмма начинается так:

53‡‡+

Подставляя по-прежнему буквы и точки, получаем:

.good

Недостающая буква, конечно, *a*, и, значит, два первые слова будут читаться так:

A good (хороший).

Чтобы теперь не сбиться, расположим знаки в виде такой таблицы.

5 означает	a
+	»d
8	»e
3	»g
4	»h
6	»i
*	»n
‡	»o
(	»r
;	»t

Здесь ключ к десяти главным буквам. Я думаю, нет нужды рассказывать вам, как я распознал остальные. Я познакомил вас с общей структурой шифра и, надеюсь, что убедил, что он поддается разгадке. Повторяю, впрочем, что криптограмма — из самых простейших. Теперь я даю вам полный текст записи. Вот она в расшифрованном виде:

«A good glass in the bishop's hostel in the devil's seat twenty one degrees and thirteen minutes northeast and by north main branch seventh limb east side shoot from the left eye of the death's head a bee line from the tree through the shot fifty feet out».

(Хорошее стекло в трактире епископа на чертовом стуле два-

7 Заказ 59

дцать один градус и тринадцать минут северо-северо-восток главный сук седьмая ветвь восточная сторона стреляй из левого глаза мертвой головы прямая от дерева через выстрел на пятьдесят футов.)

— Что же,— сказал я,— загадка осталась загадкой. Как перевести на человеческий язык всю эту тарабарщину: «трактир епископа», «мертвую голову», «чертов стул»?

— Согласен,— сказал Легран,— текст еще смутен, особенно с первого взгляда. Мне пришлось расчленить эту запись по смыслу.

— Расставить точки и запятые?

— Да, в этом роде.

— И как же вы сделали это?

— Я исходил из того, что автор намеренно писал криптограмму в сплошную строку, чтобы затруднить тем разгадку. Причем человек не слишком утонченный, задавшись такой целью, легко ударяется в крайность. Там, где в тексте по смыслу нужен просвет, он будет ставить буквы еще теснее. Взгляните на запись, и вы сразу увидите пять таких мест. По этому признаку я разделил криптограмму на несколько фраз:

«Хорошее стекло в доме епископа на чертовом стуле — двадцать один градус и тринадцать минут — северо-северо-восток — главный сук седьмая ветвь восточная сторона — стреляй из левого глаза мертвой головы — прямая от дерева через выстрел на пятьдесят футов».

— Запятые и точки расставлены,— сказал я,— но смысла не стало больше.

— И мне так казалось первое время,— сказал Легран.— Сперва я расспрашивал всех, кого ни встречал, нет ли где по соседству с островом Сэлливановым какого-нибудь строения, известного под названием «трактир епископа». Никто ничего не знал, и я уже принял решение расширить мои поиски и повести их систематичнее, как вдруг однажды утром мне пришло в голову, что, быть может, это название «трактир епископа» (bishop's hostel) нужно связать со старинной фамилией Бессопов (Bessop), владевшей в давние времена усадьбой в четырех милях к северу от нашего острова. Я пошел на плантацию и обратился там к неграм, старожилам этого края. После многих расспросов самая дряхлая из старушек сказала, что действительно знает место, которое называлось «трактиром епископа», и думает, что найдет его, но что это совсем не трактир и даже не таверна, а высокий скалистый утес.

Я обещал ей хорошо заплатить за труды, и после некоторых колебаний она согласилась пойти туда вместе со мной. Мы добрались до места без каких-либо приключений. Отпустив ее, я осмотрелся кругом. «Трактир» оказался нагромождением скал и утесов. Одна скала, стоявшая особняком, выделялась своей высотой и странностью формы, напоминая искус-

ственное сооружение. Я добрался до самой ее вершины и стал там в смущении, не зная, что делать дальше.

Пока я раздумывал, взор мой упал на узкий выступ в скале, на восточном ее склоне, примерно в ярде от места, где я стоял. Выступ имел в ширину около фута и выдавался наружу дюймов на восемнадцать. За ним в скале была ниша, и вместе они походили на кресло с полой спинкой, какие стояли в домах наших прадедов. Я сразу понял, что это и есть «чертов стул» и что я проник в тайну записи на пергаменте.

«Хорошее стекло» могло означать только одно — подзорную трубу; моряки часто пользуются словом «стекло» в этом смысле. Нужно было смотреть отсюда в трубу, причем с заранее определенной позиции, не допускающей никаких отклонений. Слова «двадцать один градус и тринадцать минут» и «северо-северо-восток» указывали направление подзорной трубы. Сильно взволнованный своими открытиями, я поспешил домой, взял трубу и вернулся в «трактир епископа».

Опустившись на «чертов стул», я убедился, что сидеть на нем можно только в одном положении. Догадка моя таким образом подтверждалась. Я поднял трубу. Направление по горизонтали было указано — «северо-северо-восток». Следовательно, «двадцать один градус и тринадцать минут» значили высоту над видимым горизонтом. Сориентировавшись по карманному компасу, я направил трубу приблизительно под углом в двадцать один градус и стал осторожно передвигать ее вверх, пока взор мой не задержался на круглом отверстии или просвете в листве громадного дерева, поднявшего высоко свою крону над окружающим лесом. В центре просвета я приметил белое пятнышко, но не мог сперва распознать, что это такое. Отрегулировав лучше трубу, я взглянул еще раз и ясно увидел человеческий череп.

Открытие окрылило меня, и я счел загадку решенной. Было ясно, что «главный сук, седьмая ветвь, восточная сторона» означают место, где надо искать череп на дереве, а приказ «стреляй из левого глаза мертвой головы» допускает тоже лишь одно толкование и указывает местонахождение клада. Надо было спустить пулю в левую глазницу черепа и потом провести «прямую», то есть прямую линию от ближайшей точки ствола через «выстрел» (место падения пули) на пятьдесят футов вперед. Там, по всей вероятности, и было зарыто сокровище.

— Все это выглядит убедительно,— сказал я,— и при некоторой фантастичности все же логично и просто. Что же вы сделали, покинув «трактир епископа»?

— Хорошенько приметив дерево, я решил возвращаться домой. В ту же минуту, как я поднялся с «чертова стула», круглый просвет исчез и, сколько я ни старался, я его больше не видел. В том-то и состояло все остроумие замысла, что просвет в листве дерева (как я убедился, несколько раз вставая и снова садясь) открывался зрителю с одной лишь единственной точки, с узкого выступа в этой скале.

К «трактиру епископа» мы ходили вместе с Юпитером, который, конечно, приметил за эти дни, что я веду себя как-то странно, и потому не отставал от меня ни на шаг. Но назавтра я встал чуть свет, ускользнул от его надзора и ушел один в горы разыскивать дерево. Разыскал я его с немалым трудом. Когда я вернулся вечером, Юпитер, как вы уже знаете, хотел отдубасить меня. О дальнейших событиях я могу не рассказывать. Они вам известны.

— Значит,— сказал я,— первый раз вы ошиблись местом из-за Юпитера; он опустил жука в правую глазницу черепа вместо левой?

— Разумеется! Разница в «выстреле», иными словами, в положении колышка не превышала двух с половиной дюймов, и если бы сокровище было зарыто под деревом, ошибка была бы пустячной. Но ведь линия через «выстрел» лишь указывала нам направление, по которому надо идти. По мере того как я удалялся от дерева, отклонение все возрастало, и когда я прошел пятьдесят футов, клад остался совсем в стороне. Не будь я так свято уверен, что сокровище здесь, наши труды пропали бы даром.

— Не пиратский ли флаг внушил Кидду эту странную выдумку с черепом, в пустую глазницу которого он велит опускать пулю? Обрести драгоценный клад через посредство зловещей эмблемы пиратов — в этом чувствуется некий поэтический замысел.

— Быть может, вы правы, хотя я лично думаю, что практический смысл играл здесь не меньшую роль, чем поэтическая фантазия. Увидеть с «чертова стула» столь малый предмет можно только в единственном случае — если он будет белым. А что тут сравниться с черепом? Череп ведь не темнеет от бурь и дождей. Напротив, становится все белее...

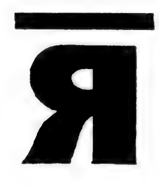
— Ну а ваши высокопарные речи и верчение жука на шнурке?! Что за странное это было чудачество! Я решил, что вы не в себе. И почему вам вдруг вздумалось опускать в глазницу жука вместо пули?

— Что же, не скрою! Ваши намеки на то, что я не в себе, рассердили меня, и я решил отплатить вам маленькой мистификацией в моем вкусе. Сперва я вертел жука на шнурке, а потом решил, что спущу его с дерева. Кстати, сама эта мысль воспользоваться жуком вместо пули пришла мне на ум, когда вы сказали, что поражены его тяжестью.

— Теперь все ясно. Ответьте еще на последний вопрос. Откуда взялись эти скелеты в яме?

— Об этом я знаю не больше вашего. Тут допустима, по-видимому, только одна догадка, но она предполагает дьявольскую жестокость. Понятно, что Кидд — если именно он владелец сокровища, в чем я совершенно уверен,— не мог обойтись без подручных. Когда они, выполнив все, что им было приказано, стояли внизу в яме, Кидд рассудил, наверно, что не нуждается в лишних свидетелях. Два-три удара ломом тут же решили дело. А может, и целый десяток — кто скажет?

ЧЕРНЫЙ КОТ



НЕ НАДЕЮСЬ И НЕ ПРИТЯЗАЮ НА ТО, что кто-нибудь поверит самой чудовищной и вместе с тем самой обыденной истории, которую я собираюсь рассказать. Только сумасшедший мог бы на это надеяться, коль скоро я сам себе не могу поверить. А я не сумасшедший — и все это явно не сон. Но завтра меня уже не будет в живых, и сегодня я должен облегчить свою душу покаянием. Единственное мое намерение — это ясно, кратко, не мудрствуя лукаво, поведать миру о некоторых чисто семейных событиях. Мне эти события в конце концов принесли лишь ужас — они извели, они погубили меня. И все же я не стану искать разгадки. Я из-за них натерпелся страху — многим же они покажутся безобидней самых несуразных фантазий. Потом, быть может, какой-нибудь умный человек найдет сгубившему меня призраку самое простое объяснение — такой человек, с умом, более холодным, более логическим и, главное, не столь впечатлительным, как у меня, усмотрит в обстоятельствах, о которых я не могу говорить без благоговейного трепета, всего только цепь закономерных причин и следствий.

С детских лет я отличался послушанием и кротостью нрава. Нежность моей души проявлялась столь открыто, что сверстники даже дразнили меня из-за этого. В особенности любил я разных зверюшек, и родители не препятствовали мне держать домашних животных. С ними я проводил всякую свободную минуту и бывал наверху блаженства, когда мог их кормить и ласкать. С годами эта особенность моего характера развивалась, и когда я вырос, немногое в жизни могло доставить мне более удовольствия. Кто испытал привязанность к верной и умной собаке, тому нет нужды объяснять, какой горячей благодарностью платит она за это. В бескорыстной и самоотверженной любви зверя есть нечто, покоряющее сердце всякого, кому не раз довелось изведать вероломную дружбу и обманчивую преданность, свойственные Человеку.

Женился я рано и, по счастью, обнаружил в своей супру-

ге близкие мне наклонности. Видя мое пристрастие к домашним животным, она не упускала случая меня порадовать. У нас были птицы, золотые рыбки, породистая собака, кролики, обезьянка и кот.

Кот, необычайно крупный, красивый и сплошь черный, без единого пятнышка, отличался редким умом. Когда заходила речь о его сообразительности, моя жена, в душе не чуждая суеверий, часто намекала на старинную народную примету, по которой всех черных котов считали оборотнями. Намекала, разумеется, не всерьез — и я привожу эту подробность единственно для того, что сейчас самое время о ней вспомнить.

Плутон — так звали кота — был моим любимцем, и я часто играл с ним. Я всегда сам кормил его, и он ходил за мной по пятам, когда я бывал дома. Он норовил даже увязаться со мной на улицу, и мне стоило немалого труда отвадить его от этого.

Дружба наша продолжалась несколько лет, и за это время мой нрав и характер — под влиянием Дьявольского Соблазна — резко изменились (я сгораю от стыда, признаваясь в этом) в худшую сторону. День ото дня я становился все мрачней, раздражительней, безразличней к чувствам окружающих. Я позволял себе грубо кричать на жену. В конце концов я даже поднял на нее руку. Мои питомцы, разумеется, тоже чувствовали эту перемену. Я не только перестал обращать на них внимание, но даже обходился с ними дурно. Однако к Плутону я все же сохранил довольно почтительности и не позволял себе его обижать, как обижал без зазрения совести кроликов, обезьянку и даже собаку, когда они ласкались ко мне или случайно попадались под руку. Но болезнь развивалась во мне,— а нет болезни ужаснее пристрастия к Алкоголю!— и наконец даже Плутон, который уже состарился и от этого стал капризнее,— даже Плутон начал страдать от моего скверного нрава.

Однажды ночью я вернулся в сильном подпитии, побывав в одном из своих любимых кабачков, и тут мне взбрело в голову, будто кот меня избегает. Я поймал его; испуганный моей грубостью, он не сильно, но все же до крови укусил меня за руку. Демон ярости тотчас вселился в меня. Я более не владел собою. Душа моя, казалось, вдруг покинула тело; и злоба, свирепее дьявольской, распаляемая джином, мгновенно обуяла все мое существо. Я выхватил из кармана жилетки перочинный нож, открыл его, стиснул шею несчастного кота и без жалости вырезал ему глаз! Я краснею, я весь горю, я содрогаюсь, описывая это чудовищное злодейство.

Наутро, когда рассудок вернулся ко мне — когда я проспался после ночной попойки и винные пары выветрились,— грязное дело, лежавшее на моей совести, вызвало у меня раскаянье, смешанное со страхом; но то было лишь смутное и двойственное чувство, не оставившее следа в моей душе. Я снова стал пить запоем и вскоре утопил в вине самое воспоминание о содеянном.

Рана у кота тем временем понемногу заживала. Правда, пустая глазница производила ужасающее впечатление, но боль,

по-видимому, утихла. Он все так же расхаживал по дому, но, как и следовало ожидать, в страхе бежал, едва завидя меня. Сердце мое еще не совсем ожесточилось, и поначалу я горько сожалел, что существо, некогда так ко мне привязанное, теперь не скрывает своей ненависти. Но вскоре чувство это уступило место озлоблению. И тогда, словно в довершение окончательной моей погибели, во мне пробудился дух противоречия. Философы оставляют его без внимания. Но я убежден до глубины души, что дух противоречия принадлежит к извечным побуждающим началам в сердце человеческом — к неотторжимым, первозданным способностям, или чувствам, которые определяют самую природу Человека. Кому не случалось сотню раз совершить дурной или бессмысленный поступок безо всякой на то причины, лишь потому, что этого нельзя делать? И разве не испытываем мы, вопреки здравому смыслу, постоянного искушения нарушить Закон лишь потому, что это запрещено? Так вот, дух противоречия пробудился во мне в довершение окончательной моей погибели. Эта непостижимая склонность души к самоистязанию — к насилию над собственным своим естеством, склонность творить зло ради зла — и побудила меня довести до конца мучительство над бессловесной тварью. Как-то утром я хладнокровно накинул коту на шею петлю и повесил его на суку — повесил, хотя слезы текли у меня из глаз и сердце разрывалось от раскаянья,— повесил, потому что знал, как он некогда меня любил, потому что чувствовал, как несправедливо я с ним поступаю,— повесил, потому что знал, какой совершаю грех — смертный грех, обрекающий мою бессмертную душу на столь страшное проклятие, что она оказалась бы низвергнута — будь это возможно — в такие глубины, куда не простирается даже милосердие Всеблагого и Всекарающего Господа.

В ночь после совершения этого злодейства меня разбудил крик: «Пожар!» Занавеси у моей кровати полыхали. Весь дом был объят пламенем. Моя жена, слуга и я сам едва не сгорели заживо. Я был разорен совершенно. Огонь поглотил все мое имущество, и с тех пор отчаянье стало моим уделом.

Во мне довольно твердости, дабы не пытаться изыскать причину и следствие, связать несчастье со своим безжалостным поступком. Я хочу лишь проследить в подробности всю цепь событий — и не намерен пренебречь ни единым, пусть даже сомнительным звеном. На другой день после пожара я побывал на пепелище. Все стены, кроме одной, рухнули. Уцелела лишь довольно тонкая внутренняя перегородка посреди дома, к которой примыкало изголовье моей кровати. Здесь штукатурка вполне противостояла огню — я объяснил это тем, что стена была оштукатурена совсем недавно. Подле нее собралась большая толпа, множество глаз пристально и жадно всматривались все в одно место. Слова: «Странно!», «Поразительно!» и всякие восклицания в том же роде возбудили мое любопытство. Я подошел ближе и увидел на белой поверхности нечто вроде барельефа, изображавшего огромного кота. Точность изображения поистине казалась непостижимой. На шее у кота была веревка.

Сначала этот призрак — я попросту не могу назвать его иначе — поверг меня в ужас и недоумение. Но, поразмыслив, я несколько успокоился. Я вспомнил, что повесил кота в саду подле дома. Во время переполоха, поднятого пожаром, сад наводнила толпа — кто-то перерезал веревку и швырнул кота через открытое окно ко мне в комнату. Возможно, таким способом он хотел меня разбудить. Когда стены рухнули, развалины притиснули жертву моей жестокости к свежеоштукатуренной перегородке, и от жара пламени и едких испарений на ней запечатлелся рисунок, который я видел.

Хотя я успокоил если не свою совесть, то, по крайней мере, ум, быстро объяснив поразительное явление, которое только что описал, оно все же оставило во мне глубокий след. Долгие месяцы меня неотступно преследовал призрак кота; и тут в душу мою вернулось смутное чувство, внешне, но только внешне, похожее на раскаянье. Я начал даже жалеть об утрате и искал в грязных притонах, откуда теперь почти не вылезал, похожего кота той же породы, который заменил бы мне бывшего моего любимца.

Однажды ночью, когда я сидел, томимый полузабытьем, в каком-то богомерзком месте, внимание мое вдруг привлекло что-то черное на одной из огромных бочек с джином или ромом, из которых состояла едва ли не вся обстановка заведения. Несколько минут я не сводил глаз с бочки, недоумевая, как это я до сих пор не замечал столь странной штуки. Я подошел и коснулся ее рукой. То был черный кот, очень крупный — под стать Плутону — и похожий на него как две капли воды, с одним лишь отличием. В шкуре Плутона не было ни единой белой шерстинки, а у этого кота оказалось грязно-белое пятно чуть ли не во всю грудь.

Когда я коснулся его, он вскочил с громким мурлыканьем и потерся о мою руку, видимо очень обрадованный моим вниманием. А ведь я как раз искал такого кота. Я тотчас пожелал его купить; но хозяин заведения отказался от денег — он не знал, откуда этот кот взялся,— никогда его раньше не видел.

Я все время гладил кота, а когда собрался домой, он явно пожелал идти со мною. Я ему не препятствовал; по дороге я иногда нагибался и поглаживал его. Дома он быстро освоился и сразу стал любимцем моей жены.

Но сам я вскоре начал испытывать к нему растущую неприязнь. Этого я никак не ожидал; однако не знаю, как и почему это случилось,— его очевидная любовь вызывала во мне лишь отвращение и досаду. Мало-помалу эти чувства вылились в злейшую ненависть. Я всячески избегал кота; лишь смутный стыд и память о моем прежнем злодеянии удерживали меня от расправы над ним. Проходили недели, а я ни разу не ударил его и вообще не тронул пальцем; но медленно — очень медленно — мною овладело неизъяснимое омерзение, и я молчаливо бежал от постылой твари, как от чумы.

Я ненавидел этого кота тем сильней, что он, как обнаружи-

лось в первое же утро, лишился, подобно Плутону, одного глаза. Однако моей жене он стал от этого еще дороже, она ведь, как я уже говорил, сохранила в своей душе ту мягкость, которая некогда была мне свойственна и служила для меня неиссякаемым источником самых простых и чистых удовольствий.

Но, казалось, чем более возрастала моя недоброжелательность, тем крепче кот ко мне привязывался. Он ходил за мной по пятам с упорством, которое трудно описать. Стоило мне сесть, как он забирался под мой стул или прыгал ко мне на колени, донимая меня своими отвратительными ласками. Когда я вставал, намереваясь уйти, он путался у меня под ногами, так что я едва не падал, или, вонзая острые когти в мою одежду, взбирался ко мне на грудь. В такие минуты мне нестерпимо хотелось убить его на месте, но меня удерживало до некоторой степени сознание прежней вины, а главное — не стану скрывать,— страх перед этой тварью.

В сущности, то не был страх перед каким-либо конкретным несчастьем,— но я затрудняюсь определить это чувство другим словом. Мне стыдно признаться — даже теперь, за решеткой, мне стыдно признаться,— что чудовищный ужас, который вселял в меня кот, усугубило самое немыслимое наваждение. Жена не раз указывала мне на белесое пятно, о котором я уже упоминал, единственное, что внешне отличало эту странную тварь от моей жертвы. Читатель, вероятно, помнит, что пятно это было довольно большое, однако поначалу очень расплывчатое; но медленно — едва уловимо, так что разум мой долгое время восставал против столь очевидной нелепости,— оно приобрело наконец неумолимо ясные очертания. Не могу без трепета назвать то, что оно отныне изображало — из-за этого главным образом я испытывал отвращение и страх и избавился бы, если б только посмел, от проклятого чудовища,— отныне, да будет вам ведомо, оно являло взору нечто мерзкое — нечто зловещее, — ВИСЕЛИЦУ! — это кровавое и грозное орудие Ужаса и Злодейства — Страдания и Погибели!

Теперь я воистину был несчастнейшим из смертных. Презренная тварь, подобная той, которую я прикончил не моргнув глазом,— эта презренная тварь причиняла мне — мне, человеку, сотворенному по образу и подобию Всевышнего,— столько невыносимых страданий! Увы! Денно и нощно не знал я более благословенного покоя! Днем кот ни на миг не отходил от меня, ночью же я что ни час пробуждался от мучительных сновидений и ощущал горячее дыхание этого существа на своем лице и его невыносимую тяжесть,— кошмар во плоти, который я не в силах был стряхнуть,— до конца дней навалившуюся мне на сердце!

Эти страдания вытеснили из моей души последние остатки добрых чувств. Я лелеял теперь лишь злобные мысли — самые черные и злобные мысли, какие только могут прийти в голову. Моя обычная мрачность переросла в ненависть ко всему сущему и ко всему роду человеческому; и более всех стра-

дала от внезапных, частых и неукротимых взрывов ярости, которым я слепо предавался, моя безропотная и многотерпеливая жена.

Однажды по какой-то хозяйственной надобности мы с ней спустились в подвал старого дома, в котором бедность принуждала нас жить. Кот увязался следом за мной по крутой лестнице, я споткнулся, едва не свернул себе шею и обезумел от бешенства. Я схватил топор и, позабыв в гневе презренный страх, который до тех пор меня останавливал, готов был нанести коту такой удар, что зарубил бы его на месте. Но жена удержала мою руку. В ярости, перед которой бледнеет ярость самого дьявола, я вырвался и раскроил ей голову топором. Она упала без единого стона.

Совершив это чудовищное убийство, я с полнейшим хладнокровием стал искать способа спрятать труп. Я понимал, что не могу вынести его из дома днем или даже под покровом ночи без риска, что это увидят соседи. Много всяких замыслов приходило мне на ум. Сперва я хотел разрубить тело на мелкие куски и сжечь в печке. Потом решил закопать его в подвале. Тут мне подумалось, что лучше, пожалуй, бросить его в колодец на дворе или забить в ящик, нанять носильщика и велеть вынести его из дома. Наконец я избрал, как мне казалось, наилучший путь. Я решил замуровать труп в стене, как некогда замуровывали свои жертвы средневековые монахи.

Подвал прекрасно подходил для такой цели. Кладка стен была непрочной, к тому же не столь давно их наспех оштукатурили, и по причине сырости штукатурка до сих пор не просохла. Более того, одна стена имела выступ, в котором для украшения устроено было подобие камина или очага, позднее заложенного кирпичами и тоже оштукатуренного. Я не сомневался, что легко сумею вынуть кирпичи, упрятать туда труп и снова заделать отверстие так, что самый наметанный глаз не обнаружит ничего подозрительного.

Я не ошибся в расчетах. Взяв лом, я легко вывернул кирпичи, поставил труп стоймя, прислонив его к внутренней стене, и без труда водворил кирпичи на место. Со всяческими предосторожностями я добыл известь, песок и паклю, приготовил штукатурку, совершенно неотличимую от прежней, и старательно замазал новую кладку. Покончив с этим, я убедился, что все в полном порядке. До стены словно никто и не касался. Я прибрал с полу весь мусор, до последней крошки. Затем огляделся с торжеством и сказал себе:

— На сей раз, по крайней мере, труды мои не пропали даром.

После этого я принялся искать тварь, бывшую причиной стольких несчастий; теперь я наконец твердо решился ее убить. Попадись мне кот в то время, участь его была бы решена; но хитрый зверь, напуганный, как видно, моей недавней яростью, исчез, будто в воду канул. Невозможно ни описать, ни даже вообразить, сколь глубокое и блаженное чувство облегчения наполнило мою грудь, едва ненавистный кот исчез. Всю ночь он не показывался; то была первая ночь, с тех пор как он появил-

ся в доме, когда я спал крепким и спокойным сном; да, спал, хотя на душе моей лежало бремя преступления.

Прошел второй день, потом третий, а мучителя моего все не было. Я вновь дышал свободно. Чудовище в страхе бежало из дома навсегда! Я более его не увижу! Какое блаженство! Раскаиваться в содеянном я и не думал. Было учинено короткое дознание, но мне не составило труда оправдаться. Сделали даже обыск — но, разумеется, ничего не нашли. Я не сомневался, что отныне буду счастлив.

На четвертый день после убийства ко мне неожиданно нагрянули полицейские и снова произвели в доме тщательный обыск. Однако я был уверен, что тайник невозможно обнаружить, и чувствовал себя преспокойно. Полицейские велели мне присутствовать при обыске. Они обшарили все уголки и закоулки. Наконец они в третий или четвертый раз спустились в подвал. Я не повел и бровью. Сердце мое билось так ровно, словно я спал сном праведника. Я прохаживался по всему подвалу. Скрестив руки на груди, я неторопливо вышагивал взад-вперед. Полицейские сделали свое дело и собрались уходить. Сердце мое ликовало, и я не мог сдержаться. Для полноты торжества я жаждал сказать хоть словечко и окончательно убедить их в своей невиновности.

— Господа,— сказал я наконец, когда они уже поднимались по лестнице,— я счастлив, что рассеял ваши подозрения. Желаю вам всем здоровья и немного более учтивости. Кстати, господа, это... это очень хорошая постройка (в неистовом желании говорить непринужденно я едва отдавал себе отчет в своих словах), я сказал бы даже, что постройка попросту превосходна. В кладке этих стен — вы торопитесь, господа?— нет ни единой трещинки.— И тут, упиваясь своей безрассудной удалью, я стал с размаху колотить тростью, которую держал в руке, по тем самым кирпичам, где был замурован труп моей благоверной.

Господи боже, спаси и оборо. ни меня от когтей Сатаны! Едва смолкли отголоски этих ударов, как мне откликнулся голос из могилы!.. Крик, сперва глухой и прерывистый, словно детский плач, быстро перешел в неумолчный, громкий, протяжный вопль, дикий и нечеловеческий,— в звериный вой, в душераздирающее стенание, которое выражало ужас, смешанный с торжеством, и могло исходить только из ада, где вопиют все обреченные на вечную муку и злобно ликуют дьяволы.

Нечего и говорить о том, какие безумные мысли полезли мне в голову. Едва не лишившись чувств, я отшатнулся к противоположной стене. Мгновение полицейские неподвижно стояли на лестнице, скованные ужасом и удивлением. Но тотчас же десяток сильных рук принялись взламывать стену. Она тотчас рухнула. Труп моей жены, уже тронутый распадом и перепачканный запекшейся кровью, открылся взору. На голове у нее, разинув красную пасть и сверкая единственным глазом, восседала гнусная тварь, которая коварно толкнула меня на убийство, а теперь выдала меня своим воем и обрекла на смерть от руки палача. Я замуровал это чудовище в каменной могиле.

ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННЫЕ

Есть темы, проникнутые всепокоряющим интересом, но слишком ужасные, чтобы стать законным достоянием литературы. Обыкновенно романисту надлежит их избегать, если он не хочет оскорбить или оттолкнуть читателя. Прикасаться к ним подобает лишь в том случае, когда они освящены и оправданы непреложностью и величием истины. Так, например, мы содрогаемся от «сладостной боли», читая о переправе через Березину, о землетрясении в Лиссабоне, о чуме в Лондоне, о Варфоломеевской ночи или о том, как в калькуттской Черной Яме задохнулись сто двадцать три узника. Но в этих описаниях волнует сама достоверность — сама подлинность — сама история. Будь они вымышлены, мы не испытали бы ничего, кроме отвращения.

Я перечислил лишь некоторые из знаменитейших и величайших исторических трагедий; но самая их огромность потрясает воображение ничуть не меньше, чем зловещая сущность. Мне нет нужды напоминать читателю, что из длинного и мрачного перечня людских несчастий я мог бы извлечь немало отдельных свидетельств подлинного страдания, гораздо более жестоких, нежели любое из этих всеобщих бедствий. Воистину, настоящее горе, наивысшая боль всегда единственны, неповторимы. И коль скоро испить до дна эту горькую чашу приходится лишь человеку, а не человечеству — возблагодарим за это милосердного творца!

Погребение заживо, несомненно, чудовищнее всех ужасов, какие выпали на долю смертного. И здравомыслящий человек едва ли станет отрицать, что это случалось часто, очень часто. Грань, отделяющая Жизнь от Смерти, в лучшем случае обманчива и неопределенна. Кто может сказать, где кончается одно и начинается другое? Известно, что есть болезни, при которых исчезают все явные признаки жизни, но, строго говоря, они не исчезают совершенно, а лишь прерываются. Возникает временная остановка в работе неведомого механизма. Наступает срок,

и некое незримое таинственное начало вновь приводит в движение волшебные крыла и магические колеса. Серебряная нить не оборвана навеки, и златой сосуд не разбит безвозвратно. Но где в эту пору обреталась душа?

Однако, кроме неизбежного заключения априори, что соответствующие причины влекут за собой соответствующие следствия, и поскольку известны случаи, когда жизнедеятельность прерывается, не подлежит сомнению, что людей иногда хоронят заживо,— кроме этого общего соображения, опыт медицины и самой жизни прямо свидетельствует, что это действительно бывало не раз. При необходимости я мог бы сослаться на целую сотню самых достоверных примеров. Один такой случай, весьма примечательный и, вероятно, еще не изгладившийся из памяти некоторых читателей, имел место не столь давно в соседнем городе Балтиморе и произвел на многих потрясающее, неотразимое впечатление. Супругу одного из самых почтенных граждан — известного юриста и члена конгресса — постигла внезапная и необъяснимая болезнь, перед которой оказалось бессильно все искусство медиков. После тяжких страданий наступила смерть или состояние, которое сочли смертью. Никто даже не подозревал, да и не имел причин подозревать, что она вовсе не умерла. Обнаружились все обычные признаки смерти. Лицо осунулось, черты его заострились. Губы стали белее мрамора. Глаза помутнели. Наступило окоченение. Сердце не билось. Так она пролежала три дня, и за это время тело сделалось твердым, как камень. Одним словом, надо было поспешить с похоронами, поскольку труп, казалось, быстро разлагается.

Ее похоронили в семейном склепе, и три года никто не тревожил могильный покой. По прошествии этого времени склеп открыли, чтобы установить там саркофаг,— но увы! — какое страшное потрясение ожидало ее супруга, который своими руками отворил дверь! Едва створки распахнулись наружу, что-то, закутанное в белое, со стуком упало прямо в его объятия. То был скелет его жены в еще не истлевшем саване.

Тщательное расследование показало, что она ожила через два дня после погребения и билась в гробу, который упал на пол с уступа или с возвышения и раскололся, так что ей удалось встать. Случайно забытый масляный фонарь, налитый дополна, теперь оказался пуст; впрочем, масло могло улетучиться само по себе. На верхней ступени лестницы при входе в зловещую гробницу валялся большой обломок гроба, которым она, по всей видимости, колотила в железную дверь, призывая на помощь. При этом она, вероятно, лишилась чувств или умерла от страха; падая, она зацепилась саваном за какой-то железный крюк, торчавший из стены. Так и осталась она на месте, так и истлела стоя.

В 1810 году во Франции был случай погребения заживо, который красноречиво свидетельствует, что подлинные события воистину бывают удивительней вымыслов сочинителей. Ге-

роиней этой истории стала мадемуазель Викторина Лафуркад, юная девица из знатного семейства, богатая и на редкость красивая. Среди ее многочисленных поклонников был Жюльен Боссюэ, бедный парижский littérateur[1], или журналист. Его таланты и обаяние пленили богатую наследницу, и она, кажется, полюбила его всем сердцем; но из сословного высокомерия она все же решилась отвергнуть его и отдать руку мосье Ренелю, банкиру и довольно известному дипломату. После свадьбы, однако, супруг тотчас к ней охладел и, вероятно, дурно с нею обращался. Прожив несколько лет в несчастном браке, она умерла — по крайней мере, состояние ее было столь похоже на смерть, что ни у кого не возникло и тени сомнения. Ее похоронили,— но не в склепе, а в обыкновенной могиле близ усадьбы, где она родилась. Влюбленный юноша, терзаемый отчаяньем и все еще волнуемый былой страстью, отправляется из столицы в далекую провинцию с романтическим намерением вырыть тело и взять на память чудесные локоны покойной. Он разыскивает могилу. В полночь он откапывает гроб и принимается уже состригать локоны, как вдруг его возлюбленная открывает глаза. Как оказалось, она была похоронена заживо. Жизнь не вполне покинула несчастную; ласки влюбленного пробудили ее от летаргии, ошибочно принятой за смерть. Он поспешил перенести ее в свою комнату на постоялом дворе. Обладая немалыми познаниями в медицине, он применил самые сильные укрепляющие лекарства. Наконец она ожила. Она узнала своего спасителя. Она оставалась с ним до тех пор, пока здоровье ее понемногу не восстановилось. Женское сердце не камень, и последний урок, преподанный любовью, смягчил ее совершенно. Она отдала свое сердце Боссюэ. Она не вернулась к супругу, но, сохранив свое воскресение в тайне, уехала вместе с верным возлюбленным в Америку. Через двадцать лет оба вернулись во Францию, уверенные, что время достаточно изменило ее внешность и даже близкие ее не узнают. Однако они ошиблись; при первой же встрече мосье Ренель тотчас узнал супругу и потребовал, чтобы она к нему вернулась. Она отвергла его притязания; и беспристрастный суд решил дело в ее пользу, постановив, что в силу особых обстоятельств, а также за давностью времени супружеские права утрачены не только по справедливости, но и по букве закона.

Лейпцигский «Хирургический журнал» — весьма уважаемый и заслуживающий доверия печатный орган, достойный того, чтобы кто-нибудь из американских издателей выпускал его в переводе на наш язык,— сообщает в последнем номере о подобном же прискорбном происшествии.

Один артиллерийский офицер, человек огромного роста и несокрушимого здоровья, был сброшен норовистой лошадью и сильно ушиб голову, отчего мгновенно лишился чувств; в черепе обнаружилась небольшая трещина, но врачи не видели

[1] Литератор *(фр.)*.

прямой опасности для жизни. Трепанация черепа прошла успешно. Больному пустили кровь и пользовали его прочими обычными средствами. Но постепенно он впадал во все более глубокое оцепенение, и наконец, казалось, наступила смерть.

Стояла жара, и его похоронили поспешно до неприличия где-то на общем кладбище. Похороны были в четверг. В ближайшее воскресенье многие, как обычно, пришли навестить могилы, и около полудня один крестьянин произвел сильное волнение, утверждая, что присел отдохнуть на могилу офицера и вдруг почувствовал сотрясение земли, словно покойник норовил встать из гроба. Поначалу его рассказу мало кто верил, но неподдельный ужас и твердая убежденность, с которыми он доказывал истинность своих слов, в конце концов возымели действие на толпу. Бросились за лопатами, в несколько минут раскопали могилу, такую мелкую, что стыдно было смотреть, и голова офицера предстала на свет. Казалось, он был мертв, но сидел, скорчившись в гробу, крышку которого ему удалось приподнять отчаянным усилием.

Его тотчас отвезли в ближайшую больницу, где выяснилось, что он жив, хотя и лишился чувств от удушья. Через несколько часов он пришел в себя, стал узнавать знакомых и, путаясь в словах, рассказал о невыносимых страданиях, которые претерпел в могиле.

Судя по его рассказу, сознание теплилось в нем более часа после похорон, а затем он впал в беспамятство. Могила была наспех забросана рыхлой землей, так что оставался некоторый приток воздуха. Он услышал над головой топот множества ног и попытался привлечь к себе внимание. Как он объяснил, шум на кладбище пробудил его от мертвого сна, но, едва очнувшись, он сразу понял всю безысходность своего положения.

Сообщают, что больной уже поправлялся и был на пути к полному выздоровлению, но по вине шарлатанов пал жертвой медицинского опыта. Они применили гальваническую батарею, и он скончался во время бурного приступа, вызванного, как это бывает, действием тока.

Поскольку речь зашла о гальванической батарее, мне вспомнился, кстати, широко известный и воистину поразительный случай, когда ее действие вернуло к жизни молодого лондонского стряпчего, два дня пролежавшего в могиле. Случай этот произошел в 1831 году и наделал в свое время немало шума.

Больной, мистер Эдвард Стэплтон, умер, по всей вероятности, от тифозной горячки с некоторыми странными симптомами, которые вызвали любопытство лечивших его врачей. После мнимой смерти врачи попросили у его близких согласия на посмертное вскрытие, но получили решительный отказ. Как это часто случается, они решили выкопать труп и тайно вскрыть его без помех. Не составляло труда сговориться с шайкой похитителей трупов, которых так много в Лондоне; и на третью ночь после похорон тело, которое считали мертвым, было вырыто из могилы глубиной в восемь футов

и перенесено в секционную палату одной частной больницы.

Уже сделав изрядный надрез на животе, врачи обратили внимание на то, что тело ничуть не разложилось, и решили испробовать батарею. Опыт следовал за опытом без особого успеха, разве что в некоторых случаях судорожные подергивания более обыкновенного походили на движения живого организма.

Время истекало. Близился рассвет, и наконец решено было безотлагательно приступить к вскрытию. Но один из врачей непременно желал проверить какую-то свою теорию и убедил всех подвергнуть действию тока одну из грудных мышц. Грубо рассекли кожный покров, кое-как присоединили проволоки; вдруг мертвец стремительным, но отнюдь не похожим на судорогу движением соскользнул со стола на пол, постоял немного, тревожно озираясь, и заговорил. Понять его слова не удалось; и все же это, безусловно, были слова,— некое подобие членораздельной речи. Умолкнув, он тяжело рухнул на пол.

Сначала все оцепенели от ужаса — но медлить было нельзя, и врачи вскоре овладели собой. Оказалось, что мистер Стэплтон жив, хотя и в глубоком обмороке. С помощью эфира его привели в чувство, а через несколько времени он совсем поправился и мог вернуться к своим близким, от которых его воскресение скрывали до тех пор, пока не перестали опасаться повторного приступа. Их восторг, их радостное удивление нетрудно себе представить.

Но самое потрясающее во всей истории — это свидетельство самого мистера С. Он уверяет, что ни на миг не впадал в полное беспамятство, что смутно и туманно он сознавал все происходящее с той минуты, как врачи объявили его мертвым, и вплоть до того времени, когда он лишился чувств в больнице. «Я жив»,— таковы были невнятные слова, которые он в отчаянье пытался вымолвить, поняв, что попал в мертвецкую.

Мне нетрудно было бы рассказать еще много подобных историй, но я полагаю это излишним — ведь и без того не остается сомнений, что людей в самом деле хоронят заживо. И если учесть, как редко, в силу своего характера, такие случаи становятся нам известны, мы вынуждены будем признать, что они, вероятно, часто происходят неведомо для нас. Право же, едва ли не всякий раз, как землекопам случается работать на кладбище, скелеты обнаруживают в таких позах, что возникают самые ужасные подозрения.

Но как ни ужасны подозрения, несравненно ужасней участь самих несчастных! Можно с уверенностью сказать, что никакая иная судьба не уготовила человеку столь безысходные телесные и душевные муки, как погребение заживо. Невыносимое стеснение в груди, удушливые испарения сырой земли, холодные объятия савана, давящая теснота последнего жилища, мрак беспросветной Ночи, безмолвие, словно в пучине моря, незримое, но осязаемое присутствие Червя-Победителя — все это и вдобавок мысли о воздухе и зеленой траве над головой,

воспоминания о любимых друзьях, которые поспешили бы на помощь, если б только узнали о твоей беде, и уверенность, что этого им никогда не узнать, что ты обречен навеки покоиться среди мертвецов,— все это, говорю я вам, исполняет еще трепещущее сердце леденящим и нестерпимым ужасом, перед которым отступает самое смелое воображение. Нам не дано изведать таких страданий на Земле — мы не в силах представить себе ничего подобного даже на дне Преисподней. Вполне понятно, что рассказы об этом вызывают глубочайший интерес; однако ж интерес этот, под влиянием благоговейного ужаса перед самой темой, оправдывается исключительно нашим убеждением в истинности самих рассказов. То, что мне предстоит описать далее, я знаю доподлинно — все это я пережил и испытал на себе.

Несколько лет подряд меня терзали приступы таинственной болезни, которую врачи условно называют каталепсией, так как не находят для нее более точного определения. Хотя не только прямые и косвенные причины, но даже самый диагноз этой болезни остается загадкой, внешние симптомы изучены достаточно хорошо. Формы ее, видимо, отличаются друг от друга лишь своей тяжестью. Иногда больной лежит всего день или того меньше, погруженный в глубочайшую летаргию. Он теряет сознание и не может пошевелиться; но в груди прослушиваются слабые биения сердца; тело хранит едва ощутимую теплоту; на скулах еще заметны следы румянца; приложив к губам зеркало, можно обнаружить редкое, неровное, прерывистое дыхание. Иногда же оцепенение длится недели — и даже месяцы; при этом самое пристальное наблюдение, самые тщательные медицинские анализы не выявят никакой осязаемой разницы между подобным приступом и тем необратимым состоянием, которое называют смертью. От погребения заживо такого больного обычно спасают друзья, которые знают о его подверженности каталепсии и, естественно, начинают подозревать неладное, в особенности если нет признаков распада. По счастью, болезнь развивается постепенно. Первые же ее проявления, хоть и скрытые, не оставляют сомнений. С каждым разом приступы становятся все сильней и длительней. В этом главная гарантия от погребения. Несчастный, с которым сразу случится тяжелый припадок, как это порой бывает, почти неизбежно обречен заживо лечь в могилу.

Моя болезнь не отличалась сколько-нибудь заметно от случаев, описанных в медицинской литературе. Иногда, безо всякой видимой причины, я мало-помалу впадал в полуобморок или в полубесчувствие; и в этом состоянии, не испытывая боли, утратив способность шевелиться и, в сущности, даже думать, но смутно сознавая в летаргическом сне, что я жив и меня окружают люди, я пребывал до тех пор, пока не наступал кризис, который внезапно возвращал меня к жизни. Иногда же недуг одолевал меня бурно и стремительно. Я чувствовал дурноту, скованность, холод во всем теле, головокружение и падал замертво. После этого целые недели меня окружа-

ли пустота, мрак, безмолвие, и весь мир превращался в Ничто. Я погружался в полнейшее небытие. Но чем быстрей наступали такие припадки, тем медленней я приходил в себя. Подобно тому, как брезжит рассвет для одинокого, бесприютного нищего, который бродит по улицам в долгую и глухую зимнюю ночь,— так же запоздало, так же томительно, так же радостно возвращался ко мне свет Души.

Но помимо этой наклонности к оцепенению в остальном здоровье мое не пошатнулось; чувствовал я себя вполне хорошо — если не считать болезненного расстройства обычного сна. Просыпаясь, я не вдруг приходил в себя и на время оказывался во власти самого нелепого смятения; в такие минуты все мои умственные способности, и в особенности память, отказывались мне служить.

Я не испытывал никаких телесных страданий, но душа моя изнывала от мук. Воображение рисовало мне темные склепы. Я без конца говорил «об эпитафиях, гробницах и червях». Я предавался бредням о смерти, и навязчивый страх перед погребением заживо терзал меня неотступно. Зловещая опасность, нависшая надо мной, не давала мне покоя ни днем, ни ночью. Днем мне было невыносимо думать о ней; ночью же это превращалось в настоящую пытку. Когда грозный Мрак поглощал Землю, я трепетал при одной мысли об этом — трепетал, как легкие перья на катафалке. Когда же самое мое Естество изнемогало от бессонницы, я смыкал глаза лишь после долгой внутренней борьбы — так страшило меня предчувствие, что я проснусь в могиле. И едва я погружался в сон, меня тотчас обступал мир призраков, над которыми витал, распластав широкие, черные, чудовищные крыла, тот же вездесущий Дух смерти.

Кошмары, душившие меня во сне, были неисчислимы, но здесь я упомяну лишь об одном видении. Мне приснилось, будто я впал в каталептическое состояние, которое было длительнее и глубже обычного. Вдруг ледяная рука коснулась моего лба и тревожный дрожащий голос шепнул мне на ухо: «Восстань!»

Я сел. Вокруг была непроглядная тьма. Я не мог видеть того, кто меня разбудил. Я не помнил ни времени, когда впал в оцепенение, ни места, где это случилось. Я не двигался и пробовал собраться с мыслями, а хладная рука меж тем исступленно стиснула мое запястье, встряхивая меня в нетерпении, и дрожащий голос повторил:

— Восстань! Разве не повелел я тебе восстать от сна?

— Но кто ты? — спросил я.

— Там, где я обитаю, у меня нет имени,— печально отвечал голос.— Некогда я был смертным, ныне я дух. Некогда я был беспощаден, ныне я исполнен милосердия. Ты чувствуешь, я дрожу. Я взываю к тебе, а зубы мои стучат, но отнюдь не от хлада ночи — ночи, что пребудет во веки веков. Ибо мерзость сия мне противна. Как можешь ты безмятежно спать? Мне не дает покоя глас предсмертных мучений. Видеть

это превыше моих сил. Восстань! Ступай за мной в бездну Ночи, и я разверзну пред тобой могилы. Это ли не юдоль скорби?.. Воззри!

Я вгляделся; и волею невидимого, который все еще сжимал мое запястье, предо мной отверзлись все могилы на лике земли, и каждая источала слабый фосфорический свет, порожденный тлением, так что взор мой проникал в сокровенные глубины и различал тела, закутанные в саваны, печально и торжественно опочившие среди могильных червей. Но увы! Не все они уснули беспробудным сном, на много миллионов больше было других, не усопших навек; и происходили слабые борения; и отовсюду возносился безутешный ропот; и из глубин несчетных могил исходил унылый шелест погребальных покровов; и я увидел, что многие, казалось бы, покоящиеся в мире, так или иначе изменили те застывшие, неудобные позы, в которых их предали земле. Я все смотрел, а голос шепнул снова:

— Это ли... Ах, это ли не юдоль скорби?

Но прежде чем я успел вымолвить хоть слово, хладная рука выпустила мое запястье, фосфорические огни погасли и земля сомкнулась над могилами, а оттуда вырвался все тот же отчаянный вопль:

— Это ли... О господи, это ли, воистину, не юдоль скорби?

Кошмары, отравлявшие мой сон по ночам, часто мучили меня и наяву. Нервы мои совершенно расстроились, и я стал жертвой неотступных страхов. Я не решался ни ездить верхом, ни ходить, лишил себя прогулок и безвыходно сидел дома. Словом, я не смел даже на короткое время расстаться с людьми, которые знали о моей подверженности каталепсии, из опасения, что со мной случится припадок и меня, не долго думая, предадут могиле. Я не доверял заботам и преданности ближайших своих друзей. Я боялся, как бы во время затяжного приступа их не убедили в том, что меня невозможно вернуть к жизни. Мало того, я опасался, что доставляю им слишком много хлопот и при первом же длительном припадке они будут только рады избавиться от меня навсегда. Тщетно пытались они успокоить меня самыми торжественными заверениями. Я требовал священных клятв, что меня похоронят лишь после того, как явные признаки распада сделают дальнейшее промедление немыслимым. Но все равно, объятый смертным страхом, я был глух к гласу разума и не знал покоя. Я придумал множество хитроумных предосторожностей. Между прочим, я распорядился так перестроить семейный склеп, чтобы его можно было с легкостью открыть изнутри. От малейшего нажима на длинный рычаг, выведенный далеко в глубину гробницы, железные двери тотчас распахивались. Были сделаны отдушины, пропускавшие воздух и свет, а также удобные хранилища для пищи и воды, до которых можно было свободно дотянуться из уготованного для меня гроба. Самый гроб был выстлан изнутри мягкой и теплой обивкой, и крышку его снабдили таким же приспособлением, что и двери склепа, с пружинами, которые откидывали ее при малейшем движе-

нии тела. Кроме того, под сводом склепа был подвешен большой колокол, и веревку от него должны были пропустить через отверстие в гробу и привязать к моей руке. Но увы! Что толку в предусмотрительности пред волей Судьбы? Даже эти хитроумные устройства не могли избавить от адских мук погребения заживо несчастного, который был на них обречен!

Настал срок — как случалось уже не раз,— когда среди полнейшего бесчувствия во мне забрезжили первые, еще слабые и смутные проблески бытия. Медленно — черепашьим шагом — растекался в моей душе тусклый, серый рассвет. Смутное беспокойство. Безучастность к глухой боли. Равнодушие... безнадежность... упадок сил. И вот, долгое время спустя, звон в ушах; вот, спустя еще дольше, покалывание или зуд в конечностях; вот целая вечность блаженного покоя, когда пробуждающиеся чувства воскрешают мысль; вот снова краткое небытие; вот внезапный возврат к сознанию. Наконец, легкая дрожь век и тотчас же, словно электрический разряд, ужас, смертельный и необъяснимый, от которого кровь приливает к сердцу. Затем — первая сознательная попытка мыслить. Первая попытка вспомнить. Это удается с трудом. Но вот уже память настолько обрела прежнюю силу, что я начинаю понимать свое положение. Я понимаю, что не просто пробуждаюсь от сна. Я вспоминаю, что со мной случился приступ каталепсии. И вот наконец мою трепещущую душу, как океан, захлестывает одна зловещая Опасность — одна гробовая, всепоглощающая мысль.

Когда это чувство овладело мною, я несколько минут лежал недвижно. Но почему? Просто у меня недоставало мужества шевельнуться. Я не смел сделать усилие, которое обнаружило бы мою судьбу,— и все же некий внутренний голос шептал мне, что сомнений нет. Отчаянье, перед которым меркнут все прочие человеческие горести,— одно лишь отчаянье заставило меня, после долгих колебаний,— приподнять тяжелые веки. И я приподнял их. Вокруг была тьма — кромешная тьма. Я знал, что приступ прошел. Знал, что кризис моей болезни давно позади. Знал, что вполне обрел способность видеть,— и все же вокруг была тьма, кромешная тьма, сплошной и непроницаемый мрак Ночи, нескончаемый во веки веков.

Я попытался крикнуть; мои губы и запекшийся язык дрогнули в судорожном усилии — но я не исторг ни звука из своих бессильных легких, которые изнемогали, словно на них навалилась огромная гора, и трепетали, вторя содроганиям сердца, при каждом тяжком и мучительном вздохе.

Когда я попробовал крикнуть, оказалось, что челюсть у меня подвязана, как у покойника. К тому же я чувствовал под собою жесткое ложе; и нечто жесткое давило меня с боков. До того мгновения я не смел шевельнуть ни единым членом — но теперь я в отчаянье вскинул кверху руки, скрещенные поверх моего тела. Они ударились о твердые доски, которые оказались надо мною в каких-нибудь шести дюймах от лица. У меня более не оставалось сомнений в том, что я лежу в гробу.

И тут, в бездне отчаянья, меня, словно ангел, посетила благая Надежда — я вспомнил о своих предосторожностях. Я извивался и корчился, силясь откинуть крышку; но она даже не шелохнулась. Я ощупывал свои запястья, пытаясь нашарить веревку, протянутую от колокола; но ее не было. И тут Ангел-Утешитель отлетел от меня навсегда, и Отчаянье, еще неумолимей прежнего, восторжествовало вновь: ведь теперь я знал наверняка, что нет мягкой обивки, которую я так заботливо приготовил; и к тому же в ноздри мне вдруг ударил резкий, характерный запах сырой земли. Оставалось признать неизбежное. Я был не в склепе. Припадок случился со мной вдали от дома, среди чужих людей, когда и как, я не мог вспомнить; и эти люди похоронили меня, как собаку, заколотили в самом обыкновенном гробу, глубоко закопали на веки вечные в простой, безвестной могиле.

Когда эта неумолимая уверенность охватила мою душу, я вновь попытался крикнуть; и крик, вопль, исполненный смертного страдания, огласил царство подземной ночи.

— Эй! Эй, в чем дело? — отозвался грубый голос.

— Что еще за чертовщина! — сказал другой голос.

— Вылазь! — сказал третий.

— С чего это тебе взбрело в башку устроить кошачью музыку? — сказал четвертый; тут ко мне скопом подступили какие-то головорезы злодейского вида и бесцеремонно принялись меня трясти. Они не разбудили меня — я уже проснулся, когда крикнул,— но после встряски память вернулась ко мне окончательно.

Дело было неподалеку от Ричмонда, в Виргинии. Вместе с одним другом я отправился на охоту, и мы прошли несколько миль вниз по Джеймс-Ривер. Поздним вечером нас застигла гроза. Укрыться можно было лишь в каюте небольшого шлюпа, который стоял на якоре с грузом перегноя, предназначенного на удобрение. За неимением лучшего нам пришлось заночевать на борту. Я лег на одну из двух коек,— можете себе представить, что за койки на шлюпе грузоподъемностью в шестьдесят или семьдесят тонн. На моей койке не было даже подстилки. Ширина ее не превышала восемнадцати дюймов. И столько же было от койки до палубы. Я с немалым трудом втиснулся в тесное пространство. Тем не менее спал я крепко; и все, что мне привиделось — ведь это не было просто кошмарным сном,— легко объяснить неудобством моего ложа, обычным направлением моих мыслей, а также тем, что я, как уже было сказано, просыпаясь, не мог сразу прийти в себя и подолгу лежал без памяти. Трясли меня матросы и наемные грузчики. Запах земли исходил от перегноя. Повязка, стягивавшая мне челюсть, оказалась шелковым носовым платком, которым я воспользовался взамен ночного колпака.

И все же в ту ночь я пережил такие страдания, словно меня в самом деле похоронили заживо. Это была ужасная, немыслимая пытка; но нет худа без добра, и сильнейшее потрясение вызвало неизбежный перелом в моем рассудке. Я обрел

душевную силу — обрел равновесие. Я уехал за границу. Я усердно занимался спортом. Я дышал вольным воздухом под сводом Небес. Я и думать забыл о смерти. Я выкинул вон медицинские книги. Бьюкена я сжег. Я бросил читать «Ночные мысли» — всякие кладбищенские страсти, жуткие истории вроде этой. Словом, я сделался совсем другим человеком и начал новую жизнь. С той памятной ночи я навсегда избавился от страхов перед могилой, а с ними и от каталепсии, которая была скорее их следствием, нежели причиной.

Бывают мгновения, когда даже бесстрастному взору Разума печальное Бытие человеческое представляется подобным аду, но нашему воображению не дано безнаказанно проникать в сокровенные глубины. Увы! Зловещий легион гробовых ужасов нельзя считать лишь пустым вымыслом; но, подобные демонам, которые сопутствовали Афрасиабу в его плавании по Оксусу, они должны спать, иначе они растерзают нас,— а мы не должны посягать на их сон, иначе нам не миновать погибели.

ПРОДОЛГОВАТЫЙ ЯЩИК


ЕСКОЛЬКО ЛЕТ ТОМУ НАЗАД, НАПРАВляясь в Нью-Йорк из Чарлстона в штате Южная Каролина, я взял каюту на превосходном пакетботе «Индепенденс», которым командовал капитан Харди. Отплытие — если не воспрепятствует погода — было назначено на пятнадцатое число текущего месяца (июня), и четырнадцатого я поднялся на борт, чтобы присмотреть за размещением моих вещей.

На пакетботе я узнал, что пассажиров будет очень много, причем число дам среди них заметно превышало обычное. В списке я заметил фамилии нескольких моих знакомых и с большим удовольствием обнаружил, что моим спутником будет также мистер Корнелий Уайет, молодой художник, к которому я питал чувство живейшей дружбы. Мы вместе учились в Ш-ском университете, где были почти неразлучны. Он обладал темпераментом, обычным для гениев, и натура его слагалась из мизантропии, впечатлительности и пылкости. К этим качествам следует добавить еще самое горячее и верное сердце, какое когда-либо билось в человеческой груди.

Я заметил, что его фамилией были помечены целых три каюты, и, вновь обратившись к списку пассажиров, узнал, что он едет не один, но с женой и двумя своими сестрами. Каюты были достаточно просторны, и в каждой имелось по две койки — одна над другой. Правда, койки эти были настолько узки, что на каждой мог уместиться только один человек, но тем не менее я не понимал, почему этим четырем людям понадобились три каюты, а не две. Тем летом мною владело то мрачное душевное настроение, которому нередко сопутствует неестественное любопытство ко всяким пустякам, и со стыдом сознаюсь, что по поводу этой лишней каюты я строил немало не делающих мне чести нелепых предположений. Разумеется, меня все это нисколько не касалось, однако я упрямо продолжал ломать голову над тайной лишней каю-

ты. Наконец я нашел отгадку и даже удивился тому, что такое простое решение не пришло мне в голову раньше. «Конечно же, с ними едет горничная! — сказал я себе.— Как глупо было с моей стороны не подумать об этом сразу!» Я еще раз справился со списком, но оказалось, что они отправляются в путь без прислуги, хотя первоначально и собирались взять с собой служанку, ибо в список были внесены, а затем вычеркнуты слова «с горничной». «О, все дело, без сомнения, в лишнем багаже! — сказал я себе.— Что-то из своих вещей он не хочет везти в трюме и предпочитает хранить возле себя... А, понимаю! Какая-нибудь картина... Так вот о чем он вел переговоры с Николини, итальянским евреем!» Такой вывод вполне меня удовлетворил, и этот пустяк перестал тревожить мое любопытство.

Сестер Уайета, очаровательных и умных барышень, я знал очень хорошо, но жены его никогда не видел, так как они обвенчались совсем недавно. Однако он часто говорил мне о ней с обычной своей пылкой восторженностью. По его словам, она была необыкновенно красива, остроумна и одарена всевозможными талантами. Поэтому мне не терпелось познакомиться с ней.

В тот день, когда я посетил пакетбот, то есть четырнадцатого, там собирался побывать и Уайет с супругой и сестрами, о чем мне сообщил капитан, а потому я задержался на борту еще час в надежде, что буду представлен новобрачной. Но затем капитан получил записку с извинениями: «Миссис У. нездоровится, а потому она прибудет на пакетбот только завтра перед самым отплытием».

На следующий день, когда я уже покинул отель и направился к пристани, меня встретил капитан Харди и сказал, что «ввиду некоторых обстоятельств» (глупая, но удобная ссылка) «Индепенденс», вероятно, задержится в порту еще на день-два и что он пришлет мне сказать, когда все будет готово к отплытию. Мне это показалось странным, так как дул свежий южный бриз, но поскольку капитан не объяснил, в чем заключались эти «обстоятельства», хотя я настойчиво выспрашивал его о них, мне оставалось только вернуться в отель и на досуге изнывать от любопытства.

Чуть ли не неделю я тщетно ждал известия от капитана, но наконец оно пришло, и я немедленно отправился на пакетбот. Почти все пассажиры были уже на борту, где царила обычная суматоха, предшествующая отплытию. Уайет и его спутницы прибыли через десять минут после меня. Сестры, новобрачная и сам художник поднялись на корабль, и я заметил, что последний был в одном из самых своих мизантропических настроений, но я давно к ним привык и перестал обращать на них внимание. Он даже не представил меня жене, так что исполнить этот долг вежливости пришлось его сестре Мэриэн, очень милой и тактичной барышне, которая и произнесла торопливо несколько отвечающих случаю слов.

Лицо миссис Уайет было скрыто густой вуалью, и когда

она в ответ на мой поклон приподняла ее, признаюсь, я был глубоко поражен. Изумление мое было бы еще больше, если бы долгий опыт не научил меня лишь с оглядкой полагаться на восторженные описания моего друга-художника, когда речь шла о женской прелести. Я прекрасно знал, с какой легкостью уносился он в сферы идеального, если темой нашей беседы служила красота.

Дело в том, что миссис Уайет показалась мне настоящей дурнушкой. На мой взгляд, ее почти можно было назвать безобразной. Однако одета она была с изысканным вкусом, и тогда у меня не возникло сомнения в том, что она пленила сердце моего друга менее преходящими чарами ума и души. Сказав мне лишь два-три слова, она тотчас удалилась в свою каюту вместе с мистером Уайетом.

Во мне вновь вспыхнуло неутолимое любопытство. Горничной с ними не было — в этом я убедился собственными глазами. Оставалось подождать, не появится ли еще какой-нибудь багаж. Некоторое время спустя на пристани показалась повозка с продолговатым сосновым ящиком — по-видимому, пакетбот ждал только его, чтобы отплыть. Едва ящик перенесли на борт, как мы отчалили и вскоре, благополучно миновав мель в устье реки, вышли в открытое море.

Ящик этот, как я уже сказал, был продолговатым. Он имел примерно шесть футов в длину и два с половиной в ширину — я внимательно рассмотрел его, и я люблю быть точным. Подобная форма встречается не часто, и едва я увидел ящик, как похвалил себя за догадливость. Читатель, вероятно, помнит, что, по моим предположениям, особый багаж моего друга-художника должен был состоять из картин или, по крайней мере, из одной картины. Мне было известно, что в течение нескольких недель он часто виделся с Николини, и вот теперь на пакетбот доставили ящик, который, судя по его форме, мог служить только вместилищем для копии «Тайной вечери» Леонардо да Винчи. Я же знал, что Николини некоторое время назад приобрел копию «Тайной вечери», сделанную во Флоренции Рубини-младшим. Таким образом, можно было считать, что и этот вопрос разрешен. Думая о своей проницательности, я весело посмеивался. Никогда раньше Уайет не имел от меня секретов во всем, что касалось его профессии, но теперь, по-видимому, ему захотелось подшутить надо мной и прямо у меня на глазах тайком привезти в Нью-Йорк превосходное полотно с расчетом, что я ни о чем не догадаюсь. Я решил, что буду в отместку всячески поддразнивать его.

Одно обстоятельство тем не менее весьма меня раздосадовало: ящик отнесли не в третью каюту, а в собственную каюту Уайета, где он и остался, занимая почти весь пол и, вероятно, причиняя множество неудобств художнику и его жене, тем более что на его крышке большими корявыми буквами была выведена надпись не то смолой, не то краской, которая пахла очень сильно и дурно,— мне этот запах показался отвратительным. Надпись на крышке гласила: «Миссис Аделаиде Кер-

тис, Олбани, штат Нью-Йорк, под надзором Корнелия Уайета, эсквайра. Верх. Обращаться с осторожностью».

Я знал, что миссис Аделаида Кертис, проживающая в Олбани,— это мать жены художника, но решил, что ее адрес написан на ящике ради мистификации, для того чтобы ввести в заблуждение именно меня. Я не сомневался в том, что крайней точкой, которой достигнет ящик на своем пути на север, будет мастерская моего друга на Чемберс-стрит в Нью-Йорке.

Первые три-четыре дня нашего плаванья погода стояла прекрасная, хотя ветер все время был лобовым — он задул с севера, едва берег скрылся за кормой. Пассажиры, разумеется, были в превосходном расположении духа и весьма общительны. Исключение составляли только Уайет и его сестры, которые были со всеми настолько сухи и сдержанны, что, на мой взгляд, это даже граничило с неучтивостью. Поведение самого Уайета меня не очень удивляло. Он был мрачен еще больше обыкновенного — можно даже сказать, угрюм,— но я и привык ждать от него чудачеств. Для его сестер, однако, я не находил оправдания. Они почти все время уединялись у себя в каюте и, как я их ни уговаривал, наотрез отказывались присоединиться к корабельному обществу.

Миссис Уайет держалась куда более любезно. Вернее сказать, она была очень словоохотлива, а словоохотливость во время морского путешествия — весьма приятный светский талант. Она завязала самое короткое знакомство с большинством дам и, к глубочайшему моему изумлению, чрезвычайно охотно кокетничала с мужчинами. Она нас всех очень развлекала. Я употребил слово «развлекала», не зная, как выразить мою мысль точнее. Откровенно говоря, я скоро убедился, что общество чаще смеялось над миссис У., чем вместе с ней. Мужчины воздерживались от каких-либо замечаний на ее счет, а дамы не замедлили объявить ее «добросердечной простушкой, довольно невзрачной, совершенно невоспитанной и, бесспорно, вульгарной». И все недоумевали, что заставило Уайета решиться на подобный брак. Богатство — таков был всеобщий приговор; но я-то знал, что эта догадка неверна. В свое время Уайет сказал мне, что она не принесла ему в приданое ни доллара и что у нее нет состоятельных родственников, которые могли бы оставить ей наследство. Он говорил мне, что женился «по любви и ради одной любви, найдя ту, кто была более чем достойна любви». Когда я вспомнил эти слова моего друга, меня охватило глубочайшее недоумение. Неужели он помешался? Какое другое объяснение мог я найти? Ведь он был таким утонченным, таким возвышенным, таким взыскательным, таким чутким к малейшим недостаткам и изъянам, таким страстным ценителем всего прекрасного! Правда, сама дама, повидимому, питала к нему нежнейшую привязанность — это становилось особенно заметно в его отсутствие, когда она ставила себя в весьма и весьма смешное положение, постоянно сообщая что-нибудь, что ей говорил «ее возлюбленный муж, мистер Уайет». Слово «муж» — если прибегнуть к одному из ее

собственных изящных выражений — казалось, «все время вертелось у нее на языке». Тем не менее все, кто был на борту, постоянно замечали, что он избегает ее общества самым подчеркнутым образом и все время затворяется у себя в каюте, которую, собственно говоря, он почти не покидал, предоставляя жене полную свободу развлекаться в салоне как ей угодно.

То, что я видел и слышал, заставило меня прийти к заключению, что мой друг по необъяснимому капризу судьбы, а может быть, под влиянием слепого увлечения связал себя с особой, стоящей во всех отношениях ниже его, и, вполне естественно, вскоре проникся к ней величайшим отвращением. Я всем сердцем жалел его, но все-таки не мог вполне простить ему, что он скрыл от меня покупку «Тайной вечери». За это я решил с ним поквитаться.

Однажды он вышел на палубу, и я, по своему обыкновению взяв его под руку, начал прогуливаться с ним взад и вперед. Однако мрачность его нисколько не рассеялась (что я счел при таких обстоятельствах вполне извинительным). Он почти все время молчал, а если и говорил, то угрюмо, с видимым усилием. Я раза два рискнул пошутить, и он сделал мучительную попытку улыбнуться. Бедняга! Вспомнив его жену, я удивился, что у него хватило сил даже на такую притворную улыбку. Наконец я приступил к исполнению моего плана: я намеревался сделать несколько скрытых намеков на продолговатый ящик — лишь так, чтобы он постепенно понял, что ему не удалось меня провести и я не стал жертвой его остроумной мистификации. И вот я открыл огонь моей замаскированной батареи, сказав что-то о «своеобразной форме этого ящика». Свои слова я сопроводил многозначительной улыбкой, чуть-чуть подмигнул и легонько ткнул художника указательным пальцем в ребра.

То, как Уайет воспринял эту безобидную шутку, немедленно убедило меня в его безумии. Сначала он уставился на меня так, словно был не в силах понять моих слов, но по мере того как его мозг медленно постигал их скрытый смысл, глаза его все больше вылезали из орбит. Он побагровел, потом страшно побледнел, а затем, словно мой намек чрезвычайно его позабавил, он разразился буйным смехом и, к моему удивлению, продолжал хохотать все громче и исступленнее более десяти минут. В заключение он тяжело упал на палубу. Я нагнулся, чтобы помочь ему встать, и мне показалось, что он мертв.

Я позвал на помощь, и нам лишь с большим трудом удалось привести его в чувство. Очнувшись, он что-то неразборчиво забормотал. Тогда мы пустили ему кровь и уложили его в постель. На другое утро он совсем оправился — то есть телесно. О его рассудке я, конечно, промолчу. С этого дня я старательно избегал его, как посоветовал мне капитан, который, видимо, вполне разделял мое мнение о его помешательстве, но настоятельно попросил меня никому на пакетботе ничего об этом не говорить.

После этого припадка Уайета мое пробудившееся любопытство продолжало распаляться все сильнее, чему способствовали кое-какие обстоятельства. В их числе следует упомянуть следующее: я был в нервическом состоянии — пил слишком много зеленого чая и дурно спал. Собственно говоря, были две ночи, когда я почти вовсе не сомкнул глаз. Дверь моей каюты выходила в главный салон, служивший также столовой,— туда же выходили все мужские каюты. Три каюты Уайета сообщались с малым салоном, отделенным от главного лишь легкой скользящей дверью, которая на ночь никогда не запиралась. Так как мы почти все время шли против лобового ветра, причем довольно крепкого, то наше судно непрерывно лавировало, и когда оно кренилось на правый борт, скользящая дверь между салонами открывалась и оставалась открытой — никто не брал на себя труд вставать с постели и закрывать ее. Однако моя койка располагалась так, что в тех случаях, когда скользящая дверь открывалась, а дверь моей каюты была открыта (из-за жары же она бывала открыта постоянно), я мог видеть почти весь малый салон, причем именно ту его часть, где находились каюты мистера У. Так вот, в те две ночи (не следовавшие одна за другой), когда меня томила бессонница, я совершенно ясно видел, как около одиннадцати часов и в ту и в другую ночь миссис У. крадучись выходила из каюты мистера У. и скрывалась в третьей каюте, где оставалась до рассвета, а тогда по зову мужа возвращалась обратно. Это неопровержимо доказывало, что разрыв между ними был полным. Они уже отказались от общей спальни, вероятно, помышляя о формальном разводе, и я опять решил, что тайна третьей каюты наконец разъяснилась.

Было и еще одно обстоятельство, которое весьма меня заинтересовало. В обе упомянутые бессонные ночи, немедленно после того, как миссис Уайет удалялась в третью каюту, мой слух начинал различать в каюте ее мужа легкие шорохи и постукивания. Я некоторое время сосредоточенно к ним прислушивался, и в конце концов мне удалось найти верное их истолкование. Их производил художник, вскрывая продолговатый ящик с помощью стамески и деревянного молотка, который был, по-видимому, обернут какой-то мягкой шерстяной или бумажной материей, чтобы приглушить стук.

Мне казалось, что я способен совершенно точно различить миг, когда он открывал крышку, и когда снимал ее, и когда клал ее на нижнюю койку. Последнее, например, я определял по тихому постукиванию крышки о деревянную закраину койки, которого он не мог избежать, хотя и опускал крышку на койку с большой осторожностью. На полу же места для крышки просто не нашлось бы. Вслед за этим наступала мертвая тишина, и до рассвета я ни в первый, ни во второй раз больше ничего не слышал; правда, порой мне чудилось, что там раздаются почти беззвучные рыдания или шепот, но это, возможно, было лишь плодом моего воображения. Я сказал, что звуки эти походили на рыдания или вздохи, но, разумеется, они

не могли быть ни тем, ни другим. Я склонен думать, что у меня просто звенело в ушах. Без сомнения, мистер Уайет в полном соответствии с обычными представлениями всего лишь давал волю своему артистическому темпераменту, подчиняясь властительной страсти. Он вскрывал продолговатый ящик, чтобы насладиться созерцанием спрятанной там бесценной картины. Но с какой стати он начал бы над ней рыдать? А потому, повторяю, меня, несомненно, вводила в заблуждение моя фантазия, подстегнутая зеленым чаем почтенного капитана Харди. Перед зарей я оба раза ясно слышал, как мистер Уайет вновь закрывал продолговатый ящик крышкой и возвращал гвозди в прежнее положение с помощью обернутого материей молотка. Вслед за тем он выходил из каюты совершенно одетый и вызывал миссис Уайет из третьей каюты.

Наше плаванье продолжалось уже семь дней, и мы находились на траверзе мыса Гаттерас, когда с юго-запада налетел шторм. Однако мы в известной мере были готовы к нему, так как погода уже некоторое время угрожающе портилась. Люки были задраены, багаж и все предметы внизу и на палубе надежно закреплены. По мере того как ветер крепчал, мы убирали паруса и несли теперь только контрбизань и фор-марсель, взяв на них по два рифа.

Мы шли таким образом двое суток — наш пакетбот во многих отношениях показал себя отличным мореходом, и мы совсем не набрали воды в трюм. Однако на исходе второго дня ветер стал ураганным, наша контрбизань была разорвана в клочья, мы потеряли ход, и на нас обрушилось подряд несколько гигантских валов. Они увлекли за собой в море трех матросов, камбуз и почти весь левый фальшборт. Не успели мы прийти в себя, как лопнул фор-марсель, но мы поставили штормовые паруса, и в течение нескольких часов наше судно продолжало благополучно продвигаться вперед.

Однако ураган не стихал и ничто не свидетельствовало о скором его прекращении. Ванты, как оказалось, были плохо натянуты и все время испытывали излишнее напряжение — в результате на третий день около пяти часов дня, когда корабль резко вильнул, бизань-мачта не выдержала и рухнула на палубу. Более часа мы тщетно пытались освободить от нее судно, которое теперь подвергалось чудовищной боковой качке, а затем на корму явился плотник и доложил, что вода в трюме поднялась на четыре фута. В довершение всех бед выяснилось, что помпы засорены и ничего не откачивают.

Теперь на судне воцарилось отчаяние и смятение, однако была сделана попытка облегчить его, выбросив за борт весь груз, до которого удалось добраться, и срубив оставшиеся две мачты. В конце концов нам удалось это сделать, но помпы по-прежнему бездействовали, а вода в трюме стремительно прибывала.

На закате ураган заметно стих, а с ним немного улеглось и волнение, и у нас появилась слабая надежда спастись в шлюпках. В восемь часов вечера тучи с наветренной стороны

разошлись, и нас озарили лучи полной луны — эта нежданная удача немало нас подбодрила.

Ценой невероятных усилий нам удалось благополучно спустить на воду вельбот, и в него погрузилась команда и почти все пассажиры. Вельбот тотчас же отвалил от судна, и на третий день после кораблекрушения те, кто в нем находился, немало настрадавшись, добрались до Окракок-Инлет.

На борту пакетбота осталось четырнадцать человек, включая капитана, которые решились доверить свою судьбу кормовой шлюпке. Мы спустили ее без особых затруднений, хотя, когда она коснулась воды, волна не залила ее лишь чудом. В эту шлюпку сели капитан с супругой, мистер Уайет и его спутницы, мексиканский офицер, его жена и четверо детей, а также я сам со слугой негром.

Разумеется, в шлюпке почти не оставалось места, а потому мы могли взять с собой лишь несколько совершенно необходимых навигационных инструментов и немного провизии. Все наши вещи, кроме одежды, которая была на нас, остались на борту, и, разумеется, никто даже не помышлял о том, чтобы спасти хоть часть своего багажа. Как же должны были изумиться мы все, когда сидевший на корме шлюпки мистер Уайет вдруг поднялся на ноги, едва мы отошли от пакетбота на несколько саженей, и спокойно потребовал от капитана Харди повернуть назад к пакетботу, чтобы он мог взять с собой свой продолговатый ящик!

— Сядьте, мистер Уайет,— сурово сказал капитан.— Вы опрокинете нас, если не будете сидеть неподвижно. Ведь шлюпка и так погружена в воду по самый планшир.

— Ящик! — воскликнул мистер Уайет, продолжая стоять.— Я говорю о ящике! Капитан Харди, вы не можете... вы не посмеете мне отказать. Его вес... это же пустяк, сущая безделица. Матерью, родившей вас, милостью небесной, вашей надеждой на вечное спасение заклинаю вас — вернитесь за ящиком!

Капитан, казалось, был на миг тронут отчаянным призывом художника, но его лицо тут же обрело прежнее суровое выражение, и он ответил только:

— Мистер Уайет, вы безумны! Я не буду вас слушать. Сядьте же, или вы утопите шлюпку. Погодите... Хватайте его!.. Держите!.. Он хочет прыгнуть за борт! Ну вот... я предвидел это... он бросился в море!

И действительно, мистер Уайет кинулся в волны, и, так как мы были еще совсем рядом с пакетботом, заслонявшим нас от ветра, ему удалось ценой сверхчеловеческих усилий схватиться за канат, свисавший из носового клюза. Секунду спустя он был уже на палубе и стремглав бросился вниз в каюту.

Тем временем нас отнесло за корму судна, и мы оказались в полной власти все еще бушевавших волн. Мы попытались вернуться к пакетботу, но буря гнала нашу скорлупку куда хотела. И мы поняли, что злополучный художник обречен.

От разбитого пакетбота нас отделяло уже довольно большое расстояние, когда безумец (ибо мы были убеждены, что он лишился рассудка) поднялся по трапу и, хотя это должно было потребовать поистине колоссальной силы, вытащил на палубу продолговатый ящик. Пока мы смотрели на него, пораженные увиденным, он быстро обмотал ящик трехдюймовым канатом и тем же канатом обвязал себя. В следующий миг ящик с художником были уже в море, которое сразу же поглотило их.

Несколько мгновений мы удерживали шлюпку в неподвижности и с грустью глядели на роковое место. Потом мы начали грести и поплыли прочь. Больше часа в нашей шлюпке царило полное молчание. Наконец я осмелился прервать его:

— Вы заметили, капитан, что они сразу пошли ко дну? Разве это не странно? Признаюсь, когда я увидел, что он привязывает себя к ящику перед тем, как предаться волнам, во мне пробудилась слабая надежда на его спасение.

— Они должны были пойти ко дну,— ответил капитан.— Как камень. Врочем, они вскоре вновь всплывут — однако не прежде чем растворится соль.

— Соль?! — воскликнул я.

— Шшш,— сказал капитан, указывая на жену и сестер покойного.— Мы поговорим об этом после, в более подходящее время.

Нам пришлось перенести немало страданий, и мы с трудом избежали смерти в пучине, однако счастье улыбнулось не только вельботу, но и нашей шлюпке. Короче говоря, мы, еле живые, причалили после четырех дней тяжких испытаний к песчаному берегу напротив острова Роанок. Там мы провели неделю, не претерпев никакого ущерба от тех, кто наживается на кораблекрушениях, и в конце концов нас подобрало судно, шедшее в Нью-Йорк.

Примерно через месяц после гибели «Индепенденса» я случайно встретил на Бродвее капитана Харди. Как и следовало ожидать, мы вскоре разговорились о случившемся и о печальной судьбе бедного Уайета. Тогда-то я и узнал следующие подробности.

Художник взял каюты для себя, своей жены и двух сестер, а также для горничной. Его жена действительно была, как он и утверждал, необыкновенно красивой и необыкновенно одаренной женщиной. Утром четырнадцатого июня (в тот день, когда я в первый раз приехал на пакетбот) она внезапно занемогла и через несколько часов скончалась. Молодой муж был вне себя от горя, но по некоторым причинам не мог отложить свое возвращение в Нью-Йорк. Он должен был отвезти тело своей обожаемой жены к ее матери, однако не мог сделать этого открыто, так как широко известный предрассудок воспрепятствовал бы ему привести его намерение в исполнение. Девять десятых пассажиров предпочли бы вовсе отказаться от

поездки, лишь бы не путешествовать на одном корабле с покойником.

Чтобы выйти из этого затруднения, капитан Харди устроил так, что труп, частично набальзамированный и уложенный в соль в ящике соответствующих размеров, был доставлен на борт как багаж. Смерть новобрачной держали в тайне, и, так как всем было известно, что мистер Уайет собирался в Нью-Йорк с женой, нужно было найти женщину, которая выдавала бы себя за нее во время плавания. На это без долгих уговоров дала согласие горничная покойной. Третью каюту, первоначально предназначавшуюся для нее, мистер Уайет оставил за собой, а лжежена, разумеется, проводила там все ночи. Днем она в меру способностей разыгрывала роль своей покойной хозяйки, которую — как они позаботились выяснить заранее — никто из пассажиров не знал в лицо.

В моей вполне естественной ошибке был повинен мой слишком беспечный, слишком любопытный и слишком импульсивный характер. Однако последнее время я по ночам почти не смыкаю глаз. Как ни ворочаюсь я с боку на бок, перед моим взором все время стоит некое лицо. И в моих ушах никогда не умолкает пронзительный истерический хохот.

РАЗГОВОР С МУМИЕЙ

Вчерашняя наша застольная беседа оказалась чересчур утомительной для моих нервов. Разыгралась головная боль, появилась сонливость. Словом, нынче вместо того чтобы идти со двора, как я прежде намеревался, я предпочел подобру-поздорову остаться дома, поужинать самую малость и отправиться спать.

Ужин, разумеется, совсем легкий. Я страстный любитель гренков с сыром. Но даже их больше фунта в один присест не всегда съешь. Впрочем, и два фунта не могут вызвать серьезных возражений. А где два, там и три, разницы почти никакой. Я, помнится, отважился на четыре. Жена, правда, утверждает, что на пять, но она, очевидно, просто перепутала. Цифру пять, взятую как таковую, я и сам признаю, но в конкретном применении она может относиться только к пяти бутылкам черного портера, без каковой приправы гренки с сыром никак не идут.

Завершив таким образом мою скромную трапезу и надевши ночной колпак, я в предвкушении сладостного отдыха до полудня приклонил голову на подушку и, как человек с совершенно незапятнанной совестью, немедленно погрузился в сон.

Но когда сбывались людские надежды? Я не всхрапнул еще и в третий раз, как у входной двери яростно зазвонили и вслед за этим нетерпеливо застучали дверным молотком, отчего я тут же и проснулся. А минуту спустя, пока я еще продирал глаза, жена сунула мне под нос записку от моего старого друга доктора Йейбогуса. В ней значилось:

«Во что бы то ни стало приходите ко мне, мой добрый друг, как только получите это письмо. Приходите и разделите нашу радость. Я наконец, благодаря упорству и дипломатии, добился от дирекции Городского музея согласия на обследование мумии — вы помните какой. Мне разрешено распеленать ее и, если потребуется, вскрыть. При этом будут присутствовать лишь двое-трое близких друзей, вы, разуме-

8 Заказ 59

ется, в том числе. Мумия уже у меня дома, и мы начнем ее разматывать сегодня в одиннадцать часов вечера.

Всегда ваш

Йейбогус»

Дойдя до слова «Йейбогус», я почувствовал, что совершенно, окончательно проснулся. В восторге выпрыгнул я из-под одеяла, сокрушая все на своем пути, оделся с быстротой прямо-таки фантастической и со всех ног бросился к дому доктора.

Там я застал уже всех в сборе, с нетерпением ожидающими моего прибытия. Мумия лежала распростертая на обеденном столе, и лишь только я вошел, было приступлено к обследованию.

Это была одна из двух мумий, привезенных несколько лет назад кузеном Йейбогуса капитаном Артуром Ментиком с Ливийского нагорья, где он их нашел в одном захоронении близ Элейтиаса, на много миль вверх по Нилу от Фив. В этой местности пещеры хотя и не столь величественны, как фиванские гробницы, зато представляют большой интерес, ибо содержат многочисленные изображения, проливающие свет на жизнь и быт древних египтян. Камера, из которой был извлечен лежащий перед нами экземпляр, по рассказам, особенно изобиловала такими изображениями — ее стены были сплошь покрыты фресками и барельефами, в то время как статуи, вазы и мозаичные узоры свидетельствовали о незаурядном богатстве погребенного.

Драгоценная находка была передана музею в том самом виде, в каком впервые попала на глаза капитану Ментику,— саркофаг остался не вскрыт. И так он простоял восемь лет, доступный лишь наружному осмотру публики. Иначе говоря, в нашем распоряжении сейчас была цельная, нетронутая мумия, и те, кто отдает себе отчет в том, сколь редко достигают наших берегов непопорченные памятники древности, сразу же поймут, что мы имели полное право поздравить себя с такой удачей.

Подойдя к столу, я увидел большой короб, или ящик, едва ли не семи футов в длину, трех в ширину и высотой не менее двух с половиной футов. Он имел правильную овальную форму, а не суживающуюся к одному концу, как гроб. Материал, из которого он был сделан, мы сначала приняли за дерево сикоморы (Platanus), но оказалось, когда сделали разрез, что это картон, вернее, papier-mâché из папируса. Снаружи его густо покрывали рисунки — сцены похорон и другие печальные сюжеты, между которыми тут и там во всевозможных положениях повторялись одинаковые иероглифические письмена, знаменующие собою, вне всякого сомнения, имя усопшего. По счастью, среди нас находился мистер Глиддон, который без труда расшифровал эту надпись: она была сделана просто фонетическим письмом и читалась как «Бестолковео».

Нам не сразу удалось вскрыть ящик так, чтобы не повредить его, но когда наконец мы в этом преуспели, нашим глазам открылся другой ящик, уже в форме гроба и значительно меньших размеров, чем наружный, но во всем прочем — его совершенная копия. Промежуток между ними был заполнен смолой, отчего краски на втором ящике несколько пострадали.

Открыв и его (что мы осуществили с легкостью), мы обнаружили третий ящик, также сужающийся с одного конца и вообще отличающийся от второго лишь материалом: он был сделан из кедра и все еще источал присущий этому дереву своеобразный аромат. Никакого зазора между вторым и третьим ящиком не было — стенки одного вплотную прилегали к стенкам другого.

Сняв третий ящик, мы обнаружили и извлекли саму мумию. Мы ожидали, что она, как всегда в таких случаях, будет плотно обернута, как бы забинтована, полосами ткани, но вместо этого оказалось, что тело заключено в своего рода футляр из папируса, покрытый толстым слоем лака, раззолоченный и испещренный рисунками. На них изображены были всевозможные мытарства души и ее встречи с различными богами. Повторялись одни и те же человеческие фигуры,— по всей видимости, портреты набальзамированных особ. От головы до ног перпендикулярной колонкой шла надпись, также сделанная фонетическими иероглифами и указывающая имя и различные титулы усопшего, а кроме того, имена и титулы его родственников.

На шее мумии мы обнаружили ожерелье из разноцветных цилиндрических бусин с изображениями божеств, скарабеев и прочего, а также крылатого шара. Второе подобное, так сказать, ожерелье стягивало мумию в поясе.

Содрав папирус, мы обнажили тело, которое оказалось в отличной сохранности и совершенно не пахло. Кожа имела красноватый оттенок. Она была гладкой, плотной и блестящей. В прекрасном состоянии были и зубы и волосы. Глаза, по-видимому, были вынуты, и на их место вставлены стеклянные, выполненные очень красиво и с большим правдоподобием. Только, пожалуй, взгляд получился слишком уж решительный. Ногти и концы пальцев были щедро позолочены.

Мистер Глиддон высказал мнение, что, судя по красноватой окраске эпидермиса, бальзамирование осуществлено исключительно асфальтовыми смолами. Однако, когда с поверхности тела соскребли стальным инструментом некоторое количество порошкообразной субстанции и бросили в пламя, стало очевидным присутствие камфары и других пахучих веществ.

Мы тщательно осмотрели тело в поисках отверстия, через которое были извлечены внутренности, но, к нашему недоумению, таковое не обнаружили. Никто из присутствовавших тогда не знал, что цельные, или невскрытые мумии — явление не столь уж и редкое. Нам было известно, что, как правило, мозг покойника удаляли через нос, для извлечения кишок делали

8 *

надрез сбоку живота, после чего труп обривали, мыли и опускали в рассол, и только позднее, по прошествии нескольких недель, приступали к собственно бальзамированию.

Так и не обнаружив надреза, доктор Йейбогус приготовил свой хирургический инструмент, чтобы начать вскрытие, но тут я спохватился, что уже третий час ночи. Было решено отложить внутреннее обследование до завтрашнего вечера, и мы уже собирались разойтись, когда кто-то предложил один-два опыта с вольтовой батареей.

Мысль воздействовать электричеством на мумию трех- или четырехтысячелетнего возраста была если и не очень умна, то, во всяком случае, оригинальна, и мы все тотчас же ею загорелись. На девять десятых в шутку и на одну десятую всерьез мы установили у доктора в кабинете батарею, а затем перенесли туда египтянина.

Нам стоило немалых трудов обнажить край височной мышцы, которая оказалась значительно менее окостенелой, чем остальная мускулатура тела, однако же, как и следовало ожидать, при соприкосновении с проводом не проявила, разумеется, ни малейшей гальванической чувствительности. Эту первую попытку мы сочли достаточно убедительной и, от души смеясь над собственной глупостью, стали прощаться, как вдруг я мельком взглянул на мумию и замер в изумлении. Одного беглого взгляда было довольно, чтобы удостовериться, что глазные яблоки, которые мы все принимали за стеклянные, хотя и было замечено их странное выражение, теперь оказались прикрыты веками, так что оставались видны только узкие полоски tunica albuginea [1].

Громким возгласом я обратил на это обстоятельство внимание остальных, и все сразу же убедились в моей правоте.

Не могу сказать, чтобы я был встревожен этим явлением, «встревожен» — не совсем то слово. Думаю, что если бы не портер, можно было бы утверждать, что я испытал некоторое беспокойство. Из остальных же собравшихся никто даже не делал попытки скрыть самый обыкновенный испуг. На доктора Йейбогуса просто жалко было смотреть. Мистер Глиддон вообще умудрился куда-то скрыться. А у мистера Силка Бакингема, я надеюсь, недостанет храбрости отрицать, что он на четвереньках ретировался под стол.

Однако, когда первое потрясение прошло, мы, нимало не колеблясь, немедленно приступили к дальнейшим экспериментам. Теперь наши действия были направлены против большого пальца правой ноги. Был сделан надрез над наружной os sisamoideum pollicis pedis [2] и тем самым обнажен корень musculus abductor [3]. Снова наладив батарею, мы подействовали током на рассеченный нерв, и тут мумия, ну прямо совершенно как живая, сначала согнула правое колено, подтянув ногу чуть не к самому животу, а затем, выпрямив ее необыкновенно сильным

[1] Белки глаз *(лат.)*.
[2] Сесамовидной костью большого пальца ноги *(лат.)*.
[3] Отводящей мышцы *(лат.)*.

толчком, так брыкнула доктора Йейбогуса, что этот солидный ученый муж вылетел, словно стрела из катапульты, через окно третьего этажа на улицу.

Мы все en masse [1] ринулись вон из дома, чтобы подобрать разбитые останки нашего погибшего друга, но имели счастье повстречать на лестнице его самого, задыхающегося от спешки, исполненного философическим пылом испытателя и еще более прежнего убежденного в необходимости с усердием и тщанием продолжить наши опыты.

По его указанию, мы, не медля ни минуты, сделали глубокий надрез на кончике носа испытуемого, и доктор, крепко ухватившись, притянул его в соприкосновение с проводом.

Эффект — морально и физически, в прямом и переносном смысле — был электрический. Во-первых, покойник открыл глаза и часто замигал, точно мистер Барнс в пантомиме; во-вторых, он чихнул; в-третьих, сел; в-четвертых, потряс кулаком под носом у доктора Йейбогуса; и в-пятых, обратившись к господам Глиддону и Бакингему, адресовался к ним на безупречном египетском языке со следующей речью:

— Должен сказать, джентльмены, что нахожу ваше поведение столь же оскорбительным, сколь и непонятным. Ну, хорошо, от доктора Йейбогуса ничего другого и не приходится ожидать. Он просто жирный неуч, где ему, бедняге, понять, как нужно обращаться с порядочным человеком. Мне жаль его. Я его прощаю. Но вы, мистер Глиддон, и вы, Силк, вы столько путешествовали и жили в Египте, почти, можно сказать, родились там, вы, так долго жившие среди нас, что говорите по-египетски, вероятно, так же хорошо, как пишете на своем родном языке, вы, кого я всегда был склонен считать верными друзьями мумий,— право же, уж кто-кто, а вы могли бы вести себя лучше. Вы видите, что со мною возмутительно обращаются, но преспокойно стоите в стороне и смотрите. Как это надо понимать? Вы дозволяете всякому встречному и поперечному снимать с меня мои саркофаги и облачения в таком непереносимо холодном климате. Что я, по-вашему, должен об этом думать? И наконец, самое вопиющее, вы содействуете и попустительствуете этому жалкому грубияну доктору Йейбогусу, решившемуся потянуть меня за нос. Что все это значит?

Естественно предположить, что, услышав эти речи, мы все бросились бежать, или впали в истерическое состояние, или же дружно шлепнулись в обморок. Любое из этих трех предположений напрашивается само собой. Я убежден, что, поведи мы себя таким образом, никто бы не удивился. Более того, честью клянусь, что сам не понимаю, как и почему ничего подобного с нами не произошло. Разве только причину нужно искать в так называемом духе времени, который действует по принципу «все наоборот» и которым в наши дни легко объясняют любые нелепицы и противоречия. А может быть, дело тут в том, что мумия держалась уж очень естественно и непринужденно, и

---

[1] Скопом, вместе *(фр.)*.

потому речи ее не прозвучали так жутко, как должны были бы. Словом, как бы то ни было, но из нас ни один не испытал особого трепета и вообще не нашел в этом явлении ничего из ряда вон выходящего.

Я, например, ничуть не удивился и просто отступил на шаг подальше от египетского кулака. Доктор Йейбогус побагровел и уставился в лицо мумии, глубоко засунув руки в карманы панталон. Мистер Глиддон погладил бороду и поправил крахмальный воротничок. Мистер Бакингем низко опустил голову и сунул в левый угол рта большой палец правой руки.

Египтянин посмотрел на него с негодованием, помолчал минуту, а затем с язвительной усмешкой продолжал:

— Что же вы не отвечаете, мистер Бакингем? Вы слышали, о чем вас спрашивают? Выньте-ка палец изо рта, сделайте милость!

При этом мистер Бакингем вздрогнул, вынул из левого угла рта большой палец правой руки и тут же возместил понесенный урон тем, что всунул в правый угол названного отверстия большой палец левой руки.

Так и не добившись ответа от мистера Б., мумия обратилась к мистеру Глиддону и тем же безапелляционным тоном потребовала объяснений от него.

И мистер Глиддон дал пространные объяснения на разговорном египетском языке. Не будь в наших американских типографиях так плохо с египетскими иероглифами, я бы с огромным удовольствием привел здесь целиком в исконном виде его превосходную речь.

Кстати замечу, что вся последующая беседа с мумией происходила на разговорном египетском через посредство (что касается меня и остальных необразованных членов нашей компании) — через посредство, стало быть, переводчиков Глиддона и Бакингема. Эти джентльмены говорили на родном языке мумии совершенно свободно и бегло, однако я заметил, что временами (когда речь заходила о понятиях и вещах исключительно современных и для нашего гостя совершенно незнакомых) они бывали принуждены переходить на язык вещественный. Мистер Глиддон, например, оказался бессилен сообщить египтянину смысл термина «политика», покуда не взял уголек и не нарисовал на стене маленького красноносого субъекта с продранными локтями, который стоит на помосте, отставив левую ногу, выбросив вперед сжатую в кулак правую руку, закатив глаза и разинув рот под углом в 90 градусов. Точно так же мистеру Бакингему не удавалось выразить современное понятие «прорехи в экономике» до тех пор, пока, сильно побледнев, он не решился (по совету доктора Йейбогуса) снять свой новехонький сюртук и показать спину крахмальной сорочки.

Как вы сами понимаете, мистер Глиддон говорил главным образом о той великой пользе, какую приносит науке распеленывание и потрошение мумий. Выразив сожаление о тех неудобствах, которые эта операция доставит ему, одной мумифицированной личности по имени Бестолковео, он кончил свою

речь, намекнув (право, это был не больше чем тонкий намек), что теперь, когда все разъяснилось, неплохо бы продолжить исследование. При этих словах доктор Йейбогус опять стал готовить инструменты.

Относительно последнего предложения оратора у Бестолковео нашлись кое-какие контрдоводы идейного свойства, какие именно, я не понял; но он выразил удовлетворение принесенными ему извинениями, слез со стола и пожал руки всем присутствующим.

По окончании этой церемонии мы все занялись возмещением ущерба, понесенного нашим гостем от скальпеля. Зашили рану на виске, перебинтовали колено и налепили на кончик носа добрый дюйм черного пластыря.

Затем мы обратили внимание на то, что граф (ибо таков был титул Бестолковео) слегка дрожит — без сомнения, от холода. Доктор сразу же удалился к себе в гардеробную и вынес оттуда черный фрак наимоднейшего покроя, пару небесно-голубых клетчатых панталон со штрипками, розовую, в полоску chemise[1], широкий расшитый жилет, трость с загнутой ручкой, цилиндр без полей, лакированные штиблеты, желтые замшевые перчатки, монокль, пару накладных бакенбард и пышный шелковый галстук. Из-за некоторой разницы в росте между графом и доктором (соотношение было примерно два к одному) при облачении египтянина возникли небольшие трудности; но потом все кое-как уладилось и наш гость был в общем и целом одет. Мистер Глиддон взял его под руку и подвел к креслу перед камином, между тем как доктор позвонил и распорядился принести ему сигар и вина.

Разговор вскоре оживился. Всех, естественно, весьма заинтересовал тот довольно-таки потрясающий факт, что Бестолковео оказался живым.

— На мой взгляд, вам давно бы следовало помереть,— заметил мистер Бакингем.

— Что вы! — крайне удивленно ответил граф.— Ведь мне немногим больше семисот лет! Мой папаша прожил тысячу и умер молодец молодцом.

Тут посыпались вопросы и выкладки, с помощью каковых было скоро выяснено, что предполагаемая древность мумии сильно преуменьшена. Со времени заключения ее в элейтиадские катакомбы прошло на самом деле пять тысяч пятьдесят лет и несколько месяцев.

— Мое замечание вовсе не относилось к вашему возрасту в момент захоронения,— пояснил Бакингем.— Готов признать, что вы еще сравнительно молоды. Я просто имел в виду тот огромный промежуток времени, который, по вашему же собственному признанию, вы пролежали в асфальтовых смолах.

— В чем, в чем? — переспросил граф.

— А асфальтовых смолах.

— А-а, кажется, я знаю, что это такое. Их, вероятно, тоже

---

[1] Сорочку *(фр.)*.

можно использовать. Но в мое время употреблялся исключительно бихлорид ртути, иначе — сулема.

— Вот еще чего мы никак не можем понять,— сказал доктор Йейбогус.— Каким образом получилось, что вы умерли и похоронены в Египте пять тысяч лет назад, а теперь разговариваете с нами живой и, можно сказать, цветущий?

— Если б я действительно, как вы говорите, умер,— отвечал граф,— весьма вероятно, что я бы сейчас оставался мертвым, ибо, я вижу, вы еще совершенные дети в гальванизме и не умеете того, что у нас когда-то почиталось делом пустяковым. Но я просто впал в каталептический сон, и мои близкие решили, что я либо уже умер, либо должен очень скоро умереть, и поспешили меня бальзамировать. Полагаю, вам знакомы основные принципы бальзамирования?

— М-м, не совсем, знаете ли.

— Понятно. Плачевная необразованность! Входить в подробности я сейчас не могу, но следует вам сказать, что бальзамировать — значило у нас в Египте остановить на неопределенный срок в животном организме абсолютно все процессы. Я употребляю слово «животный» в самом широком смысле, включающем как физическое, так и духовное, и витальное бытие. Повторяю, ведущим принципом бальзамирования у нас была моментальная и полная остановка всех животных функций. Иными словами, в каком состоянии человек находился в момент бальзамирования, в таком он и сохраняется. Я имею счастье принадлежать к роду Скарабея и поэтому был забальзамирован живым, как вы можете теперь убедиться.

— К роду Скарабея? — воскликнул доктор Йейбогус.

— Да. Скарабей был своего рода наследственным гербом одной очень знатной и высокой фамилии. Принадлежать к роду Скарабея означало просто быть членом этой фамилии. Мои слова надо понимать фигурально.

— Но как это связано с тем, что вы остались живы?

— Да ведь у нас в Египте повсеместно принято было перед бальзамированием трупа удалять внутренности и мозг. Одни только Скарабеи не подчинялись этому обычаю. Следовательно, не будь я Скарабеем, я остался бы без мозга и внутренностей, а в таком виде жить довольно неудобно.

— Я понял,— сказал мистер Бакингем.— Стало быть, все попадающиеся нам цельные мумии принадлежали к роду Скарабея?

— Без сомнения.

— Я думал,— кротко заметил мистер Глиддон,— что Скарабей — один из египетских богов.

— Из египетских богов? — вскочив, воскликнула мумия.

— Да,— подтвердил известный путешественник.

— Мистер Глиддон, вы меня удивляете,— произнес граф, снова усевшись в кресло.— Ни один народ на земле никогда не поклонялся более чем одному богу. Скарабей, ибис и прочие были для нас (как иные подобные существа для других) всего

лишь символами, media[1] при поклонении Создателю, который слишком велик, чтобы обращаться к нему прямо.

Наступила пауза. Потом доктор Йейбогус продолжил разговор.

— Правильно ли будет предположить на основании ваших слов,— спросил он,— что в нильских катакомбах лежат и другие мумии из рода Скарабея, сохранившие состояние витальности?

— В этом не может быть сомнения,— отвечал граф.— Все Скарабеи, по случайности бальзамированные заживо, живы и в настоящее время. Даже среди тех, кого забальзамировали нарочно, тоже могут отыскаться по недосмотру душеприказчиков оставшиеся в гробницах.

— Не будете ли вы столь добры объяснить, что означает «забальзамировали нарочно»?— попросил я.

— С великим удовольствием,— отозвалась мумия, доброжелательно осмотрев меня в монокль, поскольку это был первый вопрос, который задал ей лично я.— С великим удовольствием. Обычная продолжительность человеческой жизни в мое время была примерно восемьсот лет. Крайне редко случалось, если не считать экстраординарных происшествий, что человек умирал, не достигнув шестисотлетнего возраста. Бывали и такие, что проживали дольше десяти сотен. Но естественным сроком жизни считалось восемьсот лет. После того как был открыт принцип бальзамирования, который я вам ранее изложил, нашим философам пришла мысль удовлетворить похвальную людскую любознательность, а заодно содействовать развитию наук, устроив проживание этого естественного срока по частям, с перерывами. Для истории, например, такой способ жизни, как показывает опыт, просто необходим. Скажем, ученый-историк, дожив до пятисот лет и употребив немало стараний, напишет толстый труд. Затем прикажет себя тщательно забальзамировать и оставит своим будущим душеприказчикам строгое указание оживить его по прошествии какого-то времени — допустим, шестисот лет. Возвратившись через этот срок к жизни, он обнаружит, что из его книги сделали какой-то бессвязный набор цитат, превратив ее в литературную арену для столкновения противоречивых мнений, догадок и недомыслий целой своры драчливых комментаторов. Все эти недомыслия и проч. под общим названием «исправлений и добавлений» до такой степени исказили, затопили и поглотили текст, что автор принужден ходить с фонарем в поисках своей книги. И, найдя, убедиться, что не стоило стараться. Он садится и все переписывает заново, а кроме того, долг ученого-историка велит ему внести поправки в ходячие предания новых людей о той эпохе, в которой он когда-то жил. Благодаря такому самопереписыванию и поправкам живых свидетелей, длительные старания отдельных мудрецов привели к тому, что наша история не выродилась в пустые побасенки.

[1] Посредниками *(лат.)*.

— Прошу прощения,— проговорил тут доктор Йейбогус, кладя ладонь на руку египтянина.— Прошу прощения, сэр, но позвольте мне на минуту перебить вас.

— Сделайте одолжение, сэр,— ответил граф, убирая руку.

— Я только хотел задать вопрос,— сказал доктор.— Вы говорили о поправках, вносимых историком в предания о его эпохе. Скажите, сэр, велика ли, в среднем, доля истины в этой абракадабре?

— В этой абракадабре, как вы справедливо ее именуете, сэр, как правило, содержится ровно такая же доля истины, как и в исторических трудах, ждущих переписывания. Иными словами, ни в тех, ни в других нельзя отыскать ни единого сведения, которое не было бы совершенно, стопроцентно ложным.

— А раз так,— продолжал доктор,— то поскольку мы точно установили, что с момента ваших похорон прошло, по крайней мере, пять тысяч лет, можно предположить, что в ваших книгах, равно как и в ваших преданиях, имелись богатые данные о том, что так интересует все человечество — о сотворении мира, которое произошло, как вы, конечно, знаете, всего за тысячу лет до вас.

— Что это значит, сэр? — вопросил граф Бестолковео.

Доктор повторил свою мысль, но потребовалось немало дополнительных объяснений, прежде чем чужеземец смог его понять. Наконец тот с сомнением сказал:

— То, что вы сейчас мне сообщили, признаюсь, для меня абсолютно ново. В мое время я не знал никого, кто бы придерживался столь фантастического взгляда, что будто бы вселенная (или этот мир, если вам угодно) имела некогда начало. Вспоминаю, что однажды, но только однажды, я имел случай побеседовать с одним премудрым человеком, который говорил что-то о происхождении человеческого рода. Он употреблял, кстати, имя Адам, или Красная Глина, которое и у вас в ходу. Но он им пользовался в обобщенном смысле, в связи с самозарождением из плодородной почвы (как зародились до того тысячи низших видов) — в связи с одновременным самозарождением, говорю я, пяти человеческих орд на пяти различных частях земного шара.

Здесь мы все легонько пожали плечами, а кое-кто еще и многозначительно постучал себя пальцем по лбу. Мистер Силк Бакингем скользнул взглядом по затылочному бугру, а затем по надбровным дугам Бестолковео и сказал:

— Большая продолжительность жизни в ваше время, да к тому же еще эта практика проживания ее по частям, как вы нам объяснили, должны были бы привести к существенному развитию и накоплению знаний. Поэтому тот факт, что древние египтяне тем не менее уступают современным людям, особенно американцам, во всех достижениях науки, я объясняю превосходящей толщиной египетского черепа.

— Признаюсь,— любезнейшим тоном ответил граф,— что опять не вполне понимаю вас. Не могли бы вы пояснить, какие именно достижения науки вы имеете в виду?

Тут все присутствующие принялись хором излагать основные положения френологии и перечислять чудеса животного магнетизма.

Граф выслушал нас до конца, а затем рассказал два-три забавных анекдота, из которых явствовало, что прототипы наших Галля и Шпурцгейма пользовались славой, а потом впали в безвестность в Египте так давно, что о них уже успели забыть, и что демонстрации Месмера — не более как жалкие фокусы в сравнении с подлинными чудодействиями фиванских savants [1], которые умели сотворять вшей и прочих им подобных существ.

Тогда я спросил у графа, а умели ли его соотечественники предсказывать затмения. Он с довольно презрительной улыбкой ответил, что умели.

Это меня несколько озадачило, но я продолжал выспрашивать, что они еще понимают в астрономии, пока один из нашей компании, до сих пор не раскрывавший рта, шепнул мне на ухо, что за сведениями на этот счет мне лучше всего обратиться к Птолемею (не знаю такого, не слышал) да еще к некоему Плутарху, написавшему труд «De facie lunae» [2].

Тогда я задал мумии вопрос о зажигательных и увеличительных стеклах и вообще о производстве стекла. Но не успел еще и договорить, как все тот же молчаливый гость тихонько тронул меня за локоть и покорнейше попросил познакомиться, хотя бы слегка, с Диодором Сицилийским. Граф же вместо ответа только осведомился, есть ли у нас, современных людей, такие микроскопы, которые позволили бы нам резать камеи, подобные египетским. Пока я размышлял, что бы ему такое сказать на это, в разговор вмешался наш маленький доктор Йейбогус, и при этом довольно неудачно.

— А наша архитектура! — воскликнул он, к глубокому возмущению обоих путешественников, которые незаметно пинали его и щипали, но все напрасно.— Посмотрите фонтан на Боулинг-грин у нас в Нью-Йорке! Или — если это сооружение уж слишком величаво для сопоставления — возьмите здание Капитолия в Вашингтоне!

И наш коротышка-лекарь пустился подробно перечислять и описывать прекрасные линии и пропорции упомянутого сооружения. Только в портале, с жаром восклицал он, имеется ни много ни мало как двадцать четыре колонны пяти футов в диаметре каждая и в десяти футах одна от другой!

Граф сказал на это, что, к своему сожалению, не может сейчас назвать точные цифры пропорций ни одного из главных зданий в городе Карнаке, который был заложен некогда во тьме времен, но развалины которого в его эпоху еще можно было видеть в песчаной пустыне к западу от Фив. Однако, если говорить о порталах, он помнит, что у одного из малых загородных дворцов в предместье, именуемом Азнаком, был

---

[1] Мудрецов *(фр.)*.
[2] «О лике, видимом на луне» *(лат.)*.

портал из ста сорока четырех колонн по тридцати семи футов в обхвате и в двадцати пяти футах одна от другой. Подъезд к этому порталу со стороны Нила был обстроен сфинксами, статуями и обелисками двадцати, шестидесяти и ста футов высотой. А сам дворец, если он не путает, имел две мили в длину и, вероятно, миль семь в окружности. Стены и снаружи и изнутри были сверху донизу расписаны иероглифами. Он не берется положительно утверждать, что на этой площади поместилось бы пятьдесят — шестьдесят таких Капитолиев, как рисовал тут доктор, но, с другой стороны, допускает, что с грехом пополам их вполне можно было бы туда напихать штук этак двести или триста. В сущности-то это был малый дворец, так себе, загородная постройка. Однако граф не может не признать великолепия, прихотливости и своеобразия фонтана на Боулинг-грин, так красочно описанного доктором. Ничего подобного, он вынужден признать, у них в Египте никогда не было.

Тут я спросил, что он скажет о наших железных дорогах.

— Ничего особенного,— ответил он. По его мнению, они довольно ненадежны, неважно продуманы и плоховато уложены. И не идут, разумеется, ни в какое сравнение с безукоризненно ровными и прямыми, снабженными металлической колеей широкими дорогами, по которым египтяне транспортировали целые храмы и обелиски ста пятидесяти футов высотой.

Я сослался на наши могучие механические двигатели.

Он согласился, сказал, что слыхал об этом кое-что, но спросил, как бы я смог расположить пять арок на такой высоте, как хотя бы в самом маленьком из дворцов Карнака.

Этот вопрос я счел за благо не расслышать и поинтересовался, имели ли они какое-нибудь понятие об артезианских колодцах. Он только поднял брови, а мистер Глиддон стал мне яростно подмигивать и зашептал, что как раз недавно во время буровых работ в поисках воды для Большого Оазиса рабочие обнаружили древнеегипетский артезианский колодец.

Я упомянул нашу сталь; но чужеземец задрал нос и спросил, можно ли нашей сталью резать камень, как на египетских обелисках, где все работы производились медными резцами. Это нас совсем обескуражило, и мы решили перенести свои атаки в область метафизики. Была принесена книга под заглавием «Дайел», и оттуда ему зачитали две-три главы, посвященные чему-то довольно непонятному, что в Бостоне называют «великим движением», или «прогрессом».

Граф на это сказал только, что в его дни великие движения попадались на каждом шагу, а что до прогресса, то от него одно время просто житья не было, но потом он как-то рассосался. Тогда мы заговорили о красоте и величии демократии и очень старались внушить графу правильное сознание тех преимуществ, какими мы пользуемся, обладая правом голосования ad libitum [1] и не имея над собой короля.

Наши речи его заметно заинтересовали и даже явно поза-

[1] Вдоволь *(лат.)*.

бавили. Когда же мы кончили, он пояснил, что у них в Египте тоже в незапамятные времена было нечто в совершенно подобном роде. Тринадцать египетских провинций вдруг решили, что им надо освободиться и положить великий почин для всего человечества. Их мудрецы собрались и сочинили самую что ни на есть замечательную конституцию. Сначала все шло хорошо, только необычайно развилось хвастовство. Кончилось, однако, дело тем, что эти тринадцать провинций объединились с остальными не то пятнадцатью, не то двадцатью в одну деспотию, такую гнусную и невыносимую, какой еще свет не видывал.

Я спросил, каково было имя деспота-узурпатора.

Он ответил, что, насколько помнит, имя ему было — Толпа.

Не зная, что сказать на это, я громогласно выразил сожаление по поводу того, что египтяне не знали пара.

Граф посмотрел на меня с изумлением и ничего не ответил. А молчаливый господин довольно чувствительно пихнул меня локтем под ребро и прошипел, что я и без того достаточно обнаружил свою безграмотность и что неужели я действительно настолько глуп и не слыхал, что современный паровой двигатель основан на изобретении Герона, дошедшем до нас благодаря Соломону де Ко.

Было ясно, что нам угрожает полное поражение, но тут, по счастью, на выручку пришел доктор, который успел собраться с мыслями и попросил египтянина ответить, могут ли его соотечественники всерьез тягаться с современными людьми в такой важной области, как одежда.

Граф опустил глаза, задержал взгляд на штрипках своих панталон, потом взял в руку одну фалду фрака, поднял к лицу и несколько мгновений молча рассматривал. Потом выпустил, и рот его медленно растянулся от уха до уха; но, по-моему, он так ничего и не ответил.

Мы приободрились, и доктор, величаво приблизившись к мумии, потребовал, чтобы она со всей откровенностью, по чести признала, умели ли египтяне в какую-либо эпоху изготовлять «Слабительное Йейбогуса» или «Пилюли Брандрета».

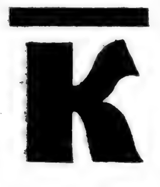
С замиранием сердца ждали мы ответа, но напрасно. Ответа не последовало. Египтянин покраснел и опустил голову. То был полнейший триумф. Он был побежден и имел весьма жалкий вид. Честно признаюсь, мне просто больно было смотреть на его унижение. Я сдержанно поклонился мумии и ушел.

Придя домой, я обнаружил, что уже пятый час, и немедленно улегся спать. Сейчас десять часов утра. Я не сплю с семи и все это время был занят составлением настоящей памятной записки на благо моей семье и всему человечеству в целом. Семью свою я больше не увижу. Моя жена — мегера. Да и вообще, по совести сказать, мне давно поперек горла встала эта жизнь и наш девятнадцатый век. Убежден, что все идет как-то не так. К тому же мне очень хочется узнать, кто будет президентом в 2025 году. Так что я вот только побреюсь и выпью чашку кофе и, не мешкая, отправлюсь к Йейбогусу — пусть меня забальзамируют лет на двести.

ПОХИЩЕННОЕ ПИСЬМО

Nil sapientiae odiosus acumine nimio.

Seneca [1]



АК-ТО В ПАРИЖЕ, В ВЕТРЕНЫЙ ВЕЧЕР осенью 18... года, когда уже совсем смерклось, я предавался двойному наслаждению, которое дарит нам сочетание размышлений с пенковой трубкой, в обществе моего друга С.-Огюста Дюпена в его маленькой библиотеке, а вернее, кабинете au troisième No. 33 Rue Dunôt, Faubourg St. Germain [2]. Более часа мы просидели, храня нерушимое молчание, и стороннему наблюдателю могло бы показаться, что и я, и мой друг всего лишь сосредоточенно и бездумно следим за клубами табачного дыма, заполнившего комнату. Однако я продолжал мысленно обсуждать события, служившие темой беседы, которую мы вели в начале вечера,— я имею в виду происшествие на улице Морг и тайну, связанную с убийством Мари Роже. Вот почему, когда дверь распахнулась и в библиотеку вошел наш старый знакомый, мосье Г., префект парижской полиции, это представилось мне любопытным совпадением.

Мы сердечно его приветствовали, потому что дурные качества этого человека почти уравновешивались многими занятными чертами, а к тому же мы не виделись с ним уже несколько лет. Перед его приходом мы сумерничали, и теперь Дюпен встал, намереваясь зажечь лампу, но он тут же вновь опустился в свое кресло, когда Г. сказал, что пришел посоветоваться с нами — а вернее, с моим другом — о деле государственной важности, которое уже доставило ему много неприятных хлопот.

— Если оно требует обдумывания,— пояснил Дюпен, отнимая руку, уже протянутую к фитилю лампы,— то предпочтительнее будет ознакомиться с ним в темноте.

— Еще одна из ваших причуд! — сказал префект, имевший

---

[1] Для мудрости нет ничего ненавистнее хитрости. *Сенека (лат.)*.

[2] На четвертом этаже дома № 33 по улице Дюно в предместье Сен-Жермен *(фр.)*.

манеру называть «причудами» все, что превосходило его понимание, а потому живший поистине среди легиона «причудливостей».

— Совершенно справедливо,— ответил Дюпен, предлагая гостю трубку и придвигая ему удобное кресло.

— Но какая беда случилась на сей раз? — спросил я.— Надеюсь, это не еще одно убийство?

— О нет! Ничего подобного. Собственно говоря, дело это чрезвычайно простое, и я не сомневаюсь, что мы и сами с ним превосходно справимся, но мне пришло в голову, что Дюпену, пожалуй, будет любопытно выслушать его подробности — ведь оно такое причудливое.

— Простое и причудливое,— сказал Дюпен.

— Э... да. Впрочем, не совсем. Собственно говоря, мы все в большом недоумении, потому что дело это на редкость простое, и тем не менее оно ставит нас в совершенный тупик.

— Быть может, именно простота случившегося и сбивает вас с толку,— сказал мой друг.

— Ну, какой вздор вы изволите говорить! — ответил префект, смеясь от души.

— Быть может, тайна чуть-чуть слишком прозрачна,— сказал Дюпен.

— Бог мой! Что за идея!

— Чуть-чуть слишком очевидна.

— Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Хо-хо-хо! — загремел наш гость, которого эти слова чрезвычайно позабавили.— Ах, Дюпен, вы меня когда-нибудь уморите!

— Но все-таки что это за дело? — спросил я.

— Я сейчас вам расскажу,— ответил префект, задумчиво выпуская изо рта длинную ровную струю дыма, и устроился в кресле поудобнее.— Я изложу его вам в нескольких словах, но прежде я хотел бы предупредить вас, что это дело необходимо хранить в строжайшем секрете и что я почти наверное лишусь своей нынешней должности, если станет известно, что я кому-либо о нем рассказывал.

— Продолжайте,— сказал я.

— Или не продолжайте,— сказал Дюпен.

— Ну так вот: мне было сообщено из весьма высоких сфер, что из королевских апартаментов был похищен некий документ величайшей важности. Похититель известен. Тут не может быть ни малейшего сомнения: видели, как он брал документ. Кроме того, известно, что документ все еще находится у него.

— Откуда это известно? — спросил Дюпен.

— Это вытекает,— ответил префект,— из самой природы документа и из отсутствия неких последствий, которые неминуемо возникли бы, если бы он больше не находился у похитителя,— то есть если бы похититель воспользовался им так, как он, несомненно, намерен им в конце концов воспользоваться.

— Говорите пояснее,— попросил я.

— Ну, я рискну сказать, что документ наделяет того, кто им владеет, определенной властью по отношению к определен-

ным сферам, каковая власть просто не имеет цены.— Префект обожал дипломатическую высокопарность.

— Но я все-таки не вполне понял,— сказал Дюпен.

— Да? Ну, хорошо: передача этого документа третьему лицу, которое останется неназванным, поставит под угрозу честь весьма высокой особы, и благодаря этому обстоятельству тот, в чьих руках находится документ, может диктовать условия той знатной особе, чья честь оказалась в опасности.

— Но ведь эта власть,— перебил я,— возникает только в том случае, если похититель знает, что лицу, им ограбленному, известно, кто похититель. Кто же дерзнет...

— Вот,— сказал Г.,— это министр Д., чья дерзость не останавливается ни перед чем — ни перед тем, что достойно мужчины, ни перед тем, что его недостойно. Уловка, к которой прибег вор, столь же хитроумна, сколь и смела. Документ, о котором идет речь (сказать откровенно, это — письмо), был получен ограбленной особой, когда она пребывала в одиночестве в королевском будуаре. Она его еще читала, когда в будуар вошло то высочайшее лицо, от какового она особенно хотела скрыть письмо. Поспешно и тщетно попытавшись спрятать письмо в ящик, она была вынуждена положить его вскрытым на столик. Однако оно лежало адресом вверх и, так как его содержание было скрыто, не привлекло к себе внимания. Но тут входит министр Д. Его рысий взгляд немедленно замечает письмо, он узнает почерк, которым написан адрес, замечает смущение особы, которой оно адресовано, и догадывается о ее тайне. После доклада о каких-то делах, сделанного с его обычной быстротой, он достает письмо, несколько похожее на то, о котором идет речь, вскрывает его, притворяется, будто читает, после чего кладет рядом с первым. Потом он снова около пятнадцати минут ведет беседу о государственных делах. И наконец, кланяясь, перед тем как уйти, берет со стола не принадлежащее ему письмо. Истинная владелица письма видит это, но, разумеется, не смеет воспрепятствовать ему из-за присутствия третьего лица, стоящего рядом с ней. Министр удаляется, оставив на столе свое письмо, не имеющее никакой важности.

— И вот,— сказал Дюпен, обращаясь ко мне,— налицо то условие, которое, по вашему мнению, было необходимо для полноты власти похитителя: похититель знает, что лицу, им ограбленному, известно, кто похититель.

— Да,— сказал префект.— И в течение последних месяцев полученной таким способом властью пользуются ради политических целей, притом не зная никакой меры. С каждым днем ограбленная особа все более убеждается в необходимости получить назад свое письмо. Но, разумеется, открыто потребовать его возвращения она не может. И вот в отчаянии она доверилась мне.

— Помощнику, мудрее которого,— сказал Дюпен сквозь настоящий смерч дыма,— я полагаю, не только найти, но и вообразить невозможно.

— Вы мне льстите,— ответил префект,— но, пожалуй, кое-кто и придерживается такого мнения.

— Во всяком случае, совершенно очевидно,— сказал я,— что письмо, как вы и говорили, все еще находится у министра, поскольку власть дает именно обладание письмом, а не какое-либо его использование. Если его использовать, то власть исчезнет.

— Вы правы,— ответил Г.— И я начал действовать, исходя именно из этого предположения. Первой моей задачей было обыскать особняк министра, и главная трудность заключалась в том, чтобы сделать это втайне от него. Мне настоятельно указывали на необходимость устроить все дело так, чтобы он ничего не заподозрил, ибо это могло бы привести к самым роковым последствиям.

— Но,— сказал я,— вы же вполне au fait [1] в такого рода вещах. Парижская полиция достаточно часто предпринимала подобные обыски.

— О, разумеется. Вот потому-то я и не отчаивался. К тому же привычки министра весьма благоприятствовали моим намерениям. Он частенько не возвращается домой до утра. Слуг у него немного, и они спят вдали от комнат своего хозяина, а к тому же их нетрудно напоить, так как почти все они — неаполитанцы. Вам известно, что у меня есть ключи, которыми я могу отпереть любую комнату и любой шкаф в Париже. В течение трех месяцев я чуть ли не еженощно сам обыскивал особняк министра Д. На карту поставлена моя честь, и, говоря между нами, награда обещана колоссальная. И я прекратил поиски, только когда окончательно убедился, что вор более хитер, чем я. Смею вас заверить, я осмотрел все закоулки и тайники, в которых можно было бы спрятать письмо.

— Хотя письмо, без сомнения, находится у министра,— заметил я,— но не мог ли он скрыть его не у себя в доме, а где-нибудь еще?

— Навряд ли,— сказал Дюпен.— Нынешнее положение дел при дворе и особенно те политические интриги, в которых, как известно, замешан Д., требуют, чтобы письмо всегда находилось у него под рукой — возможность предъявить его без промедления почти так же важна, как и самый факт обладания им.

— Возможность предъявить его без промедления? — переспросил я.

— Другими словами, возможность немедленно его уничтожить,— ответил Дюпен.

— Совершенно верно,— согласился я.— Следовательно, письмо спрятано где-то в его особняке. Предположение о том, что министр носит его при себе, вероятно, следует сразу же отбросить.

— О да,— сказал префект.— Его дважды останавливали псевдограбители и под моим личным наблюдением обыскивали самым тщательным образом.

— Вы могли бы и не затрудняться,— заметил Дюпен.— Д., насколько я могу судить, не совсем дурак, а раз так,

[1] Сведущи *(фр.)*.

то он, конечно, прекрасно понимал, что нападения подобных грабителей ему не избежать.

— Не совсем дурак...— повторил Г.— Но ведь он поэт, а, по-моему, от поэта до дурака всего один шаг.

— Совершенно верно,— сказал Дюпен, задумчиво затянувшись трубкой,— хотя мне и самому случалось грешить стишками.

— Может быть,— сказал я,— вы расскажете о своих поисках в его доме более подробно.

— Ну, по правде говоря, мы не спешили и обыскали решительно все. У меня в таких делах большой опыт. Я осмотрел здание сверху донизу, комнату за комнатой, посвящая каждой все ночи целой недели. Начинали мы с мебели. Мы открывали все ящики до единого, а вы, я полагаю, знаете, что для опытного полицейского агента никаких «потайных» ящиков не существует. Только болван, ведя подобный обыск, умудрится пропустить «потайной» ящик. Это же так просто! Каждое бюро имеет такие-то размеры — занимает такое-то пространство. А линейки у нас точные. Мы заметим разницу даже в пятисотую долю дюйма. После бюро мы брались за стулья. Сиденья мы прокалывали длинными тонкими иглами — вы ведь видели, как я ими пользовался. Со столов мы снимали столешницы.

— Зачем?

— Иногда человек, желающий что-либо спрятать, снимает столешницу или верхнюю крышку какого-нибудь сходного предмета меблировки, выдалбливает ножку, прячет то, что ему нужно, в углубление и водворяет столешницу на место. Таким же образом используются ножки и спинки кроватей.

— Но нельзя ли обнаружить пустоту выстукиванием? — осведомился я.

— Это невозможно, если, спрятав предмет, углубление плотно забить ватой. К тому же во время этого обыска мы были вынуждены действовать бесшумно.

— Но ведь вы не могли снять... вы же не могли разобрать на части всю мебель, в которой возможно устроить тайник вроде описанного вами. Письмо можно скрутить в тонкую трубочку, не толще большой вязальной спицы, и в таком виде вложить его, например, в перекладину стула. Вы же не разбирали на части все стулья?

— Конечно, нет. У нас есть способ получше: мы исследовали перекладины всех стульев в особняке, да, собственно говоря, и места соединений всей мебели Д., с помощью самой сильной лупы. Любой мельчайший след недавних повреждений мы обнаружили бы сразу. Крохотные опилки, оставленные буравчиком, были бы заметнее яблок. Достаточно было бы трещинки в клее, малейшей неровности — и мы обнаружили бы тайник.

— Полагаю, вы проверили и зеркала — место соединения стекла с рамой, а также кровати и постельное белье, ковры и занавеси?

— Безусловно; а когда мы покончили с мебелью, то занялись самим зданием. Мы разделили всю его поверхность на квадраты и перенумеровали их, чтобы не пропустить ни одного. Затем мы исследовали каждый дюйм по всему особняку, а также стены двух примыкающих к нему домов — опять-таки с помощью лупы.

— Двух соседних домов! — воскликнул я.— У вас было немало хлопот.

— О да. Но ведь и предложенная награда огромна.

— Вы осмотрели также и дворы?

— Дворы вымощены кирпичом, и осмотреть их было относительно просто. Мы обследовали мох между кирпичами и убедились, что он нигде не поврежден.

— Вы, конечно, искали в бумагах Д. и среди книг его библиотеки?

— Разумеется. Мы заглянули во все пакеты и свертки, мы не только открыли каждую книгу, но и пролистали их все до единой, а не просто встряхнули, как делают некоторые наши полицейские. Мы, кроме того, самым тщательным образом измерили толщину каждого переплета и осмотрели его в лупу. Если бы в них были какие-нибудь недавние повреждения, они не укрылись бы от нашего взгляда. Пять-шесть томов, только что полученных от переплетчика, мы аккуратно проверили иглами.

— Полы под коврами вы осмотрели?

— Ну конечно. Мы снимали каждый ковер и обследовали паркет с помощью лупы.

— И обои на стенах?

— Да.

— В подвалах вы искали?

— Конечно.

— В таком случае,— сказал я,— вы исходили из неверной предпосылки: письмо не спрятано в особняке, как вы полагали.

— Боюсь, вы правы,— ответил префект.— Итак, Дюпен, что бы вы посоветовали мне предпринять?

— Еще раз как следует обыскать особняк.

— Бесполезно! — ответил Г.— Я совершенно убежден, что письмо находится не там. Это так же верно, как то, что я дышу воздухом.

— Ничего лучше я вам посоветовать не могу,— сказал Дюпен.— Вы, несомненно, получили самое точное описание внешнего вида письма?

— О да!

И, вытащив записную книжку, префект прочел нам подробнейшее описание того, как выглядел исчезнувший документ в развернутом виде, и особенно как он выглядел снаружи. Вскоре после этого он распрощался с нами и ушел, совсем упав духом,— я никогда еще не видел этого достойного джентльмена в таком унынии.

Приблизительно через месяц он снова посетил нас и застал Дюпена и меня примерно за тем же занятием, как и в прошлый свой визит. Он взял трубку, опустился в предложенное кресло

и заговорил о каких-то пустяках. Наконец я не выдержал:

— Но послушайте, Г., как обстоят дела с похищенным письмом? По-видимому, вы пришли к выводу, что перехитрить министра вам не удастся?

— Совершенно верно, будь он проклят! Я последовал совету Дюпена и произвел вторичный обыск, но, как я и предполагал, все наши усилия пропали даром.

— Как велика награда, о которой вы упоминали? — спросил Дюпен.

— Очень велика... это весьма щедрая награда, хотя называть точную цифру мне не хотелось бы. Впрочем, одно я могу сказать: тому, кто доставил бы мне это письмо, я был бы рад вручить мой собственный чек на пятьдесят тысяч франков. Дело в том, что с каждым днем его значение возрастает, и обещанная награда недавно была удвоена. Однако, будь она даже утроена, я не мог бы сделать больше, чем сделал.

— О,— протянул Дюпен между затяжками,— мне, право... кажется, Г., что вы приложили усилий... меньше, чем могли бы. И вам следовало бы... на мой взгляд, сделать еще кое-что, э?

— Но как? Каким образом?

— Ну... пых-пых-пых!.. вы могли бы... пых-пых!.. заручиться помощью специалиста, э? Пых-пых-пых!.. Вы помните анекдот, который рассказывают об Абернети?

— Нет. Черт бы его взял, этого вашего Абернети.

— О да, пусть его возьмет черт. И на здоровье. Но как бы то ни было, однажды некий богатый скупец задумал получить от Абернети врачебный совет, ничего за него не заплатив. И вот, заведя с Абернети в обществе светский разговор, он описал ему свою болезнь, излагая якобы гипотетический случай. «Предположим,— сказал скупец,— что симптомы этого недуга были такими-то и такими-то; что бы вы рекомендовали сделать больному, доктор?» — «Что сделать? — повторил Абернети.— Обратиться за советом к врачу, что же еще?»

— Но,— сказал префект, несколько смутившись,— я был бы очень рад получить совет и заплатить за него. Я действительно готов дать пятьдесят тысяч франков тому, кто поможет мне в этом деле.

— В таком случае,— сказал Дюпен, открывая ящик и доставая из него чековую книжку,— выпишите мне чек на вышеупомянутую сумму. Когда вы поставите на нем свою подпись, я вручу вам письмо.

Я был ошеломлен. Префект же сидел словно пораженный громом. На несколько мгновений он как будто онемел и был не в силах сделать ни одного движения — он только недоверчиво глядел на моего друга, разинув рот, и казалось, что его глаза вот-вот вылезут на лоб; затем, немного оправившись, он схватил перо и начал заполнять чек, но раза два прерывал это занятие и недоуменно глядел в пустоту. Однако в конце концов чек на пятьдесят тысяч франков был выписан и префект передал его через стол Дюпену. Тот внимательно прочитал чек

и спрятал его к себе в бумажник; затем отпер замочек бювара, достал какое-то письмо и протянул его префекту. Этот достойный чиновник схватил письмо в настоящем пароксизме радости, дрожащей рукой развернул его, быстро прочел несколько строк, потом, спотыкаясь от нетерпения, кинулся к двери и бесцеремонно выбежал из комнаты и из дома, так и не произнеся ни единого слова с той самой минуты, когда Дюпен попросил его заполнить чек.

После того как префект исчез, мой друг дал мне кое-какие объяснения.

— Парижская полиция,— сказал он,— по-своему весьма талантлива. Ее агенты настойчивы, изобретательны, хитры и обладают всеми познаниями, необходимыми для наилучшего выполнения их обязанностей. Вот почему, когда Г. описал нам, как именно он обыскивал особняк Д., я проникся неколебимой уверенностью, что он действительно исчерпал все возможности — в том направлении, в каком он действовал.

— В том направлении, в каком он действовал? — переспросил я.

— Да,— сказал Дюпен.— Принятые им меры были не только наилучшими в своем роде, но и приводились в исполнение самым безупречным образом. Если бы письмо было спрятано так, как он предполагал, его неминуемо обнаружили бы.

Я весело засмеялся, однако мой друг, по-видимому, говорил вполне серьезно.

— Итак,— продолжал он,— принятые меры были по-своему хороши и приведены в исполнение наилучшим образом. Единственный их недостаток заключался в том, что к данному случаю и к данному человеку они никак не подходили. Определенная система весьма хитроумных методов сыска стала для префекта поистине прокрустовым ложем, к которому он насильственно подгоняет все свои планы. Но он постоянно ошибается, каждый раз воспринимая стоящую перед ним задачу либо слишком глубоко, либо слишком поверхностно; найдется немало школьников, которые умеют рассуждать гораздо последовательнее, чем он. Мне знаком восьмилетний мальчуган, чья способность верно угадывать в игре «чет и нечет» снискала ему всеобщее восхищение. Это очень простая игра: один из играющих зажимает в кулаке несколько камешков и спрашивает у другого, четное ли их количество он держит или нечетное. Если второй играющий угадает правильно, то он выигрывает камешек, если же неправильно, то проигрывает камешек. Мальчик, о котором я упомянул, обыграл всех своих школьных товарищей. Разумеется, он строил свои догадки на каких-то принципах, и эти последние заключались лишь в том, что он внимательно следил за своим противником и правильно оценивал степень его хитрости. Например, его заведомо глупый противник поднимает кулак и спрашивает: «Чет или нечет?» Наш школьник отвечает «нечет» и проигрывает. Однако в следующей попытке он выигрывает, потому что говорит себе: «Этот дурак взял в прошлый раз четное количество камешков

и, конечно, думает, что отлично схитрит, если теперь возьмет нечетное количество. Поэтому я опять скажу — нечет!» Он говорит «нечет!» и выигрывает. С противником чуть поумнее он рассуждал бы так: «Этот мальчик заметил, что я сейчас сказал «нечет», и теперь он сначала захочет изменить четное число камешков на нечетное, но тут же спохватится, что это слишком просто, и оставит их количество прежним. Поэтому я скажу — «чет!» Он говорит «чет!» и выигрывает. Вот ход логических рассуждений маленького мальчика, которого его товарищи окрестили «счастливчиком». Но, в сущности говоря, что это такое?

— Всего только,— ответил я,— уменье полностью отождествить свои интеллект с интеллектом противника.

— Вот именно,— сказал Дюпен.— А когда я спросил у мальчика, каким способом он достигает столь полного отождествления, обеспечивающего ему постоянный успех, он ответил следующее: «Когда я хочу узнать, насколько умен, или глуп, или добр, или зол вот этот мальчик или о чем он сейчас думает, я стараюсь придать своему лицу точно такое же выражение, которое вижу на его лице, а потом жду, чтобы узнать, какие мысли или чувства возникнут у меня в соответствии с этим выражением». Этот ответ маленького школьника заключает в себе все, что скрывается под мнимой глубиной, которую усматривали у Ларошфуко, Лабрюйера, Макиавелли и Кампанеллы.

— А отождествление интеллекта того, кто рассуждает, с интеллектом его противника,— сказал я,— зависит, если я правильно вас понял, от точности, с какой оценен интеллект этого последнего.

— Практически говоря, оно зависит именно от этого,— ответил Дюпен,— а префект и его присные столь часто терпят неудачи именно потому, что не ищут подобного отождествления, и потому, что неверно оценивают интеллект своего противника, а вернее, никак его не оценивают. Они рассуждают, исходя только из собственных представлений о хитроумии, и когда разыскивают спрятанные вещи, то ищут их только там, где сами могли бы их спрятать. В одном отношении они правы: их хитроумие вполне соответствует хитроумию большинства людей; но в тех случаях, когда хитрость преступника по своей природе не сходна с их собственной, такой преступник, разумеется, берет над ними верх. Так бывает всегда, когда его хитрость превосходит их хитрость, и весьма часто — когда она ей уступает. Они ведут свои расследования, исходя из одних и тех же неизменных принципов. В лучшем случае, когда их подстегивает исключительная важность случившегося или необыкновенно большая награда, они могут расширить сферу применения своих практических приемов или усложнить их, но вышеупомянутых принципов не меняют. Например, был ли хоть как-то изменен принцип их действий в деле Д.? Они сверлили, кололи иглами, выстукивали, исследовали поверхности с помощью сильной лупы, делили стены здания на про-

нумерованные квадратные дюймы; но что все это, как не преувеличенное применение того же принципа — а вернее, ряда принципов, которые опираются на ряд представлений о человеческом хитроумии, выработавшихся у префекта за долгие годы его службы? Неужели вы не видите, насколько он считал само собой разумеющимся, что все люди обязательно будут прятать письмо если и не в дырке, высверленной буравчиком в ножке стула, то, во всяком случае, в каком-то столь же неожиданном тайнике, подсказанном тем же ходом мысли, который заставляет человека высверливать буравчиком дырку в ножке стула и прятать туда письмо? И неужели вы не видите, что тайники столь recherchés [1] годятся только для заурядных случаев и что к ним прибегают только заурядные умы? Ведь когда речь идет о спрятанном предмете, способ его сокрытия — способ recherché — предопределен заранее и тем самым всегда поддается определению. И обнаружение такого предмета зависит вовсе не от проницательности ищущих, а только от их тщательности, терпения и настойчивости. И до сих пор, когда речь шла о чем-то очень важном или (что, на взгляд человека, причастного к политике, одно и то же) о большой награде, выше перечисленные качества неизменно обеспечивали успешное завершение розысков. Теперь вы понимаете, что имено я подразумевал, когда сказал, что, будь похищенное письмо спрятано там, где его искал префект,— другими словами, будь принцип его сокрытия соотносим с принципами, согласно которым действует префект,— оно обязательно было бы найдено. Однако этот ревностный сыщик был совсем сбит с толку, и первоначальный источник его неудачи заключается в предположении, что министр должен быть дураком, поскольку он известен как поэт. Все дураки — поэты,— по крайней мере, так кажется префекту, и он повинен всего лишь в non distributio medii [2], поскольку выводит отсюда, что все поэты — дураки.

— Но действительно ли речь идет о поэте? — спросил я.— Насколько мне известно, у министра есть брат, и оба они приобрели определенную известность в литературном мире. Однако министр, если не ошибаюсь, писал о дифференциальном исчислении. Он математик, а вовсе не поэт.

— Вы ошибаетесь. Я хорошо его знаю— он и то и другое. Как поэт и математик, он должен обладать способностью к логическим рассуждениям, а будь он всего только математиком, он вовсе не умел бы рассуждать логически, и в результате префект легко справился бы с ним.

— Меня поражают,— сказал я,— эти ваши суждения, против которых восстанет голос всего света. Ведь не хотите же вы опровергнуть представление, проверенное веками!

---

[1] Вычурные *(фр.)*.
[2] Буквально: нераспределение среднего *(лат.)* — одна из классических ошибок в формальной логике.

Математическая логика издавна считалась логикой par excellence [1].

— «Il y a à parier,— возразил Дюпен, цитируя Шамфора,— que toute idée publique, toute convention reçue est une sottise, car elle a convenue au plus grand nombre» [2]. Не спорю: математики сделали все, от них зависевшее, чтобы укрепить свет в заблуждении, на которое вы ссылаетесь и которое остается заблуждением, как бы его ни выдавали за истину. Они, например, с искусством, заслуживающим лучшего применения, исподтишка ввели термин «анализ» в алгебре. В данном обмане повинны французы, но если термин имеет хоть какое-то значение, если слова обретают ценность благодаря своей точности, то «анализ» столь же мало означает «алгебра», как латинское «ambitus» [3]— «амбицию», а «religio» [4]— «религию».

— Я предвижу, что вам не избежать ссоры с некоторыми парижскими алгебраистами,— сказал я.— Однако продолжайте.

— Я оспариваю универсальность, а тем самым и ценность любой логики, которая культивируется в какой-либо иной форме, кроме абстрактной. И в частности, я оспариваю логику, выводимую из изучения математики. Математика — это наука о форме и количестве, и математическая логика — это всего лишь логика, прилагаемая к наблюдениям над формой и количеством. Предположение, будто истины даже того, что зовется «чистой» алгеброй, являются абстрактными или всеобщими истинами, представляет собой великую ошибку. И эта ошибка настолько груба, что мне остается только изумляться тому единодушию, с каким ее никто не замечает. Математические аксиомы — это отнюдь не аксиомы всеобщей истины. То, что справедливо для взаимоотношений формы и количества, часто оказывается вопиюще ложным в применении, например, к морали. В этой последней положение, что сумма частей равна целому, чаще всего оказывается неверным. Эта аксиома не подходит и для химии. При рассмотрении мотивов она также оказывается неверной, ибо два мотива, из которых каждый имеет какое-то значение, соединившись, вовсе не обязательно будут иметь значение, равное сумме их значений, взятых в отдельности. Существует еще много математических истин, которые остаются истинами только в пределах взаимоотношений формы и количества. Однако математик, рассуждая, по привычке исходит из своих частных мыслей так, словно они обладают абсолютно универсальным характером — какими их, бесспорно, привык считать свет. Брайант в своей весьма ученой «Мифо-

---

[1] В высшей степени *(фр.)*.

[2] «Можно побиться об заклад, что всякая широко распространенная идея, всякая общепринятая условность есть глупость, ибо она принята наибольшим числом людей» *(фр.)*.

[3] Круговое движение *(лат.)*.

[4] Добросовестность *(лат.)*.

логии» упоминает аналогичный источник ошибок, когда он говорит: «Хотя мы не верим в языческие басни, однако мы постоянно забываемся и делаем из них выводы, как из чего-то действительно существующего». Тем не менее алгебраисты, сами язычники, неколебимо верят в «языческие басни» и выводят из них заключения не столько по причине провалов памяти, сколько благодаря непостижимому затмению мыслей. Короче говоря, мне еще не доводилось встречать математика, которому можно было бы доверять в чем-либо, кроме равенства корней, и который втайне не лелеял бы кредо, будто $x^2 + px$ всегда абсолютно и безусловно равняется q. Если хотите, то попробуйте в качестве опыта сказать кому-нибудь из этих господ, что, по вашему мнению, бывают случаи, когда $x^2 + px$ не вполне равняется q, но, втолковав ему, что вы имеете в виду, поторопитесь отойти от него подальше, иначе он, без всякого сомнения, набросится на вас с кулаками.

— Я хочу сказать,— продолжал Дюпен, так как я только засмеялся в ответ на его последние слова,— что, будь министр всего лишь математиком, префекту не пришлось бы давать мне этот чек. Однако я знал, что он не только математик, но и поэт, а потому оценивал случившееся, исходя из его способностей и учитывая особенности его положения. Я знал, кроме того, что он искушен в делах двора и смелый интриган. Такой человек, рассуждал я, не может не быть осведомлен об обычных полицейских методах. Он не мог не предвидеть нападения псевдограбителей — и события показали, что он его предвидел. Он обязательно должен был предположить, рассуждал я, что его дом будет подвергнут тайным обыскам. Его частые ночные отлучки, в которых префект с радостью усматривал залог своего успеха, мне представлялись хитростью: он давал полиции возможность провести самый тщательный обыск для того, чтобы заставить ее прийти к заключению, к которому Г. в конце концов и пришел,— к заключению, что письмо находится не в его доме, а где-то еще. Я только что подробно изложил вам ход мысли касательно неизменных принципов, лежащих в основе действий полицейских агентов, когда они ищут спрятанные предметы,— и я чувствовал, что тот же ход мысли неминуемо приведет министра к таким же выводам, что и меня. И заставит его пренебречь всеми обычными тайниками. Не мог же он быть столь слабоумен, рассуждал я, чтобы не видеть, что самые скрытые и недоступные недра его дома будут столь же достижимы для глаз, игл, буравчиков и сильных луп префекта, как и стоящие на виду незапертые шкафы. Короче говоря, я понял, что он будет вынужден прибегнуть к какой-то очень простой выдумке, если не предпочтет ее по доброй воле с самого начала. Возможно, вы не забыли, как хохотал префект, когда во время нашего первого разговора я высказал предположение, что эта загадка причиняет ему столько хлопот как раз из-за очевидности ее разгадки.

— Да,— сказал я.— Я отлично помню, как он веселился. Мне даже показалось, что с ним вот-вот случится родимчик.

— Материальный мир,— продолжал Дюпен,— изобилует аналогиями с миром нематериальным, а потому не так уж далеко от истины то правило риторики, которое утверждает, что метафору или уподобление можно использовать не только для украшения описания, но и для усиления аргументации. Например, принцип vis inertiae [1], по-видимому, одинаков и в физике и в метафизике. Если для первой верно, что большое тело труднее привести в движение, нежели малое, и что полученный им момент инерции прямо пропорционален этой трудности, то и для второй не менее верно, что более могучие интеллекты, хотя они сильнее, постояннее и плодотворнее в своем движении, чем интеллекты малые, тем не менее начинают это движение с меньшей легкостью и более смущаются и колеблются на первых шагах. И еще: вы когда-нибудь замечали, какие уличные вывески привлекают наибольшее внимание?

— Никогда об этом не задумывался,— ответил я.

— Существует салонная игра,— продолжал Дюпен,— в которую играют с помощью географической карты. Один играющий предлагает другому найти задуманное слово — название города, реки, государства или империи — среди массы надписей, которыми пестрит карта. Новичок обычно пытается перехитрить своего противника, задумывая название, напечатанное наиболее мелким шрифтом, но опытный игрок выбирает слова, простирающиеся через всю карту и напечатанные самыми крупными буквами. Такие названия, как и чересчур большие вывески, ускользают от внимания из-за того, что они слишком уж очевидны. Эта физическая особенность нашего зрения представляет собой полную аналогию мыслительной тупости, с какой интеллект обходит те соображения, которые слишком уж навязчиво самоочевидны. Но, по-видимому, эта особенность несколько выше или несколько ниже понимания нашего префекта. Ему ни на секунду не пришло в голову, что министр мог положить письмо на самом видном месте на обозрение всему свету — именно для того, чтобы помешать кому-либо его увидеть.

Но чем больше я размышлял о дерзком, блистательном и тонком хитроумии Д., о том, что документ этот должен был всегда находиться у него под рукой, а в противном случае утратил бы свою силу, и о том, что письмо совершенно несомненно не было спрятано там, где считал нужным искать его префект, тем больше я убеждался, что, желая спрятать письмо, министр прибег к наиболее логичной и мудрой уловке и вовсе не стал его прятать.

Вот с какими мыслями я как-то утром водрузил себе на нос зеленые очки и во время прогулки заглянул к Д. Я застал его дома — он позевывал, изображал хандру, как всегда, притворяясь, будто ему все давно приелось и наскучило. В мире вряд ли сыщется другой столь же деятельный человек — но таким он бывает, только когда его никто не видит.

---

[1] Сила инерции *(лат.)*.

Чтобы не отстать от него, я пожаловался на слабость зрения и, оплакивая необходимость носить темные очки, под их защитой подробно и осторожно оглядел комнату, хотя со стороны показалось бы, что я смотрю только на моего собеседника.

Особенно внимательно я изучал большой письменный стол, возле которого сидел мой хозяин. На этом столе в беспорядке лежали различные бумаги, письма, два-три музыкальных инструмента и несколько книг. Однако, тщательно и долго оглядывая стол, я так и не обнаружил ничего подозрительного.

В конце концов мой взгляд, шаривший по комнате, упал на ажурную картонную сумочку для визитных карточек, которая на грязной голубой ленте свисала с маленькой медной шишечки на самой середине каминной полки. У сумочки были три кармашка, расположенные один над другим, и из них торчало пять-шесть визитных карточек и одно письмо. Оно было замусоленное, смятое и надорванное посредине, точно его намеревались разорвать, как не заслуживающее внимания, но затем передумали. В глаза бросалась большая черная печать с монограммой Д. Адрес был написан мелким женским почерком: «Д., министру, в собственные руки». Оно было небрежно и даже как-то презрительно засунуто в верхний кармашек сумки.

Едва я увидел это письмо, как тотчас же пришел к заключению, что передо мной — предмет моих поисков. Да, конечно, оно во всех отношениях разительно не подходило под то подробнейшее описание, которое прочел нам префект. Печать на этом была большая, черная, с монограммой Д., на том — маленькая, красная, с гербом герцогского рода С. Это было адресовано министру мелким женским почерком, на том титул некоей королевской особы был начертан решительной и смелой рукой. Сходилась только величина. Но, с другой стороны, именно разительность этих отличий, превосходившая всякое вероятие, грязь, замусоленная надорванная бумага, столь мало вязавшаяся с тайной аккуратностью Д. и столь явно указывавшая на желание внушить всем и каждому, будто документ, который он видит, не имеет ни малейшей важности,— все это вкупе со слишком уж заметным местом, выбранным для его хранения, где он бросался в глаза всякому посетителю, что точно соответствовало выводам, к которым я успел прийти,— все это, повторяю я, не могло не вызвать подозрений у того, кто явился туда с намерением подозревать.

Я продлил свой визит, насколько это было возможно, и все время, пока я поддерживал горячий спор на тему, которая, как мне было известно, всегда живо интересовала и волновала Д., мое внимание было приковано к письму. Я хорошо разглядел его, запомнил его внешний вид и положение в кармашке, а кроме того, в конце концов заметил еще одну мелочь, которая рассеяла бы последние сомнения, если бы они у меня были. Изучая края письма, я обнаружил, что они казались более неровными, чем можно было бы ожидать. Они вы-

глядели надломленными, как бывает всегда, когда плотную бумагу, уже сложенную и прижатую пресс-папье, складывают по прежним сгибам, но в другую сторону. Заметив это, я уже ни в чем не сомневался. Мне стало ясно, что письмо в сумочке под каминной полкой было вывернуто наизнанку, как перчатка, после чего его снабдили новым адресом и новой печатью. Тогда я распрощался с министром и отправился восвояси, оставив на столе золотую табакерку.

На следующее утро я зашел за табакеркой, и мы с большим увлечением возобновили беседу, которую вели накануне. Пока мы разговаривали, под окнами министра раздался громкий, словно бы пистолетный выстрел, а вслед за ним послышались ужасные вопли и крики испуганной толпы. Д. бросился к окну, распахнул его и выглянул наружу. Я же сделал шаг к сумочке, вынул письмо, сунул его в карман, а на его место положил довольно точную его копию (то есть по внешности), которую я старательно изготовил дома, без труда подделав монограмму Д. с помощью печати, слепленной из хлебного мякиша.

Суматоха на улице была вызвана отчаянной выходкой какого-то человека, державшего в руке мушкет. Он выстрелил из своего мушкета в толпе женщин и детей. Однако выяснилось, что заряд в мушкете был холостой, и стрелка отпустили, решив, что это либо сумасшедший, либо пьяница. Когда он скрылся из виду, Д. отошел от окна, возле которого встал и я сразу после того, как завладел письмом. Вскоре я откланялся. Человек, притворявшийся сумасшедшим, был нанят мной.

— Но зачем вам понадобилось,— спросил я,— заменять письмо копией? Не проще ли было бы в первый же ваш визит схватить его на глазах у Д. и уйти?

— Д.,— ответил Дюпен,— человек отчаянно смелый и находчивый. Кроме того, его слуги ему преданы. Если бы я решился на безумный поступок, о котором вы говорите, я вряд ли покинул бы особняк министра живым. И добрые парижане больше ничего обо мне не услышали бы. Однако меня остановили не только эти соображения. Вам известны мои политические симпатии. И тут я действовал как сторонник дамы, у которой было похищено письмо. Полтора года Д. держал ее в своей власти. А теперь он сам у нее в руках — ведь, не подозревая, что письма у него больше нет, он будет и далее множить свои требования. И тем самым неотвратимо обречет свою политическую карьеру на гибель. К тому же его падение будет не только стремительным, но и весьма неприятным. Хоть и говорится, что facilis descensus Averni [1], однако когда речь идет о взлетах и падениях, то, как заметила Каталани о пении, куда легче идти вверх, чем вниз. И в данном случае я не питаю никакого сочувствия — во всяком случае, никакой жалости — к тому, кому уготовано падение. Ведь он —

---

[1] Легок спуск в Аверн *(лат.)*.

пресловутое monstrum horrendum [1], человек талантливый, но беспринципный. Однако, признаюсь, мне очень хотелось бы узнать, какой оборот примут его мысли, когда, получив резкий отказ от той, кого префект называет «некоей высокопоставленной особой», он вынужден будет развернуть письмо, которое я оставил для него в сумочке для визитных карточек.

— Как так? Вы что-нибудь в него вложили?

— Видите ли, я не счел себя вправе оставить внутреннюю сторону чистой — это было бы оскорблением. Давным-давно в Вене Д. однажды поступил со мной очень скверно, и я тогда сказал ему — без всякой злобы,— что я этого не забуду. А потому, понимая, что ему будет любопытно узнать, кто же его перехитрил, я рассудил, что следует дать ему какой-нибудь ключ к разгадке. Ему известен мой почерк, и я просто написал на середине листка следующие слова:

...Un dessein si funeste
S'il n'est digne d'Atrée, est digne de Thyeste [2].

Вы можете найти их в «Атрее» Кребийона.

---

[1] Отвратительное чудовище *(лат.)*.

[2] ...план такой зловещий
Достоин если не Атрея, то Фиеста *(фр.)*.

СФИНКС

В ТУ ПОРУ, КОГДА НЬЮ-ЙОРК ПОСЕТИЛА свирепая эпидемия холеры, один мой родственник пригласил меня пожить недели две в его уединенном, комфортабельном коттедже на берегу реки Гудзон. Здесь к нашим услугам были все возможности для летнего отдыха; прогулки по лесам, занятия живописью, катание на лодке, рыбная ловля, купание, музыка и книги изрядно скрасили бы наш досуг, если б не ужасные известия, которые всякое утро приходили из многолюдного города. Не проходило и дня, чтобы мы не узнали о болезни того или другого знакомого. А бедствие все разрасталось, и вскоре мы стали повседневно ожидать смерти кого-нибудь из друзей. Дошло до того, что, едва завидя почтальона, мы содрогались. В самом ветре, когда он дул с юга, нам чудилось смрадное дыхание смерти. Мысль об этом леденила мне душу. Я не мог говорить, не мог думать ни о чем другом и даже во сне лишился покоя. Хозяин дома был по природе менее впечатлителен и, хотя сам не на шутку упал духом, всеми силами старался меня ободрить. Его серьезный, философский ум был чужд беспочвенных фантазий. Разумеется, действительные несчастья удручали его, но он не знал страха пред их зловещими призраками.

Однако его усилия рассеять мою болезненную мрачность оказались тщетны, и главной причиной тому были книги, которые я отыскал в его библиотеке. Книги эти были такого рода, что семена наследственных суеверий, сокрытые в моей душе, дали быстрые всходы. Я читал их без ведома моего друга, и он часто не мог понять, что же так сильно влияет на мое воображение.

Излюбленной темой разговора были для меня народные приметы — истинность их я готов был в то время доказывать чуть ли не с пеной у рта. Мы вели на эту тему долгие и горячие споры; мой друг утверждал, что все это лишь пустые суеверия, я же возражал, что предчувствия, возникаю-

щие в народе совершенно непроизвольно — то есть без какого-либо определенного повода,— обязательно содержат в себе зерно истины и, несомненно, заслуживают внимания.

Надо сказать, что вскоре после приезда со мной произошел случай, столь необъяснимый и зловещий, что вполне простительно было счесть его за дурную примету. Он повергнул меня в такой беспредельный ужас и смятение, что лишь много дней спустя я решился рассказать об этом случае своему другу.

На исходе знойного дня я сидел с книгой у открытого окна, из которого открывался прекрасный вид на берега реки и на склон дальнего холма, почти безлесный после сильного оползня. Я давно уже забыл о книге и мысленно перенесся в город, погруженный в скорбь и отчаянье. Подняв глаза, я рассеянно скользнул взглядом по обнаженному склону холма и увидел там нечто невероятное — какое-то мерзкое чудовище быстро спускалось с вершины и вскоре исчезло в густом лесу у подножья. При виде этой твари я подумал, что сошел с ума,— и уж, во всяком случае, не поверил своим глазам,— а потому прошло порядочно времени, прежде чем мне удалось убедить себя, что я не повредился в рассудке и все это не было сном. Боюсь, однако, что, когда я опишу чудовище (я видел его совершенно явственно и без помехи наблюдал, пока оно спускалось с холма), у читателей возникнет еще более сомнений, чем у меня самого.

Я прикинул на глаз величину чудовища, соразмерив его с толщиной вековых деревьев, меж которыми оно совершало свой путь,— тех немногих лесных великанов, каких пощадил оползень,— и убедился, что оно несравненно превосходит все существующие линейные корабли. Сравнение с линейным кораблем напрашивается само собой — корпус любого из наших семидесятичетырехпушечных судов может дать зримое представление о форме чудовища. Пасть его была расположена на конце хобота длиной футов в шестьдесят или семьдесят и толщиной едва ли не с туловище слона. Основание хобота сплошь заросло черной, косматой шерстью — столько шерсти не настричь и с двух десятков буйволов; из нее, загибаясь вниз и в стороны, торчали два сверкающих клыка, похожих на кабаньи, но неизмеримо более длинных. По обе стороны от хобота, параллельно ему, выступали вперед громадные отростки длиной футов в тридцать, а то и сорок, похожие на кристально-прозрачные призмы безупречной формы — они во всем великолепии отражали закат. Туловище напоминало клин, острием обращенный к земле. С боков распростерлись одна над другой две пары крыльев — размахом в добрую сотню ярдов,— густо усеянные металлической чешуей; каждая чешуйчатая пластина имела в поперечнике футов десять или двадцать. Мне показалось, что верхние и нижние крылья скованы тяжелой цепью. Но всего поразительней и ужасней было изображение Черепа едва ли не во всю грудь, так отчетливо выделявшееся в ослепительном свете на темном туловище, словно оно было выписано кистью ху-

дожника. Когда я в ужасе и удивлении разглядывал это страшилище, и в особенности его грудь, с предчувствием близкой беды, которое не могли заглушить никакие доводы рассудка, огромная пасть на конце хобота вдруг разверзлась и исторгла звук, столь громкий и неизъяснимо горестный, что он сокрушил мое сердце, как похоронный звон, и когда чудовище исчезло у подножия холма, я без чувств рухнул на пол.

Едва я опомнился, первой моей мыслью было поделиться с другом всем, что я видел и слышал,— но какое-то необъяснимое чувство отвращения заставило меня промолчать.

Лишь дня три или четыре спустя, под вечер, нам случилось быть вдвоем в той самой комнате, откуда я видел призрак,— я опять сидел в кресле у окна, а мой друг прилег на диване. Совпадение места и времени побудило меня рассказать ему о необычайном явлении, которое я наблюдал. Он выслушал, не перебивая,— сначала посмеялся от души, потом стал необычайно серьезен, словно убедился в моем безумии. В этот миг я снова явственно увидел чудовище и с криком ужаса указал на него другу. Он стал пристально вглядываться, но сказал, что ничего не видит, хотя я подробно описал весь путь зверя, спускавшегося по обнаженному склону холма.

Теперь я пришел в совершеннейший ужас, решив, что видение предвещает либо мою смерть, либо, еще того страшней, надвигающееся помешательство. В отчаянье я откинулся на спинку кресла и закрыл лицо руками. Когда я опустил руки, призрак уже исчез.

Однако к хозяину дома вернулось его хладнокровие, и он принялся обстоятельно расспрашивать меня, как выглядело это невероятное существо. Когда я ответил на все его вопросы, он глубоко вздохнул, словно сбросив с души тяжкое бремя, и с невозмутимостью, которая показалась мне бесчеловечной, возобновил прерванный разговор об отвлеченных философских материях. Помнится, между прочим, он настоятельно подчеркивал ту мысль, что ошибки в исследованиях обычно проистекают из свойственной человеческому разуму склонности недооценивать или же преувеличивать значение исследуемого предмета из-за неверного определения его удаленности от нас.

— Так, например,— сказал он,— чтобы правильно оценить то влияние, которое может иметь на человечество всеобщая и подлинная демократия, необходимо учесть, насколько удалена от нас та эпоха, в которую это возможно осуществить. Но сумеете ли вы назвать хоть одно сочинение о государстве, где автор уделял бы этой стороне вопроса хоть сколько-нибудь внимания?

Помолчав немного, он подошел к книжному шкафу и взял с полки начальный курс «Естественной истории». Затем он попросил меня поменяться с ним местами, чтобы ему легче было читать мелкий шрифт, сел в кресло у окна и, открыв книгу, продолжал разговор в том же тоне.

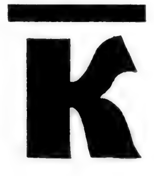
— Если бы вы не описали чудовище во всех подробностях,— сказал он,— я попросту не мог бы объяснить, что это было. Но позвольте для начала прочитать вам из школьного учебника описание одного из представителей рода сфинксов — семейство бражников, отряд чешуекрылых, класс насекомых. Вот что здесь сказано:

«Две пары перепончатых крыльев усеяны мелкими цветными чешуйками, с металлическим отливом; ротовые органы имеют вид спирально закрученного хоботка, образованного удлиненными челюстями, причем по бокам от него находятся недоразвитые челюстные придатки и ворсистые щупики; верхние крылья сцеплены с нижними посредством жестких щетинок; усики имеют продолговатую, призматическую форму; брюшко заострено книзу. Сфинкс вида Мертвая голова внушает простонародью суеверный ужас своим тоскливым писком, а также эмблемой смерти на грудном покрове».

Тут он закрыл книгу и подался вперед, старательно приняв то самое положение, в каком сидел я, когда увидел «чудовище».

— Ага, вот оно где!— тотчас воскликнул он.— Опять лезет на холм, и должен признать, что вид у него престранный. Но оно отнюдь не так огромно и не так удалено отсюда, как вам почудилось: дело в том, что оно взбирается по паутинке, которую соткал за окном паук, и, сколько я могу судить, имеет в длину не более одной шестнадцатой дюйма, да и расстояние от него до моего глаза никак не более одной шестнадцатой дюйма.

ЛЯГУШОНОК



ОРОЛЬ БЫЛ ВЕЛИЧАЙШИМ ЛЮБИТЕЛЕМ шуток, другого такого я никогда не встречал. Казалось, он только ради шуток и живет. Рассказать какую-нибудь забавную историю, и рассказать по-настоящему забавно — таков был самый верный способ заслужить его милость. Вот потому-то и все семеро его министров были известные шутники. И не только тем они походили на короля, что были неподражаемыми шутниками, а еще и сложением: все, как на подбор, огромные, толстые, жирные. Уж не знаю, оттого ли люди толстеют, что много шутят, или, напротив, есть в самой толщине что-то располагающее к шуткам; несомненно одно: тощий шутник — rara avis in terris[1].

Утонченное или, как сам он выражался, «призрачное» остроумие не занимало короля. Он особенно восхищался шуткой, если в ней была широта, и ради этого готов был терпеть, если она оказывалась длинной. Изощренность его утомляла. Вольтерову «Задиѓу» он предпочел бы «Гаргантюа» Рабле, и грубая потеха приходилась ему более по вкусу, нежели забавная игра слов.

В ту пору, о которой я веду речь, еще не вовсе вышли из моды придворные шуты. На Европейском континенте кое-кто из властителей еще держал при себе «дурака» в шутовском наряде и в колпаке с бубенцами,— «дураку» полагалось безотказно острить и потешать, а за это ему перепадали крохи с королевского стола.

Разумеется, и наш король имел при себе «дурака». В самом деле, ему непременно требовалась толика глупости, ведь надо было как-то уравновесить груз мудрости семерых премудрых министров, не говоря уже о его собственной.

Однако дурак, то бишь придворный шут нашего короля, был не только дураком. Король ценил его втройне за то, что

[1] Редкая птица *(лат.)*.

он в придачу был еще и карлик и калека. В те времена при дворах владык карлики были в ходу не меньше, чем дураки; многие монархи просто не знали бы, как скоротать день (а при дворе дни тянутся дольше, чем где-либо в другом месте), не будь у них шута, чтобы смеяться его шуткам, и карлика, чтобы смеяться над ним. Но, как я уже упомянул, из сотни шутов девяносто девять — толсты, жирны и неуклюжи. А потому нашего короля весьма радовало, что его Лягушонок (так звали дурака) — тройное сокровище.

Как я полагаю, карлика нарекли Лягушонком не при крещении,— скорее, это прозвище дружно пожаловали ему семеро министров за то, что он не умел ходить, как все люди. Походка у него была странная, судорожная — он то ли прыгал, то ли извивался, и это несказанно забавляло короля, а также, разумеется, и утешало, ибо (несмотря на обширное брюхо и от природы непомерно большую, словно распухшую голову его величества) придворные все, как один, восхищались королевской стройностью и статностью.

На полу или на ровной дороге каждый шаг стоил Лягушонку острой боли и немалого труда, зато, словно в возмещение за искалеченные ноги, природа наделила его на диво мощными мускулистыми руками, и когда нужно было влезть на дерево, взобраться по канату или еще куда-нибудь вскарабкаться, он поистине совершал чудеса и всех поражал своей ловкостью. В таких случаях он больше походил не на лягушку, а на белку или мартышку.

Не умею сказать с полной достоверностью, из какой страны родом был Лягушонок. Но то был какой-то дикий край, о котором никто и не слыхивал, за тридевять земель от владений нашего короля. Там, в двух соседних провинциях, нашел Лягушонка и молоденькую девушку чуть побольше его ростом (однако на редкость изящную и стройную и притом замечательную танцовщицу) один из победоносных генералов нашего короля, силою оторвал обоих от родного дома и послал в дар своему повелителю.

Надо ли удивляться, что между двумя маленькими пленниками возникла душевная близость? Вскоре они сделались неразлучными друзьями. Лягушонок, хотя и развлекал всех, служа посмешищем, любовью окружающих отнюдь не пользовался и не часто мог оказать Трипетте какую-либо услугу; она же, хоть и карлица, отличалась столь милым нравом и совершенной красотой, что все ею восхищались, баловали ее, а потому она стала при дворе влиятельной особой — и, когда только могла, посредством этого влияния старалась облегчить участь Лягушонка.

По случаю одного торжественного события — уж не припомню, какого именно,— король решил устроить маскарад; а всякий раз, когда при нашем дворе затевался маскарад или иное празднество, никак не обойтись было без талантов Лягушонка и Трипетты. В особенности Лягушонок был уж такой выдумщик, такие сочинял представления, такие изобре-

тал новые маски и наряды, что без его помощи казалось просто немыслимым устроить какое-либо пышное зрелище или костюмированный бал.

Настал вечер, на который назначен был fête[1]. Под наблюдением Трипетты разубрали и разукрасили роскошную залу, пустив в ход всевозможные ухищрения, какие только могли придать éclat[2] маскараду. Весь двор охватило лихорадочное нетерпение. Разумеется, каждый должен был избрать себе подходящую маску и наряд. Очень многие заранее — за неделю или даже за месяц до празднества — определили свои роли, так что не оставалось ни малейшей неясности; ничего не было решено только у короля и семерых министров. Отчего все они колебались, сказать не умею, разве что в шутку. А вернее, они затруднялись на чем-либо остановиться оттого, что были все такие толстые. Но время не ждало, оставалась последняя надежда: послали за Трипеттой и Лягушонком.

Маленькие друзья послушно явились на зов короля, который в это время сидел, окруженный всеми семью советниками, и пил вино; оказалось, однако, что монарх пребывает в самом дурном расположении духа. Он знал, что Лягушонок не выносит вина: оно возбуждало несчастного калеку, доводило чуть ли не до безумия, а чувствовать себя безумным не слишком приятно. Но король был любитель пошутить и, чтобы развлечься, принудил Лягушонка пить и (как выразился его величество) «веселиться».

— Поди сюда, Лягушонок,— сказал король, когда шут и его подруга переступили порог.— Осуши этот бокал за здоровье своих далеких друзей (тут Лягушонок вздохнул), а потом порадуй нас своей выдумкой. Нам нужны маски — настоящие маски, приятель, совсем новые, необычные. Нам прискучило вечное однообразие. На, выпей! Вино прояснит твой ум.

Лягушонок пытался, как всегда, ответить королю шуткой, но ему это не удалось. По несчастному совпадению день этот был днем рождения бедняги, и от приказания пить «за далеких друзей» на глаза его навернулись слезы. Крупные, горькие, они закапали в кубок, который он смиренно принял из рук тирана.

А тот громко захохотал, глядя на карлика, который скрепя сердце выпил все до дна.

— Ха-ха-ха! Поглядите-ка, что делает чарка доброго вина! Вот у тебя уже и глаза заблестели!

Несчастный! Большие глаза его не заблестели, а скорее, засверкали: действие вина на его легко возбудимый мозг было мгновенным и неодолимым. Дрожащей рукой поставил он кубок на стол и обвел присутствующих полубезумным взором. Всех, как видно, очень позабавила столь удачная королевская «шутка».

---

[1] Праздник *(фр.)*.
[2] Блеск *(фр.)*.

— А теперь поговорим о деле,— сказал премьер-министр, человек толщины необычайной.

— Да,— сказал король,— помоги-ка нам, Лягушонок. Кто мы такие, приятель, нам надо знать, кто мы все такие — ха-ха-ха!

Король всерьез воображал, что это очень остроумно, и к его смеху присоединились все семеро министров.

Засмеялся и Лягушонок, но каким-то жалким и растерянным смехом.

— Ну-ну,— торопил король.—Придумай же что-нибудь!

— Я стараюсь придумать что-нибудь новенькое,— рассеянно сказал карлик: от вина у него совсем помутилось в голове.

— Стараешься?! — злобно вскричал тиран.— Только и всего? А, понимаю. Ты обиделся, что я дал тебе мало вина. Вот, получай!

Он снова налил полный кубок и протянул калеке, а тот лишь тупо смотрел на вино, с трудом переводя дух.

— Пей, говорят! — заорало чудовище.— Не то, клянусь всеми демонами преисподней...

Карлик все мешкал. Король побагровел от ярости. Придворные пересмеивались. Трипетта, бледная как смерть, приблизилась к трону, упала на колени и стала умолять короля пощадить ее друга.

Минуту-другую тиран смотрел на нее, явно удивленный такой дерзостью. Казалось, он недоумевает — что тут сделать и что сказать, как самым подобающим способом выразить свое негодование. Наконец, без единого слова, он с силой оттолкнул Трипетту и выплеснул вино из полного до краев кубка ей прямо в лицо.

Бедная девушка кое-как поднялась на ноги и, не смея даже вздохнуть, возвратилась на свое место в конце стола.

Полминуты длилась гробовая тишина — упади сухой лист или перышко, и то было бы слышно. Тишину эту нарушил негромкий, но резкий и протяжный скрежет, который словно исходил из всех углов разом.

— Что... что... что такое? Зачем ты это делаешь? — в бешенстве спросил король, обернувшись к карлику.

Тот, казалось, почти оправился от вызванного вином оцепенения и, пристально, но спокойно глядя в лицо тирану, вымолвил только:

— Я? Помилуйте, разве это я?

— Звук как будто шел снаружи,— заметил кто-то из придворных.— По-моему, это попугай в клетке за окном точил клюв о прутья.

— Да, наверно,— отвечал властитель, словно бы успокоенный.— А я, вот честное слово, готов был поклясться, что это скрипел зубами наш бездельник.

Тут карлик засмеялся (король ведь был известный шутник и никому не возбранял смеяться) и выставил напоказ все свои большие, крепкие, на редкость безобразные зубы. Более того, он изъявил совершенную готовность выпить столько

вина, сколько пожелают ему поднести. Тогда монарх сменил гнев на милость; Лягушонок без видимых дурных последствий осушил еще один кубок и тотчас с живостью заговорил о том, что придумал он для маскарада.

— Уж не знаю, какой тут был ход мысли,— начал он очень спокойно и так, словно даже и не пробовал вина,— но тотчас же после того, как ваше величество изволили ударить девушку и выплеснуть вино ей в лицо... тотчас после этого... когда попугай за окном еще скрипел так странно клювом, мне пришла на ум отменная забава... у меня на родине это одна из самых любимых игр, мы часто тешимся ею на наших маскарадах; но здесь она будет в новинку. Только вот беда, тут требуется сразу восемь человек и...

— Так вот же мы! — со смехом вскричал король, очень довольный тем, что так быстро подметил удачное совпадение.— Нас как раз восемь: я и мои министры. Говори же! Что это за игра?

— У нас она зовется «восемь скованных орангутангов»,— отвечал карлик.— Если хорошо ее разыграть, это — превосходное развлечение.

— Вот мы и разыграем,— сказал король, напыжился и надменно прищурился.

— Прелесть этой потехи в том, что она страшно пугает женщин,— заметил Лягушонок.

— Великолепно! — с хохотом закричали король и его министры.

— Я наряжу вас всех орангутангами,— продолжал карлик.— Я все сделаю сам. Сходство будет разительное, так что все остальные маски примут вас за настоящих зверей — и, конечно, не только изумятся, но и перепугаются.

— Превосходно! — воскликнул король.— Лягушонок, за это я сделаю тебя человеком.

— Цепи нужны для того, чтобы звоном и лязгом еще усилить переполох. Подумают, что вы en masse удрали от сторожей. Ваше величество, не представляете себе, как это будет замечательно: в разгар маскарада восьмерка скованных орангутангов, которых почти все гости сочтут настоящими, с дикими воплями врывается в толпу изысканных кавалеров и нарядных дам. Контраст невообразимый!

— Да уж смотри! — сказал король.

Совещание тотчас закончили (ведь время было уже позднее) и поспешно взялись приводить в исполнение затею Лягушонка.

Чтобы обратить восьмерых толстяков в орангутангов, Лягушонок избрал способ очень простой, но вполне пригодный для его замысла. В ту пору, о которой повествует мой рассказ, обезьян этих в странах просвещенных почти не видывали; карлик же обрядил всю компанию так, что выглядели толстяки вполне звероподобно и поистине премерзко, а потому едва ли кто мог заподозрить подделку.

Прежде всего король и семеро министров натянули на

себя плотно облегающие рубашки и панталоны тонкой вязки. Потом их обмазали дегтем. Тут кто-то из них предложил вываляться в перьях, но карлик отверг эту мысль, наглядно доказав всей восьмерке, что на шерсть чудовищной обезьяны куда больше похожа пенька. И вот слой дегтя покрыли толстым слоем пеньки. Затем добыли длинную цепь. Первым делом ею прочно опоясали короля, потом так же накрепко обернули цепью одного из министров и тем же манером, одного за другим, обвязали и соединили всю восьмерку. Когда дело было сделано, восемь толстяков разошлись как можно дальше друг от друга, образовался круг — и Лягушонок для пущего правдоподобия протянул остаток цепи крест-накрест через самую середину круга: так делают и в наши дни ловцы шимпанзе и других больших обезьян на острове Борнео.

Маскарад дожен был состояться в огромной зале, совершенно круглой и очень высокой; солнечный свет проникал туда только через стеклянный потолок. По вечерам же (а зала эта предназначалась именно для вечеров) ее освещала исполинская люстра, свисавшая на цепи из люка в стеклянной крыше; люстру поднимали и опускали, как это обычно делается, при помощи противовеса, но он выведен был через купол наружу, чтобы не бросался в глаза.

Ведать убранством залы поручили Трипетте; но в иных частностях она, видно, следовала рассудительным советам своего друга-карлика. По его-то подсказке в этот вечер люстру убрали совсем. Ведь в такую жару свечи неизбежно будут ронять капли воска, это нанесло бы немалый урон богатым нарядам гостей, а гостей великое множество, и не смогут же все они держаться подальше от середины залы, что приходится под самой люстрой. В зале там и сям, в сторонке, чтобы никому не мешать, прибавили канделябров, да еще и каждой подпиравшей стену кариатиде(всего их насчитывалось пять или шесть десятков) в правую руку вставили факел, курившийся благовониями.

По совету Лягушонка восемь орангутангов терпеливо ждали полуночи, чтобы появиться на маскараде, когда уже соберутся все приглашенные. И вот, едва отзвучал бой часов, они вбежали, вернее, комом вкатились в залу — ведь цепи мешали им, они спотыкались, и мало кто удержался на ногах.

Смятение среди гостей поднялось невообразимое, и король возликовал. Как и предполагалось, почти все приняли нежданно появившуюся свирепого вида ораву если и не за орангутангов, то, уж конечно, за доподлинных диких зверей. Многие женщины от страха лишились чувств; и, не запрети король являться во дворец с оружием, восьмерым весельчакам, пожалуй, пришлось бы кровью расплатиться за свою шалость. Теперь же гости в испуге бросились к выходу, но король заранее распорядился, как только он войдет в залу, запереть все двери; а ключи переданы были карлику.

Сумятица достигла предела, каждый только и думал, как бы спастись самому (а опасаться и вправду было чего, та-

кая давка началась в обезумевшей толпе),— и тут цепь, на которой обычно висела люстра и которую сегодня за ненадобностью подтянули кверху, начала медленно, постепенно опускаться, покуда крюк на конце ее не оказался в каких-нибудь трех футах от пола.

Вскоре после этого король и семеро его советников, которые без толку метались и кружили по зале, очутились на самой ее середине, совсем рядом со свисавшей с потолка цепью. И тут карлик (он все время неслышно следовал за ними по пятам, подбодряя их и подстрекая, чтоб не давали улечься суматохе) подхватил соединявшую их цепь в том месте, где пересекались ее концы. С быстротою мысли он продел в это перекрестие крюк, на котором подвешивали люстру; и мигом какая-то невидимая сила подтянула цепь кверху настолько, что до крюка уже нельзя было достать, а орангутанги, естественно, очутились в воздухе, совсем близко друг к другу, лицом к лицу.

Тем временем гости несколько оправились от испуга, догадались, что весь этот переполох — просто хитроумная шутка,— и затруднительное положение, в какое попали обезьяны, вызвало взрыв веселого смеха.

— Предоставьте их мне! — закричал тут Лягушонок, и, несмотря на шум и гам, все услыхали его пронзительный голос.— Предоставьте их мне! Кажется, я их знаю. Дайте только поглядеть поближе, и я скажу вам, кто они такие!

С этими словами, карабкаясь чуть ли не по головам теснившихся гостей, он добрался до стены, выхватил у одной из кариатид факел, тем же способом вернулся на середину залы, с ловкостью мартышки прыгнул на голову королю, затем вскарабкался на несколько футов вверх по цепи — и стал при свете факела разглядывать висящих под ним орангутангов; при этом он снова и снова кричал:

— Сейчас я узнаю, кто они такие!

Все, кто был в зале, в том числе и сами обезьяны, корчились от смеха, как вдруг шут пронзительно свистнул; цепь рывком поднялась на добрых тридцать футов, вздернув кверху отчаянно трепыхавшихся орангутангов, и они беспомощно повисли на полпути между полом и стеклянной крышей. Лягушонок по-прежнему держался за цепь выше их и как ни в чем не бывало совал под нос то одному, то другому факел, будто силился их разглядеть.

Всех так ошеломил этот неожиданный взлет, что на долгую минуту водворилось молчание. И в тишине раздался негромкий, резкий звук — тот самый, что еще недавно поразил слух короля и его советников, когда король плеснул вином в лицо Трипетте. Но теперь уже не оставалось сомнений в том, откуда исходил странный скрежет. Это с пеной у рта скрипел и скрежетал своими ужасными зубами карлик, свирепо, с яростью безумца смотрел он в запрокинутые кверху лица короля и семерых министров.

— Ага! — промолвил наконец взбешенный шут.— Ага, теперь мне ясней видно, что это за люди!

Прикидываясь, будто хочет получше рассмотреть короля, он поднес факел к косматой «шкуре» из пеньки, и та мигом воспламенилась. Не прошло и полминуты, как пламя охватило всех восьмерых орангутангов под вопли пораженной ужасом толпы, которая глядела на них снизу, не в силах хоть чем-нибудь помочь.

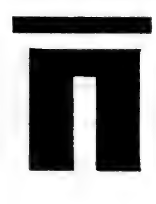
Пламя вдруг вспыхнуло еще жарче, и шуту пришлось вскарабкаться выше по цепи, чтобы его не настигли огненные языки; следя за ним, толпа на минуту притихла. Карлик воспользовался случаем и вновь заговорил.

— Вот теперь я вижу ясно, что за люди эти ряженые,— сказал он.— Это великий король и семеро его ближайших советников... король, который без зазрения совести ударил беззащитную девушку, и семеро его приближенных, которых только веселило это надругательство. А я — я просто Лягушонок, я шут — и это моя последняя шутка!

И пенька и деготь горят превосходно, так что, едва карлик закончил свою краткую речь, завершилась и его месть. На цепях зловонными, почерневшими, отвратительными комьями повисли восемь безжизненных тел. Калека швырнул в них факелом, не спеша вскарабкался под самый потолок, пролез в люк и скрылся.

Полагают, что Трипетта, спрятавшись на стеклянной кровле, помогла другу свершить огненное мщение и что они вместе бежали в родные края, ибо никто их больше не видел.

«ТЫ ЕСИ МУЖ, СОТВОРИВЫЙ СИЕ»



ОРА УЖ МНЕ, УПОДОБЯСЬ ЭДИПУ, открыть загадку Сырборо. Сейчас я вам объясню — кроме меня, сделать это некому,— каким образом произошло сырборское чудо — единственное, истинное, признанное, неоспоримое и бесспорное чудо, положившее конец неверию сырборцев и обратившее в примерных святош всех рабов плоти, дотоле отваживавшихся на вольномыслие.

Событие это — о котором мне не хотелось бы говорить с неподобающей легкостью — случилось летом 18... года. Мистер Барнабас Кукиш — один из самых богатых и почтенных граждан во всем околотке — исчез незадолго перед тем и при обстоятельствах, наводивших на подозрения весьма мрачные. Мистер Кукиш отбыл из дому ранним утром в субботу, верхом, объявив, что намеревается проследовать до города..., милях в пятнадцати от Сырборо, и к ночи воротиться. Однако через два часа конь вернулся без хозяина и без вьюков, притороченных к седлу. Конь был изранен и заляпан грязью. Друзья пропавшего, разумеется, встревожились не на шутку; когда же мистер Кукиш не появился и в воскресенье утром, на розыски его поднялся en masse [1] весь город.

Главным и особенно рьяным участником розысков был ближайший друг мистера Кукиша некто мистер Чарльз Честен, или, как обычно его называли, «Чарли Честен», или «Старина Чарли Честен». Чудесное ли то совпадение, или же самое имя неуловимо влияет на натуру, я, право, покамест судить не берусь; одно несомненно: не бывало еще человека, который носил бы имя Чарльз и при этом не был бы искренен, мужествен, достоин, добродушен, чистосердечен, не обладал бы приятным, ясным голосом, так что заслушаешься, и честным, прямым взглядом, словно говорившим: «Смотрите, господа, совесть моя чиста, бояться мне некого, и ни на какую пакость

[1] скопом, вместе *(фр.)*.

я не способен». И даже, например, бессловесные, добрые малые на сцене чаще всего носят имя Чарльз.

Ну так вот, Старина Чарли Честен, хоть всего полгода как объявился в Сырборо, прежде никто о нем здесь и не слыхивал, без малейшего труда накоротке сошелся со всеми почтеннейшими нашими гражданами. Из них любой ссудил бы ему под честное слово целую тысячу; что же до женщин, то те просто не знали, как угодить ему. И все оттого, что звался он Чарльз и, следственно, обладал открытым лицом, которое, по поговорке, «зеркало души» и служит лучше всякого рекомендательного письма.

Я уже говорил, что мистер Кукиш был из самых уважаемых и, без сомненья, самый богатый среди граждан Сырборо, ну а Старина Чарли Честен был ему просто как брат родной. Почтенные господа жили бок о бок, и хотя мистер Кукиш если когда и посещал Старину Чарли, то весьма редко и, насколько известно, ни разу у него не угощался, это не препятствовало их тесной дружбе, о которой я только что упомянул, ибо Старина Чарли зато, бывало, раза по три на дню заглянет проведать соседа; а частенько он оставался и позавтракать, и чаю попить, и почти всегда — пообедать; и уж сколько стаканчиков пропускали приятели за один присест, даже счесть невозможно. Старина Чарли предпочитал всем прочим напиткам шато-марго, и мистер Кукиш, бывало, не нарадуется, глядя, как его приятель приканчивает кварту за квартой; и вот однажды, когда в желудках ощущалась приятная тяжесть, а в мыслях, следственно, легкость, мистер Кукиш сказал приятелю, похлопав его по спине:

— Знаешь, Старина Чарли, а ведь, ей-же-ей, лучше тебя я в жизни своей человека не видывал; и раз уж ты так любишь выпить, то провалиться мне на этом месте, если я не поднесу тебе ящичек шато-марго. Черт меня подери (мистер Кукиш имел плачевную привычку чертыхаться, хоть редко позволял себе выражения более крепкие, чем «разрази меня гром», «черт меня побери» и «провалиться мне на этом месте»), черт меня подери,— говорит, значит, мистер Кукиш,— если я сегодня же не закажу в городе двойной ящик самого что ни на есть лучшего шато-марго. Я хочу сделать тебе такой подарок, и ты молчи, все равно я тебе его подарю, и дело с концом; увидишь, в один прекрасный день, когда ты даже думать забудешь про мое обещание, ты получишь шато-марго.

Я упоминаю о некоторой щедрости, проявленной мистером Кукишем, исключительно для того, чтобы дать вам понять, какая тесная дружба связывала наших приятелей.

В то несчастное воскресное утро, когда стало совершенно ясно, что с мистером Кукишем дело неладно, Старина Чарли Честен убивался так, что и представить себе невозможно. Когда он услышал, что конь вернулся без хозяина и без седельных вьюков, весь в крови, чудом уцелев после того, как пистолетная пуля пробила ему грудь навылет,— когда, значит, Чарли все это услышал, он побледнел, словно про-

павший ему — родной отец или брат, и весь затрясся, будто в лихорадке.

Сперва его до того одолело горе, что он совсем потерялся и был в совершенной нерешительности; он даже долго старался убедить прочих друзей мистера Кукиша не поднимать шуму, считая за благо немного обождать — скажем, недельку-другую или месяц-другой — и поглядеть, не выяснится ли чего или не объявится ли вдруг сам мистер Кукиш да и объяснит, зачем понадобилось ему высылать вперед своего коня. У людей, действующих под влиянием сильного горя, сами знаете, наверное, часто наблюдаешь эту склонность временить, тянуть и откладывать. Им словно отказывает здравый смысл, они чураются любого поступка, «им бы только лежать на боку и лелеять свою скорбь», как выражаются старые дамы, а иначе говоря — пережевывать свое несчастье.

Сырборцы до того верили мудрости Старины Чарли и его рассудительности, что сначала большинство склонялось к тому, чтобы с ним согласиться и не поднимать шуму, «покуда что-то не выяснится», как говорил сей честный старый джентльмен; и, думаю, так бы оно в конце концов и вышло, если бы в дело, весьма подозрительное, не вмешался племянник мистера Кукиша большой повеса, вертопрах и вообще молодой человек довольно скверного нрава. Племянник этот, по имени Нипенни, и слышать не хотел никаких доводов в пользу того, что, дескать, следует «обождать», но требовал немедля же начать розыски «тела убитого». Так он и выразился: «тела убитого»; и мистер Честен тогда же заметил ему, что «выражение сие странно, чтобы не сказать более». Замечание старины Чарли весьма впечатлило толпу; и кто-то даже, говорят, спрашивал очень настойчиво, «каким же это образом юный мистер Нипенни так хорошо осведомлен обо всех обстоятельствах, касаемых до исчезновения его богатого дядюшки, что смеет прямо и недвусмысленно утверждать, будто дядюшка его убит». После чего начались некоторые пререканья и колкости в толпе, а также между Стариной Чарли и мистером Нипенни; последнее, впрочем, никого не удивило, ибо между этими двумя господами уже несколько месяцев не наблюдалось большого согласия, до того даже дошло, что мистер Нипенни однажды просто сбил с ног дядюшкина приятеля за излишнюю якобы вольность, какую тот позволил себе в доме дяди, где жил и племянник. Старина Чарли выказал, говорят, примерную сдержанность и христианское великодушие. Он поднялся на ноги, привел в порядок свое платье и отнюдь не стал сводить с обидчиком счеты, а пробормотал только, что «отомстит при первой возможности»,— естественная и более чем извинительная вспышка гнева, ничего не означавшая и забытая, разумеется, как только он дал ей выход.

Как бы ни расценивать этот случай (не имеющий касательства к занимающему нас предмету), точно одно, что, уступая настояньям мистера Нипенни, жители Сырборо решили рассеяться по всей обширной округе и искать пропавшего ми-

стера Кукиша. То есть таково было первое их решение. Когда все согласились, что без розысков не обойтись, тотчас же сочли необходимым разбиться на группы и тщательно обшарить окрестность. А вот дальше я позабыл, каким убедительнейшим ходом рассуждений Старина Чарли в конце концов доказал собранью, до чего нелеп и безрассуден подобный план; но так или иначе, а он это доказал — всем, кроме мистера Нипенни, и в конце концов решили искать тело сообща и снарядили тщательные розыски при участии граждан Сырборо en masse под водительством Старины Чарли.

И уж конечно, они не могли найти лучшего вожатая, нежели Старина Чарли, у которого, все знали, был соколиный глаз; однако ж, хоть водил он их по всем уголкам и щелям и такими путями, какими прежде никто из них и не хаживал, и хоть розыски велись день и ночь неусыпно целую неделю, никаких следов мистера Кукиша так и не удалось обнаружить. Впрочем, когда я говорю «никаких следов», меня не следует понимать буквально, ибо какой-то след все же отыскался. Путь несчастного джентльмена прослеживался по отпечаткам подков его коня (а подковы были меченые) мили на три к востоку от Сырборо по большаку, ведущему в соседний город. Дальше след уходил в лес по тропке, которая потом выходила опять на большак, срезая расстоянье примерно полмили. Идя по следу, отряд в конце концов вышел к гнилому озерцу, скрытому зарослями ежевики, справа от тропки, и возле озерца след совершенно терялся. Видно было только, что тут шла какая-то борьба и что-то тяжелое и огромное, куда больше человеческого тела, волокли по тропке к озерцу. Дважды обшарили дно, но ничего не нашли; и когда решили уже убираться восвояси, отчаявшись и не веря в успех, провиденье вдруг подсказало мистеру Честену счастливую мысль выкачать из озерца всю воду. План встретили восторженно и Старину Чарли расхваливали за ум и сообразительность. Многие из граждан захватили с собой лопаты на случай, если придется выкапывать труп, и озерцо осушили легко и быстро. Не успело их взору открыться илистое дно, как прямо посередке все заметили черный, шелковый и бархатный жилет, в котором почти все немедля опознали собственность мистера Нипенни. Жилет был весь изодран и выпачкан кровью, и кое-кто из собравшихся отчетливо припомнил, что видел его на владельце в то самое утро, когда мистер Кукиш отправился в соседний город; иные же готовы были присягнуть, буде понадобится, что означенный предмет туалета не наблюдался на мистере Н. во весь остаток того памятного дня; и уж никто не мог утверждать, будто видел, чтобы предмет этот украшал особу мистера Н. хоть раз после исчезновения мистера Кукиша.

Дело принимало скверный оборот для мистера Нипенни, и подозрения против него окончательно подтвердились, когда его спросили, что может он сказать в свое оправданье, он только побледнел как полотно и не мог произнести ни слова. Те немногие друзья, которых еще оставила ему беспутная жизнь, тотчас покинули его все до единого и даже громче давних и

признанных врагов стали требовать немедленного его ареста. Но в сравнении с их поведением лишь ярче сияло великодушие мистера Честёна. Он пламенно и красноречиво отстаивал мистера Нипенни, ссылаясь на то, что сам он от души прощает необузданному юному господину — «наследнику достопочтенного мистера Кукиша» — оскорбленье, которое тот (юный господин), разумеется сгоряча, счел уместным нанести ему (мистеру Честену). Он прощает его «от всей души; и лично он (мистер Честен) вовсе не склонен раздувать улики, которые, увы, действительно изобличают мистера Нипенни, а, напротив того, он (мистер Честен) приложит все старанья, употребит все небогатое свое красноречие, дабы... дабы... смягчить, насколько позволит ему совесть, самые страшные подробности этого поистине запутанного дела».

В таком духе распространялся мистер Честен еще добрых полчаса, что делало честь и уму его и сердцу; но куда только не заносит иного добряка пламенная жажда помочь другу — ревностно и безоглядно кидаясь ему на выручку; он часто сбивается, путается в contre-temps[1] и mal-à-propos-ism-ах[2] и, руководствуясь намерениями самыми благими, часто вредит подзащитному более, нежели помогает.

Тем обернулось и все красноречие Старины Чарли, ибо, хоть он от души старался выгородить подозреваемого, как-то так получалось, что каждое слово, которого прямой, пусть невольной целью было не возвышать оратора в глазах сограждан,— лишь приводило к тому, что подозрения против подзащитного лица углублялись и на него навлекалась ярость толпы. Самый досадный промах совершил мистер Честен, назвав подозреваемого «наследником достопочтенного мистера Кукиша». До сих пор об этом никто как-то не думал. Помнили только, что года два назад дядя (не имевший других родственников) грозился лишить мистера Нипенни наследства, ну и считали, что это дело решенное — до того простодушны жители Сырборо; а после слов Старины Чарли всем вдруг сразу пришло на ум, что угроза-то ведь могла так и остаться угрозою. И тотчас вслед за тем естественно возникал вопрос «cui bono?»— вопрос, даже более вышеозначенного жилета утвердивший всех в сознании виновности молодого человека. Но здесь, чтобы не быть ложно понятым, я позволю себе остановиться мимоходом на употребленном мною чрезвычайно простом и кратком латинском выражении, которое у нас вечно переводят и толкуют неверно. «Cui bono?» во всех нашумевших и прочих романах, в сочинениях, например, миссис Гор (автора «Сесила»), дамы, блещущей цитатами на всех наречиях от халдейского до чикасо и в своих упорных занятиях «по мере надобности» пользующейся услугами мистера Бекфорда,— во всех, значит, нашумевших романах, я говорю, от Булвера и Диккенса до таких сочинителей, как Эйнсворт и Том Соплей, два коротеньких ла-

[1] противоречиях *(фр.)*.
[2] недоразумениях *(фр.)*.

тинских слова cui bono? переводятся — «с какой целью?» или даже путая с «quo bono?»—«чего ради?». Однако истинное их значение — «для чьей пользы». Cui — кому, bono — на благо.

Выражение это чисто законодательное и применимо к случаям, подобным рассматриваемому, когда вероятность свершения деяния тем или иным лицом зависит от вероятности выгоды, проистекающей для того или иного лица вследствие деяния. Ну и на сей раз вопрос «cui bono?» весьма недвусмысленно наводил на мистера Нипенни. Дядя его, составив завещание в его пользу, затем грозился лишить его наследства. Но угроза не была исполнена; завещание, оказывается, осталось прежним. Будь оно изменено, единственным вероятным побуждением к убийству было бы простое чувство мести; но и это чувство умерялось бы надеждою вновь снискать расположение дяди. Но коль скоро изменено завещанье не было, а угроза лишения наследства продолжала висеть над головою племянника, повод для злодеяния устанавливался с неопровержимой очевидностью; так проницательно и благоразумно и заключили достойные граждане Сырборо.

Мистера Нипенни соответственно тотчас арестовали, и толпа скоро окончила поиски и отправилась восвояси, ведя его под конвоем. На пути, однако, возникло еще некое обстоятельство, подтверждавшее и без того тяжкие подозренья. Все заметили, как мистер Честен, в своем благородном рвении все время несколько опережавший остальных, вдруг пробежал несколько шажков, наклонился и обнаружил в траве какой-то мелкий предмет; затем все заметили, как, осмотрев найденный предмет, он хотел было сунуть его в карман; но этот маневр, я говорю, заметили и, следственно, предупредили. Найденный предмет оказался испанским ножом, в котором с десяток присутствующих тотчас опознали нож мистера Нипенни. К тому же и на рукоятке были выгравированы его инициалы. Открытое лезвие было все в крови.

В виновности племянника не оставалось более сомнений, и по прибытии в Сырборо безотлагательно нарядили следствие, и он предстал перед заседателем для допроса.

Здесь дело снова приняло скверный оборот. Когда арестанта спросили, где находился он утром в день исчезновения мистера Кукиша, у него хватило дерзости признаться, что в то самое утро он со своим ружьем охотился на оленя в ближайшем соседстве того озерца, где, благодаря проницательности мистера Честена, был найден тот самый окровавленный жилет.

Тогда мистер Честен со слезами на глазах попросил, чтобы его выслушали. Он объявил, что непреклонное чувство долга не перед одними только ближними, но и перед нашим небесным Создателем запрещает ему молчать долее. Дотоле нежная привязанность его к юноше (хотя тот и обращался дурно с ним, мистером Честеном) побуждала его напрягать все силы фантазии, дабы постараться рассмотреть роковые обстоятельства в свете, благоприятном для мистера Нипенни; но улики — увы — слишком тяжки, слишком непреложны; у него нет более

сомнений, и теперь он откроет все, что ему известно, хотя его (мистера Честена) душа просто разрывается от тоски. Далее он сообщил, что вечером накануне отбытия мистера Кукиша сей достойный старый джентльмен сообщил племяннику в его (мистера Честена) присутствии, что он едет в город затем, чтобы положить в «Банк фермеров и купцов» изрядную сумму денег; и тогда же означенный мистер Кукиш окончательно объявил означенному племяннику о бесповоротной своей решимости отменить прежнее завещание и не оставить мистеру Нипенни *ни пенни*. После чего он (свидетель) торжественно призвал обвиняемого удостоверить, правда или нет во всех существенных частностях то, что заявил сейчас он (свидетель). К глубокому изумлению всех собравшихся, мистер Нипенни открыто признал, что это правда.

Тут уж заседатель почел своим долгом послать двоих полицейских, чтоб они обыскали комнату обвиняемого в доме у дяди. И они почти тотчас вернулись, обнаружив многим знакомый светлый кожаный бумажник, с которым старый джентльмен вот уж много лет как не расставался. Ценное содержимое, однако, было оттуда изъято, и тщетно пытался заседатель дознаться у арестанта, как употребил он деньги или куда их запрятал. Тот отговаривался полным неведеньем. Вдобавок полицейские обнаружили под матрацем у несчастного помеченные его инициалами рубашку и шейный платок, ужасно выпачканные кровью жертвы.

Тут как раз подоспело известие, что конь убитого только что пал в конюшне от полученной раны, и мистер Честен предложил немедля учинить вскрытие, дабы, если удастся, обнаружить пулю. Так и сделали; и, словно в доказательство уже и без того доказанной вины обвиняемого, мистеру Честену, тщательно обшарив недра животного, удалось нащупать и извлечь из груди его пулю весьма необычных размеров, каковая в точности пришлась по стволу ружья мистера Нипенни и в то же время была слишком велика для ружей прочих жителей городка и даже всего околотка. Но мало этого, на пуле оказалась зазубринка или щербинка, под прямым углом к обычному шву, и обнаружилось, что щербинка эта в точности отвечает горбику или вздутию на изложнице, каковую сам обвиняемый признал своей собственностью. Узнав о последнем обстоятельстве, заседатель не стал больше слушать никаких показаний и тотчас предал арестанта суду, решительно отказавшись отдать его на поруки, хотя мистер Честен пылко воспротивился такой суровости и предлагал за несчастного любой залог, какой только потребуется. Великодушие, проявленное Стариной Чарли, было совершенно в духе благородного и рыцарственного поведения, каким отличался он во все время своего пребывания в Сырборо. В данном же случае горячее сочувствие и доброта так увлекли достойного джентльмена, что, предлагая залог за юного друга, он, верно, совсем позабыл, что сам-то он (мистер Честен) буквально гол как сокол.

Нетрудно угадать, что было дальше. Мистер Нипенни под

дружные проклятья сырборцев предстал пред скорейшим собраньем суда, и цепь улик (пополнившихся еще кое-какими изобличающими фактами, которые честность мистера Честена не позволила ему утаить от суда) сочли столь прочной и столь неопровержимой, что присяжные, не сходя с места, тотчас вынесли заключенье о «виновности в преднамеренном убийстве». Вслед за этим жалкий злодей выслушал смертный приговор, и его препроводили в окружную тюрьму — ждать, покуда свершится над ним неумолимое правосудие.

Ну, а благородное поведение Старины Чарли Честена еще более возвысило его в глазах сограждан. Его полюбили в десять раз сильнее прежнего; и в ответ на радушие, с каким повсюду его принимали, ему, так сказать, пришлось изменить весьма умеренным привычкам, к каким дотоле принуждала его бедность, и он завел у себя в доме частые reunions[1], где царили острословие и веселость, которые, разумеется, нет-нет да и омрачались воспоминаньем о суровой и печальной судьбе, нависшей над племянником дорогого друга, горячо оплакиваемого хлебосольным хозяином.

В один прекрасный день великодушный старый джентльмен, к приятному своему удивлению, получил письмо следующего содержанья:

Чарльзу Честену, эскв. Сырборо
от К. С. Г. и К°
шат, мар. А11 — 6 дюж. бутылок
(полгросса)

Чарльзу Честену, эсквайру.

Милостивый государь, в соответствии с заказом, представленным нашей фирме тому два месяца нашим глубокоуважаемым клиентом мистером Барнабасом Кукишем, имеем честь препроводить утром сего дня по вашему адресу двойной ящик шато-марго марки «Антилопа» с лиловой печатью. Количество товара означено на полях.

Засим остаемся преданные Вам
Клопс, Снобс, Гробс и К°
Город... 21 июня 18... года.

Указанный ящик имеет прибыть фургоном через день по получении Вами настоящего письма.

Мистеру Кукишу Наше нижайшее.

К. С. Г. и К°

Надо заметить, что мистер Честен после смерти мистера Кукиша и не чаял получить обещанное шато-марго; и потому счел его теперь заслуженным даром провиденья. Разумеется, он весьма обрадовался и по такому случаю стал созывать множество друзей на завтра, на petit souper[2], дабы всем вместе

[1] сборища *(фр.)*.
[2] ужин в тесном кругу *(фр.)*.

вкусить от щедрот доброго старого мистера Кукиша. Правда, имя «доброго старого мистера Кукиша» при этом не упоминалось. Надо заметить, он долго думал и решил вообще никому ничего не говорить. Он и словом не обмолвился — если память мне не изменяет,— что шато-марго получено им в подарок. Он просто пригласил друзей выпить с ним вместе отменного винца с прекрасным букетом, которое заказал он в городе тому месяца два назад и завтра получит. Я долго удивлялся, почему Старина Чарли решил не упоминать о том, что вино получено им в подарок от старого друга, да так и не понял причин его молчанья, хоть причины у него, разумеется, были, и притом, без сомненья, веские и самого благородного свойства.

И вот на следующий день в доме мистера Честена собралось множество весьма почтенных господ. Сюда стеклось чуть не полгородка — среди прочих и ваш покорный слуга,— но, к великой досаде хозяина, время шло, гости успели воздать должное щедрому угощенью Старины Чарли, а шато-марго все не являлось. В конце концов оно все же прибыло,— и, доложу я вам, огромнейший ящик! — а коль скоро настроение у всех было преотличное, то и порешили nem. con[1] водрузить его на стол и опорожнить тотчас.

Сказано — сделано; я предложил руку помощи, и втроем мы поставили ящик на стол посреди бутылок и рюмок, впопыхах переколотив немалое их число. Старина Чарли, изрядно наклюкавшийся и весьма красный, с потешной важностью воссел во главе стола и отчаянно застучал об стол графином, призывая собравшихся «соблюдать порядок, покуда будет производиться извлеченье клада».

После громогласных увещаний спокойствие наконец водворилось, и, как часто бывает в подобных случаях, настала глубокая, удивительная тишина. Меня попросили снять крышку, и я, разумеется, согласился «с превеликим удовольствием». Я сунул в щель долото, и не успел я легонько стукнуть по нему раз-другой молотком, как крышка слетела и тотчас вскочил и сел в ящике, уставясь прямо на хозяина, синий, окровавленный и чуть не разложившийся труп самого убитого мистера Кукиша. Несколько секунд смотрел он неотрывно и печально остекленелым взором прямо в лицо мистеру Честену,— медленно, но отчетливо и выразительно произнес: «Ты еси муж, сотворивый сие!», а потом, словно полностью этим удовлетворясь, повалился на бок и распростер по столу дрожащие члены.

Невозможно описать, что было дальше. Гости бросились к дверям и окнам, а кое-кто даже из самых бравых мужей попадал в обморок от ужаса. Но когда миновал первый отчаянный взрыв смятенья, все глаза устремились на мистера Честена. Тысячу лет буду жить — не забуду, какая мука отобразилась на мертвенно-бледном лице его, столь недавно еще рдевшем от торжества и напитков. Несколько минут оставался он недви-

[1] единогласно *(лат.)*.

жим, как мраморное изваянье, и глаза его, совершенно пустые, будто обратились внутрь, поглощенные созерцаньем его собственной преступной и мерзкой души. Потом они вдруг сверкнули, вновь возвратившись к внешнему миру, и тогда он вскочил со стула и, навалясь головой и руками на стол рядом с трупом, быстро и словно в горячке поведал обо всех подробностях гнусного преступления, за которое был заточен в тюрьму и приговорен к смерти мистер Нипенни.

Вот что рассказал мистер Честен: он преследовал жертву до самого озерца; там он выстрелил из пистолета в коня; всадника ссадил ударом рукоятки; завладел бумажником; и, полагая коня убитым, с большим трудом проволок его к зарослям ежевики на берегу озерца. Потом он взвалил тело мистера Кукиша на собственного коня и лесом доставил подальше, к надежному укрытию.

Жилет, нож, бумажник и пулю он сам подсунул куда следует, чтобы отомстить мистеру Нипенни. Он же подсунул под матрац выпачканную рубашку и платок.

К концу этого леденящего кровь рассказа голос начал изменять злодею. Окончив свою повесть, он встал, покачнулся и упал навзничь — мертвый.

Столь действенное средство, заставившее преступника признаться, было весьма просто. Излишнее простосердечие мистера Честена с самого начала претило мне и казалось подозрительным. Ударил его мистер Нипенни тогда в моем присутствии, и злобное выраженье, мелькнувшее в лице мистера Честена, убедило меня в том, что угрозу свою он неукоснительно исполнит при первой возможности. И потому я рассматривал все уловки Старины Чарли совершенно в ином свете, чем оценивали их добрые граждане Сырборо. Я понял, что не кто иной как он сам прямо или косвенно поставляет все улики против мистера Нипенни. Но окончательно открыло мне глаза на истинное положение вещей происшествие с пулей, которую мистер Ч. нашел в теле павшего коня. Я-то не забыл, в отличие от сырборцев, что пуля пробила грудь навылет. И коль скоро она обнаружилась в теле животного, после того как из него вылетела, я понял с достоверностью, что пулю туда поместило обнаружившее ее лицо. Окровавленная рубашка и платок лишь подтвердили мою догадку, ибо кровь при ближайшем рассмотрении оказалась не чем иным, как славным бордоским. Когда я раздумывал обо всем этом и о неожиданной щедрости мистера Честена, подозрения мои все укреплялись. Я никому ничего не говорил и учредил меж тем собственные тщательные розыски трупа. Разумеется, я искал его в местах, наиболее удаленных от тех, куда направлял свой отряд мистер Честен. И через несколько дней я набрел на старый иссякший колодец, почти скрытый в зарослях ежевики, и там, на дне его, обнаружил то, что искал.

Между прочим, в свое время я подслушал разговор двух

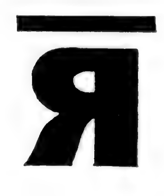
приятелей, когда мистеру Честену удалось выклянчить у хозяина ящик шато-марго. Теперь мне только того и надо было. Я раздобыл жесткий китовый ус, запихнул его поглубже в глотку трупу, а труп поместил в старый ящик из-под вина, так сложив тело, чтобы с ним вместе согнулся и китовый ус. Правда, мне пришлось попотеть, нажимая на крышку, покуда я забивал в нее гвозди, зато расчет мой оказался точным: стоит вытащить гвозди, крышка слетит, а тело вскочит.

Уложив ящик, я изобразил на нем адрес, номер, штемпель, как сказано выше; а затем, отправив письмо от имени виноторговцев, поставщиков мистера Кукиша, я велел моему человеку в указанный мною час доставить ящик на тачке к дверям мистера Честена. Что касается до слов, которые я вложил в уста трупу, то тут я полагался на собственное искусство чревовещанья; с его-то помощью я и надеялся изобличить злодея-убийцу.

Больше нечего и рассказывать. Мистер Нипенни был немедля выпущен из-под стражи, наследовал дядюшкино богатство, извлек из своих испытаний урок, начал новую жизнь и жил с тех пор припеваючи.

ЭЛЕОНОРА

Sub conser vatione formae specificae salva anima.
Raymond Lully [1]



РОДОМ ИЗ ТЕХ, КТО ОТМЕЧЕН СИЛОЙ фантазии и пыланием страсти. Меня называли безумным, но вопрос еще далеко не решен, не есть ли безумие высший разум и не проистекает ли многое из того, что славно, и все, что глубоко, из болезненного состояния мысли, из особых настроений ума, вознесшегося ценой утраты разумности. Тем, кто видят сны наяву, открыто многое, что ускользает от тех, кто грезит лишь ночью во сне. В туманных видениях мелькают им проблески вечности, и, пробудясь, они трепещут, помня, что были на грани великой тайны. Мгновеньями им открывается нечто от мудрости, которая есть добро, и несколько больше от простого звания, которое есть зло, и все же без руля и ветрил проникают они в безбрежный океан «света неизреченного» и вновь, словно мореплаватели нубийского географа, «agressi sunt mare tenebrarum, quid in eo esset exploraturi» [2].

Что ж, пусть я безумен. Я готов, впрочем, признать, что есть два различных состояния для моего духа: состоянье неоспоримого ясного разума, принадлежащего к памяти о событиях, образующих первую пору моей жизни, и состоянье сомненья и тени, относящихся к настоящему и воспоминаньям о том, что составляет вторую великую эру моего бытия. Тому, что расскажу о ранних моих днях, верьте; а к тому, что поведаю я о времени более позднем, отнеситесь с той долей доверия, какую оно заслуживает, или вовсе в нем усомнитесь, или, если и сомневаться вы не можете, разгадайте, подобно Эдипу, эту загадку.

Та, кого любил я в юности и о которой теперь спокойно и ясно пишу я эти воспоминания, была единственным ребенком единственной сестры моей матери, давно усопшей. Элеонора — это имя носила моя кузина. Всю жизнь мы прожили вместе

[1] При сохранении особой формы душа остается неприкосновенной. *Раймунд Луллий (лат.).*
[2] вступают в море тьмы, чтобы исследовать, что в нем *(лат.).*

под тропическим солнцем, в Долине Многоцветных Трав. Путник никогда не забредал ненароком в эту долину, ибо лежала она далеко-далеко, за цепью гигантских гор, тяжко нависших над нею со всех сторон, изгоняя солнечный свет из прекрасных ее уголков. К нам не вела ни одна тропа, и чтобы попасть в наш счастливый край, нужно было пробраться сквозь заросли многих тысяч лесных деревьев, растоптав каблуком прелесть многих миллионов душистых цветов. Вот почему жили мы совсем одни, не зная ничего о внешнем мире,— я, моя кузина и мать ее.

Из угрюмых краев, что лежали за далекими вершинами гор, замкнувших наш мир, пробивалась к нам узкая глубокая река, блеск которой превосходил все — все, кроме глаз Элеоноры; неслышно вилась она по долине и наконец исчезала в тенистом ущелье, среди гор, еще угрюмее тех, из которых она вытекала. Мы называли ее Рекой Молчания, ибо была в ее водах какая-то сила беззвучия. На ее берегах не раздавалось ни шороха, и так тихо скользила она, что жемчужная галька на глубоком ее дне, которой мы любовались, не двигалась, а лежала в недвижном покое на месте, блистая неизменным своим сиянием.

Берега этой реки и множества ослепительных ручейков, бегущих, извиваясь, к ее волнам, и все пространство, что шло от склонов вниз, в самую глубь ее потоков, до ложа из гальки на дне,— все это и поверхность долины, от реки и до самых гор, вставших кругом, были, словно ковром, покрыты мягкой зеленой травой, густой, короткой, удивительно ровной, издававшей запах ванили, по которой рассыпаны были желтые лютики, белые маргаритки, лиловые фиалки и рубиново-красные асфодели, и безмерная их красота громко вещала нашим сердцам о любви и о славе господней.

Тут и там над этой травой, словно порожденья причудливых снов, вздымали стройные стволы невиданные деревья; они не стояли прямо, как свечи, но, выгибаясь изящно, тянулись к солнечному свету, который в час полудня заглядывал в сердце долины. Кора их была испещрена изменчивым ярким сиянием черни и серебра, и была она нежной — нежнее всего, кроме щек Элеоноры; и если б не яркая зелень огромных листов, что спадали с вершин длинным, трепещущим рядом, играя с легким ветерком, деревья эти можно было б принять за гигантских сирийских змеев, воздающих хвалу своему властелину — Солнцу.

Пятнадцать лет рука об руку бродил я с Элеонорой по этой долине, пока любовь не вошла в наши сердца. Это случилось однажды вечером, на исходе третьего пятилетия ее жизни и четвертого пятилетия — моей; мы сидели, сомкнув объятья, под змееподобными стволами и смотрели в Реку Молчания, на свои отражения в ней. Мы не произнесли ни слова за весь этот дивный день и даже назавтра сказали друг другу лишь несколько робких слов. Из волн мы вызвали бога Эроса и знали теперь, что он зажег в нас пламенный дух наших предков. Страсти, которыми веками славился наш род, слились в своем

биении с мечтами, которые равно нас отличали, и пронеслись горячкой блаженства над Долиной Многоцветных Трав. Все в ней переменилось. Странные, яркие цветы раскрылись, словно звезды, на деревьях, которые раньше не знали цветенья. Зелень изумрудных ковров стала глубже; а когда, одна за другой, белые маргаритки увяли, вместо них засверкали десятки рубиново-красных асфоделей. И жизнь засияла повсюду, куда мы ступали, ибо стройный фламинго, никогда не виданный ранее, вместе с другими веселыми светлыми птицами развернул перед нами алые крылья. В реке заиграли золотые и серебряные рыбы, а в глубине родился ропот, который, все ширясь, зазвучал наконец колыбельной, слаще эоловой арфы, краше всего на свете, кроме голоса Элеоноры. И огромное облако, которое давно замечали мы возле Геспера, выплыло, сверкая золотом и багрянцем, и, мирно встав над нами, день за днем опускалось все ниже, пока наконец не коснулось краями верхушек гор, превратив их угрюмость в сияние и заключив нас, как бы навеки, в волшебной темнице величия и славы.

Элеонора красой подобна была серафиму, бесхитростна и невинна, как та недолгая жизнь, что провела она среди цветов. Она не скрывала лукаво пламя любви, что охватило ее сердце, и вместе со мной заглянула в его тайники, когда мы бродили вдвоем по долине, беседуя о переменах, недавно свершившихся здесь.

И, наконец, заговорив однажды в слезах о последней печальной перемене, что выпадает всем людям, она стала с тех пор грустна, не расставалась с этой мыслью, то и дело возвращаясь к ней, подобно тому, как в песнях певца Шираза во всех величавых вариациях снова и снова возникают все те же образы.

Она видела, что Смерть коснулась своим перстом ее груди,— подобно мотыльку, она создана была бесконечно прелестной лишь для того, чтоб погибнуть; но ужас могилы был для нее лишь в одном; она поведала мне об этом однажды в сумерках на берегу Реки Молчания. Ей горестно было думать, что, похоронив ее в Долине Многоцветных Трав, я навсегда покину этот счастливый край, отдав свою любовь, так страстно ей теперь посвященную, деве из мира будничного и чужого. И тогда, ни минуты не медля, я бросился к ногам Элеоноры и поклялся ей и небесам, что никогда не соединюсь браком с дочерью Земли, что ни в чем не изменю ее благословенной памяти и памяти о том неземном чувстве, которым она меня подарила. И я призвал Великого Владыку Мира в свидетели того, что обет этот свят и нерушим. И кара, ниспослать которую я молил Его и ее, святую, чье жилище будет в Элизиуме, если нарушу я свой обет, кара эта была столь чудовищно страшной, что я не решусь говорить о ней здесь. И ясные глаза Элеоноры прояснились при этих словах, она вздохнула, словно смертельная тяжесть спала у ней с груди, и, трепеща, заплакала горько; но приняла мой обет (ибо была всего лишь ребенком), и он принес ей облегчение

на ложе смерти. Несколько дней спустя, умирая спокойно и мирно, она мне сказала: за то, что сделал я для спокойствия ее духа, дух ее после кончины будет меня охранять, и если будет ей то дозволено, то по ночам будет она являться мне зримо; но если не дано это душам рая, то будет часто посылать мне весть о своем присутствии — вечерний ветерок обвеет ее вздохом мне щеку или напоит воздух, которым я дышу, благоуханием небесных кадильниц. И с этими словами она рассталась со своей безгрешной жизнью, кладя предел первой поре моего бытия.

Истинно излагал я все до сего мгновенья. Но, пересекая преграду на путях Времени, преграду, воздвигнутую смертью любимой, и вступая во вторую пору моего существования, чувствую, как тени окутывают мой мозг, и не доверяю своему разуму и памяти. Но продолжаю. Годы тяжко влачили свой груз, а я не покидал Долины Многоцветных Трав; и снова все в ней переменилось. Звездоподобные цветы исчезли и более не появлялись на деревьях. Зеленые ковры поблекли, и одна за другой увяли рубиново-красные асфодели, а на их месте раскрыли свои глаза десятки черных фиалок, беспокойно трепещущих и вечно отягощенных влагой. И Жизнь покинула те края, где мы когда-то ступали, ибо стройный фламинго сложил свои алые крылья и с другими веселыми светлыми птицами, что появились когда-то с ним вместе, с грустью покинул долину. Золотые и серебряные рыбы уплыли по ущелью, в самый дальний конец края, и не украшали больше нашей реки. И колыбельная, что звучала слаще эоловой арфы, волшебней всего — кроме голоса Элеоноры,— начала затихать и понемногу вовсе замолкла; ропот волн становился все глуше, пока наконец река не погрузилась снова в торжественное свое молчание; и огромное облако поднялось и, возвращая вершинам гор прежнюю их угрюмость, пало назад, в край Геспера, унеся из Долины Многоцветных Трав всю многокрасочную и золотую прелесть сияния.

Но обет, данный Элеонорой, не был забыт — я слышал звон небесных кадильниц, волны нездешнего благоухания плыли по долине, и в часы одиночества, когда сердце тяжко стучало в груди, ветерок, обвевавший мое чело, доносил до меня тихий вздох. Часто воздух ночи исполнен был невнятного шепота, и раз — о, только раз! — я пробудился от глубокого, словно смертельного, сна, ощутив на своих губах прикосновение призрачных уст.

Но пустота в моем сердце все не заполнялась. Я тосковал по любви, которая прежде заполняла его до краев. Настало время, когда долина стала меня тяготить памятью об Элеоноре, и я покинул наш край навсегда ради бурных волнений и суетных радостей мира.

Я очутился в незнакомом городе, где все, казалось, служило тому, чтобы изгнать из памяти сладкие сны, которым предавался я так давно в Долине Многоцветных Трав. Великолепие и пышность блестящего двора, и упоительный звон

оружия, и сияние женских очей, смутив, опьянило мой ум. Но душа моя все еще оставалась верна своему обету, и по ночам мне все еще было дано знать о присутствии Элеоноры. Внезапно все прекратилось; и мир потемнел у меня пред глазами; и я пришел в ужас от неотступных мучительных мыслей и страшных соблазнов, ибо из далекой-далекой, чужой, неизвестной земли прибыла к веселому двору короля, которому я служил, дева, чьей красотой пленилось мое неверное сердце,— к ее ногам склонил я без колебаний колена в пылком самозабвении любви. Разве могла моя страсть к девочке из долины сравниться с тем лихорадочным жаром, с тем возвышающим дух восторгом и преклоненьем, с которым излил я в слезах свое сердце божественной Эрменгарде? О, светел был ангельский лик Эрменгарды! — и, зная об этом, я не помышлял ни о ком другом. О божественный свет Эрменгарды! — и, глядя в самую глубь ее всепомнящих очей, я думал только о них — и о ней.

Я обвенчался и не трепетал той кары, которую призывал на себя, и горечь ее меня миновала. И раз — но только раз! — в ночной тиши сквозь решетку окна послышались давно замолкшие тихие вздохи, и милый, такой знакомый голос сказал:

— Спи с миром! Ибо над всем царит Дух Любви, и, отдав свое сердце той, кого зовешь Эрменгардой, ты получишь отпущение — почему, узнаешь на небесах — от клятвы, данной Элеоноре.

ТРИ ВОСКРЕСЕНЬЯ НА ОДНОЙ НЕДЕЛЕ



БЕССЕРДЕЧНЫЙ, БЕСЧЕЛОВЕЧНЫЙ, ЖЕстоковыйный, тупоголовый, замшелый, заматерелый, закоснелый, старый дикарище!» — воскликнул я однажды (мысленно), обращаясь к моему дядюшке (собственно, он был мне двоюродным дедом) Скупердэю, и (мысленно же) погрозил ему кулаком.

Увы, только мысленно, ибо в то время существовало некоторое несоответствие между тем, что я говорил, и тем, чего не отваживался сказать, — между тем, как я поступал, и тем, как, право же, готов был поступить.

Когда я распахнул дверь в гостиную, старый морж сидел, задрав ноги на каминную полку и держа в руке стакан с портвейном, и, насколько ему это было по силам, пытался петь известную песенку:

Remplis ton verre vide!
Vide ton verre plein! [1]

— Любезный дядюшка, — обратился я к нему, осторожно прикрыв дверь и изобразив на лице своем простодушнейшую из улыбок, — вы всегда столь добры и снисходительны и так много раз выказывали всячески свое благорасположение, что... что я не сомневаюсь, стоит мне только заговорить с вами опять об этом небольшом деле, и я получу ваше полное согласие.

— Гм, — ответствовал дядюшка. — Умник. Продолжай.

— Я убежден, любезнейший дядюшка (у-у, чтоб тебе провалиться, старый злыдень!), что вы, в сущности, вовсе и не хотите воспрепятствовать моему союзу с Кейт. Это просто шутка, я знаю, ха-ха-ха! Какой же вы, однако, дядюшка, шутник!

— Ха-ха, — сказал он. — Черта с два. Ну, так что же?

— Вот видите! Конечно же! Я так и знал. Вы шутили.

[1] Наполни опять свой пустой стакан!
Осуши свой полный стакан! *(фр.)*.

Так вот, милый дядюшка, мы с Кейт только просим вашего совета касательно того... касательно срока... ну, вы понимаете, дядюшка... срока, когда вам было бы удобнее всего... ну, покончить это дело со свадьбой?

— Покончить, ты говоришь, негодник? Что это значит? Чтобы покончить, надо прежде начать.

— Ха-ха-ха! Хе-хе-хе! Хи-хи-хи! Хо-хо-хо. Ну, не остроумно ли? Прелесть, ей-богу! Чудо! Но нам всего только нужно сейчас, чтобы вы точно назначили срок.

— Ах, точно?

— Да, дядюшка. Если, понятно, вам это нетрудно.

— А если, Бобби, я эдак приблизительно прикину, скажем, в нынешнем году или чуть позже, это тебе не подходит?

— Нет, дядюшка, скажите точно, если вам нетрудно.

— Ну, ладно, Бобби, мой мальчик,— ты ведь славный мальчик, верно?— коли уж тебе так хочется, чтобы я назначил срок точно, я тебя на этот раз, так и быть, уважу.

— О, дядюшка!

— Молчите, сэр (заглушая мой голос). На этот раз я тебя уважу. Ты получишь мое согласие — а заодно и *приданое,* не будем забывать о приданом,— постой-ка, сейчас я тебе скажу когда. Сегодня у нас воскресенье? Ну так вот, ты сможешь сыграть свадьбу точно — точнехонько, сэр!— тогда, *когда три воскресенья подряд придутся на одну неделю!* Ты меня слышал? Ну, что уставился, разиня? Говорю тебе, ты получишь Кейт и ее деньги, когда на одну неделю придутся три воскресенья. И не раньше, понял, шалопай? Ни днем раньше, хоть умри. Ты меня знаешь: я человек слова! А теперь ступай прочь.— И он одним глотком осушил свой стакан портвейна, а я в отчаянье выбежал из комнаты.

Как поется в балладе, «английский славный джентльмен» был мой двоюродный дед мистер Скупердэй, но со своими слабостями — в отличие от героя баллады. Он был маленький, толстенький, кругленький, гневливый человечек с красным носом, непрошибаемым черепом, туго набитым кошельком и преувеличенным чувством собственной значительности. Обладая, в сущности, самым добрым сердцем, он среди тех, кто знал его лишь поверхностно, из-за своей неискоренимой страсти дразнить и мучить ближних почитался жестоким и грубым. Подобно многим превосходным людям, он был одержим бесом противоречия, что по первому взгляду легко сходило за прямую злобу. На любую просьбу «нет!» бывало его неизменным ответом, и, однако же, почти не бывало таких просьб, которые бы он рано или поздно — порой очень поздно — не исполнил. Все посягательства на свой кошелек он встречал в штыки, но сумма, исторгнутая у него в конечном итоге, находилась, как правило, в прямо пропорциональном отношении к продолжительности предпринятой осады и к упорству самозащиты. И на благотворительность он жертвовал всех больше, хотя и ворчал и кряхтел при этом всех громче.

К искусствам, особливо к изящной словесности, питал он

глубочайшее презрение, которому научился у Казимира Перье, чьи язвительные слова: «A quoi un poéte est-il bon?»[1] — имел обыкновение цитировать с весьма забавным прононсом, как nec plus ultra[2] логического остроумия. Потому и мою склонность к музам он воспринял крайне неодобрительно. Както в ответ на мою просьбу о приобретении нового томика Горация он вздумал даже уверять меня, будто изречение: «Poeta nascitur non fit»[3]— надо переводить как: «Поэт у нас-то дурью набит», чем вызвал глубокое мое негодование. Его нерасположение к гуманитарным занятиям особенно возросло в последнее время в связи со вдруг вспыхнувшей у него страстью к тому, что он именовал «естественной наукой». Кто-то однажды на улице обратился к нему, по ошибке приняв его за самого доктора О'Болтуса, знаменитого шарлатана «виталиста». Отсюда все и пошло, и ко времени действия моего рассказа — а это все-таки будет рассказ — подъехать к моему двоюродному деду Скупердэю возможно было только на его собственном коньке. В остальном же он только хохотал да отмахивался руками и ногами. И вся его несложная политика сводилась к положению, высказанному Хорслеем, что «человеку нечего делать с законами, как только подчиняться им».

Я прожил со стариком всю жизнь. Родители мои, умирая, завещали ему меня, словно богатое наследство. По-моему, старый разбойник любил меня, как родного сына,— почти так же сильно, как он любил Кейт,— и все-таки это была собачья жизнь. С года и до пяти включительно он потчевал меня регулярными трепками. С пяти до пятнадцати, не скупясь, ежечасно грозил исправительным домом. С пятнадцати до двадцати каждый божий день сулился оставить меня без гроша в кармане. Я, конечно, был не ангел, это приходится признать, но такова уж моя натура и таковы, если угодно, мои убеждения. Кейт была мне надежным другом, и я это знал. Она была добрая девушка и прямо объявила мне со свойственной ей добротой, что я получу ее вместе со всем ее состоянием, как только уломаю дядюшку Скупердэя. Ведь бедняжке едва исполнилось пятнадцать лет, и без его согласия, сколько там ни было у нее денег, все оставалось недоступным еще в течение пяти бесконечных лет, «медлительно длину свою влачащих». Что же в таком случае оставалось делать? Когда тебе пятнадцать и даже когда тебе двадцать один (ибо я уже завершил мою пятую олимпиаду), пять лет — это почти так же долго, как и пятьсот. Напрасно наседали мы на старика с просьбами и мольбами. Этот «pièce de résistance»[4] (в терминологии господ Юда и Карема) как раз пришелся ему по вкусу. Сам долготерпеливый Иов возмутился бы, наверное, при виде того, как он играл с нами, точно старый многоопытный кот с двумя мышатами.

[1] Что проку от поэта? *(фр.)*.
[2] предел *(лат.)*.
[3] Поэтом рождаются, а не становятся *(лат.)*.
[4] Самое сытное блюдо в меню (в кулинарии) *(фр.)*.

В глубине души он и не желал ничего иного, как нашего союза. Он сам уже давно решил нас поженить и, наверное, дал бы десять тысяч фунтов из своего кармана (денежки Кейт были ее собственные), чтобы только изобрести законный предлог для удовлетворения нашего вполне естественного желания. Но мы имели неосторожность завести с ним об этом речь сами. И при таком положении вещей он, я думаю, просто не мог не заупрямиться.

Выше я говорил, что у него были свои слабости, но при этом я вовсе не имел в виду его упрямство, которое считаю, наоборот, его сильной стороной — «assurément ce n'était pas sa faible» [1]. Под его слабостью я подразумеваю его невероятную, чисто старушечью приверженность к суевериям. Он придавал серьезное значение снам, предзнаменованиям et id genus omne [2] ерунде. И, кроме того, был до мелочности щепетилен. По-своему он, безусловно, был человеком слова. Я бы даже сказал, что верность слову была его коньком. Дух данного им обещания он не ставил ни во что, но букву соблюдал неукоснительно. И именно эта его особенность позволила моей выдумщице Кейт в один прекрасный день, вскоре после моего с ним объяснения в столовой, неожиданно обернуть все дело в нашу пользу. На сем, исчерпав по примеру современных бардов и ораторов на prolegomena [3] имевшееся в моем распоряжении время и почти все место, я теперь в нескольких словах передам то, что составляет, собственно, суть моего рассказа.

Случилось так — по велению Судеб,— что среди знакомых моей нареченной были два моряка и что оба они только что вновь ступили на британскую землю, проведя каждый по целому году в дальнем плавании. И вот, сговорившись заранее, мы с моей милой кузиной взяли с собой этих джентльменов и вместе с ними нанесли визит дядюшке Скупердэю — было это в воскресенье десятого октября, ровно через три недели после того, как он произнес свое окончательное слово, чем сокрушил все наши надежды. Первые полчаса разговор шел на обычные темы, но под конец нам удалось как бы невзначай придать ему такое направление:

Капитан Пратт. М-да, я пробыл в отсутствии целый год. Как раз сегодня ровно год, по-моему. Ну да, погодите-ка, конечно! Сегодня ведь десятое октября. Помните, мистер Скупердэй, год назад я в этот же самый день приходил к вам прощаться? И, кстати сказать, надо же быть такому совпадению, что наш друг капитан Смизертон тоже отсутствовал как раз год — ровно год сегодня, не так ли?

Смизертон. Именно! Точнешенько год! Вы ведь помните, мистер Скупердэй, я вместе с капитаном Праттом навестил вас в этот день год назад и засвидетельствовал вам перед отплытием мое почтение.

---

[1] это, безусловно, не было его слабостью *(фр.)*.
[2] и всей такого рода *(лат.)*.
[3] введение *(греч.)*.

Дядя. Да, да, да, я отлично помню. Как, однако же, странно. Оба вы пробыли в отсутствии ровнехонько год! Удивительное совпадение! То, что доктор О'Болтус назвал бы редкостным стечением обстоятельств. Доктор О'Бол...

Кейт (прерывая). И в самом деле, папочка, как странно. Правда, капитан Пратт и капитан Смизертон плыли разными рейсами, а это, вы сами знаете, совсем другое дело.

Дядя. Ничего я такого не знаю, проказница. Да и что тут знать? По-моему, тем удивительнее. Доктор О'Болтус...

Кейт. Но, папочка, ведь капитан Пратт плыл вокруг мыса Горн, а капитан Смизертон обогнул мыс Доброй Надежды.

Дядя. Вот именно! Один двигался на запад, а другой на восток. Понятно, стрекотунья? И оба совершили кругосветное путешествие. Между прочим, доктор О'Болтус...

Я (поспешно). Капитан Пратт, приходите к нам завтра вечером — и вы, Смизертон,— расскажете о своих приключениях, сыграем партию в вист...

Пратт. В вист? Что вы, молодой человек! Вы забыли: завтра воскресенье. Как-нибудь в другой раз...

Кейт. Ах, ну как можно? Роберт еще не совсем потерял рассудок. Воскресенье *сегодня.*

Дядя. Разумеется.

Пратт. Прошу у вас обоих прощения, но невозможно, чтобы я так ошибался. Я точно знаю, что завтра воскресенье, так как я...

Смизертон (с изумлением). Позвольте, что вы такое говорите? Разве *не вчера* было воскресенье?

Все. Вчера? Да вы в своем ли уме!

Дядя. Говорю вам, воскресенье сегодня! Мне ли не знать?

Пратт. Да нет же! Завтра воскресенье.

Смизертон. Вы просто помешались, все четверо. Я так же твердо знаю, что воскресенье было вчера, как и то, что сейчас я сижу на этом стуле.

Кейт (вскакивая в возбуждении). Ах, я понимаю! Я все понимаю! Папочка, это вам перст судьбы — сами знаете в чем. Погодите, я сейчас все объясню. В действительности это очень просто. Капитан Смизертон говорит, что воскресенье было вчера. И он прав. Кузен Бобби и мы с папочкой утверждаем, что сегодня воскресенье. И это тоже верно, мы правы. А капитан Пратт убежден в том, что воскресенье будет завтра. Верно и это, он тоже прав. Мы все правы, и, стало быть, на одну неделю пришлось три воскресенья!

Смизертон (помолчав). А знаете, Пратт, Кейт ведь правду говорит. Какие же мы с вами глупцы. Мистер Скупердэй, все дело вот в чем. Земля, как вы знаете, имеет в окружности двадцать четыре тысячи миль. И этот шар земной вертится, поворачивается вокруг своей оси, совершая полный оборот протяженностью в двадцать четыре тысячи миль с запада на восток ровно за двадцать четыре часа. Вам понятно, мистер Скупердэй?

Дядя. Да, да, конечно. Доктор О'Бол...

Смизертон (заглушая его). То есть, сэр, скорость его вра-

щения — тысяча миль в час. Теперь предположим, что я переместился отсюда на тысячу миль к востоку. Понятно, что для меня восход солнца произойдет ровно на час раньше, чем здесь, в Лондоне. Я обгоню ваше время на один час. Продвинувшись в том же направлении еще на тысячу миль, я опережу ваш восход уже на два часа; еще тысяча миль — на три часа и так далее, покуда я не возвращусь в эту же точку, проделав путь в двадцать четыре тысячи миль к востоку и тем самым опередив лондонский восход солнца ровно на двадцать четыре часа. Иначе говоря, я на целые сутки обгоню ваше время. Вы понимаете?

Дядя. Но О'Болтус...

Смизертон (очень громким голосом). Капитан же Пратт, напротив, отплыв на тысячу миль к западу, оказался на час позади, а проделав весь путь в двадцать четыре тысячи миль к западу, на сутки отстал от лондонского времени. Вот почему для меня воскресенье было вчера, для вас оно сегодня, а для Пратта наступит завтра. И главное, мистер Скупердэй, мы все трое совершенно правы, ибо нет никаких философских резонов, почему бы мнению одного из нас следовало отдать предпочтение.

Дядя. Ах ты, черт, действительно... Ну, Кейт, ну, Бобби, это в самом деле, как видно, перст судьбы. Я — человек слова, это каждому известно. И потому ты можешь назвать ее своею (со всем, что за ней дается), когда пожелаешь. Обошли меня, клянусь душою! Три воскресенья подряд, а? Интересно, что скажет О'Болтус на это?

Содержание

ЭДГАР ПО

Рассказы

Редактор М. П. Немченко
Художник В. С. Солдатов
Художественный редактор М. М. Кошелева
Технический редактор И. Ш. Трушникова
Корректоры Е. В. Иванова, М. А. Казанцева

На обложке использована картина А. Иньянни Барка под снегом. 1845 г.

ИБ № 1602

Сдано в набор 20.01.87. Подписано в печать 27.05.87. НС 12393. Формат 84×108 1/32. Бумага книжно-журнальная. Гарнитура литературная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 15,1. Усл. кр.-отт. 15,5. Уч.-изд. л. 19,6. Тираж 250 000. Заказ 59. Цена 1 р. 70 к.

Средне-Уральское книжное издательство, 620219, Свердловск, ГСП-351, Малышева, 24. Типография изд-ва «Уральский рабочий», 620151, Свердловск, пр. Ленина, 49.

1 р. 70 к.



Свердловск
Средне-Уральское
книжное
издательство
1987


ЭДГАР
ПО
Рассказы